



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Slav 777.26

Harvard College
Library



THE GIFT OF
Archibald Cary Coolidge, Ph.D.

Class of 1887

RUSSIAN COLLECTION OF 1922

Н. РОЖКОВЪ.

ИСТОРИЧЕСКІЕ И СОЦІОЛОГИЧЕСКІЕ

ОЧЕРКИ.

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.



МОСКВА.

Издание М. К. Шамова, Бол. Грузинская ул., домъ Шамова.

1906.

Slaw 777.26
✓

HARVARD COLLEGE LIBRARY
OF THE
ARCHIBALD C. COULIDGE
JULY 1 1922
✓

МОСКВА.
Университетская типография, Страстной бульварь.
1906.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемый вниманию публики сборникъ статей, печатавшихся авторомъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ на страницахъ журналовъ «Жизнь», «Образованіе», «Правда», «Миръ Божій», «Научное Обозрѣніе», «Вопросы философіи и психологіи», «Научное Слово», «Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія» и т. д., раздѣленъ на двѣ части въ интересахъ читателей: въ первую часть вошли тѣ статьи, которыя рассчитаны по преимуществу на широкіе круги читающей публики, хотя и преслѣдуютъ иногда задачи самостоятельнаго обоснованія опредѣленныхъ научныхъ взглядовъ; вторая часть будетъ состоять главнымъ образомъ изъ статей болѣе спеціальнаго характера. Читатель такимъ образомъ можетъ выбирать сообразно своимъ вкусамъ и интересамъ. Само собою разумѣется, предлагаемый сборникъ не включаетъ въ себя *всею*, напечатаннаго авторомъ за время его литературной дѣятельности: сюда не вошли большіе труды, какъ «Сельское хозяйство Московской Руси въ XVI в.» и «Обзоръ русской исторіи съ социологической точки зрѣнія», а также и нѣкоторыя брошюры: «Городъ и деревня въ русской исторіи», «Исторія крѣпостного права въ Россіи», «О формахъ народнаго представительства». Исключено также все то, что имѣло временное значеніе, что умѣстно было лишь въ періодическомъ изданіи.

Slav 779.26

Н. РОЖКОВЪ.

ИСТОРИЧЕСКІЕ И СОЦІОЛОГИЧЕСКІЕ

ОЧЕРКИ.

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.



МОСКВА.

Издание И. К. Шанова, Бол. Грузинская ул., домъ Шанова.

1906.

Исторія, мораль и политика.

I.

Потребность знанія свойственна дикарю, стоящему на одной изъ начальныхъ ступеней духовнаго развитія, такъ же, какъ и современному культурному человѣку. Но мотивы, заставляющіе и заставляющіе человѣка стремиться къ умственному прозрѣнію, и цѣли, которыя онъ при этомъ себѣ ставитъ, не всегда бываютъ одинаковы. Говоря вообще, не вдаваясь въ подробности, можно замѣтить, что основнымъ психическимъ побужденіемъ дикаря въ его стремленіи къ знанію являются *любопытство*, тогда какъ культурный человѣкъ руководится въ соотвѣтствующемъ случаѣ *любознательностью*. Въ чемъ разница между тѣмъ и другимъ? Въ томъ прежде всего, что любопытство—*безсознательное* стремленіе къ знанію, безъ ясно-сознанной цѣли послѣдняго, тогда какъ любознательность предполагаетъ *сознательную* цѣль. Возьмемъ первый попавшійся на глаза примѣръ: положимъ, уличную ссору или драку, вообще скандалъ. Всякому извѣстно, какую массу любопытныхъ, т.-е. просто склонныхъ поглазѣть, людей собираетъ обыкновенно подобное событіе. Имъ ничего тутъ не надо, они часто даже не знаютъ ссорящихся или дерущихся, имъ надо только поглазѣть да посудачить. Вотъ что значитъ любопытство. Но тотъ же уличный скандалъ можетъ представить интересъ и для любознательнаго, а не просто-любопытнаго человѣка: онъ можетъ дать ему картину нравовъ, бросить свѣтъ на понятія о правѣ и справедливости, господствующія въ массѣ, дать, наконецъ, возможность содѣйствовать защитѣ несправедливо обиженнаго и справедливой карѣ обидчика. Здѣсь сразу, такимъ образомъ, намѣчаются два основныхъ побужденія, психологически-создающія любознательность: во-первыхъ, стре-

мленіе къ практической дѣятельности, къ общественной пользѣ, во-вторыхъ, стремленіе къ наслажденію отъ самаго знанія, какъ организованнаго, осмысленнаго и систематическаго пониманія дѣйствительности во всемъ ея многообразіи. Наслажденіе стройностью, системой знаній и желаніе примѣнить послѣднія къ жизни и отличаютъ науку мало-мальски культурнаго человѣка отъ случайныхъ, беспорядочныхъ знаній дикаря. Это отличіе, какъ *принципъ*, слагается довольно рано. Уже въ средневѣковой схоластикѣ чувствуется неудовлетворенность безсистемнымъ и безцѣльнымъ знаніемъ, но, по естественной реакціи, эта неудовлетворенность принимаетъ крайнее направленіе, совершенно отлучается отъ той конкретной дѣйствительности, умственнымъ рабомъ которой былъ всецѣло и безраздѣльно дикарь. Средневѣковый ученый разсуждалъ такъ: зачѣмъ изслѣдовать отдѣльныя физическія тѣла и химическіе процессы? Это узко; мы поищемъ лучше всесовершеннаго физическаго тѣла, которое будетъ превращаться во всѣ другія тѣла, а кстати будетъ излѣчивать и отъ всѣхъ болѣзней; зачѣмъ рѣшать мучительныя, проклятыя вопросы даннаго времени и мѣста? лучше найти одно всеохватывающее начало, одинъ ключъ ко всему въ мірѣ нравственныхъ отношеній и понятій; зачѣмъ изучать происхожденіе отдѣльныхъ растительныхъ и животныхъ видовъ? мы лучше рѣшимъ вопросъ о происхожденіи всего міра и о природѣ Божества. Задаваясь такими вопросами, человѣческая мысль послѣ многихъ блужданій, ошибокъ и разочарованій отчаялась найти на нихъ точныя, обоснованныя и прочныя отвѣты и снова обратилась къ конкретной дѣйствительности, но она вмѣстѣ съ тѣмъ систематизировала и обобщила данныя этой дѣйствительности и поставила себѣ опредѣленныя практическія и теоретическія задачи.

Итакъ, современную науку отличаютъ два основныхъ признака: стремленіе къ наслажденію отъ организованнаго, осмысленнаго и систематическаго пониманія дѣйствительности и стремленіе къ приложенію теоретическихъ выводовъ на практикѣ. Эти признаки свойственны и исторіи, какъ наукѣ. Въ самомъ дѣлѣ: историкъ нашего времени, если онъ стоитъ на высотѣ положенія, не можетъ уже быть любопытствующимъ гробкопателью, бессознательно покрывающимъ себя архивной пылью и могильной гнилью, накапливающимъ безъ всякаго порядка и системы отрывочныя знанія, — онъ долженъ сдѣлаться любознательнымъ изслѣдователемъ, обобщающимъ фактическій матеріалъ, открывающимъ законы общественнаго развитія, наслаждающимся цѣлостью, стройностью и связностью своихъ научныхъ построеній. Проникновеніе въ тайны процесса развитія человѣче-

скаго общежитія, пониманіе прошедшаго и настоящаго и прозорливое предвидѣніе будущаго составляютъ для историка такую же неутолимую потребность и такой же неизсякаемый источникъ высокаго научнаго наслажденія, какъ для естествоиспытателя важно и интересно проникновеніе въ тайны природы. Мало того: и въ средѣ публики, сколько-нибудь мыслящей, читающей и интересующейся знаніемъ, прежнее историческое любопытство, интересъ къ историческимъ скандаламъ и историческимъ курьезамъ, постепенно и медленно, но неуклонно смѣняется исторической любознательностью; никто не можетъ устоять передъ соблазнительной перспективой представить себѣ въ простѣйшемъ видѣ, въ стройной системѣ все многообразіе и сложность исторической жизни, объяснить ее изъ немногихъ основныхъ началъ, изъ сочетанія нѣкоторыхъ простѣйшихъ элементовъ. Тому, кто занимается теперь научной исторіей, несомнѣнно, знакомъ очень хорошо восторгъ; охватывающій человѣка, когда изъ хаоса взаимно перепутывающихся, безсвязныхъ и бессмысленныхъ фактовъ получается единое связанное цѣлое, стройная система, изящное, исполненное глубокаго смысла построеніе.

Не будемъ однако преувеличивать достигнутыхъ въ этомъ отношеніи результатовъ, не будемъ утверждать, что всѣ стали истинно-любопытными по отношенію къ исторіи: нѣтъ, для многихъ, для очень еще многихъ безцѣльное гробокопательство, курьезъ, скандалъ и сплетня, касающіеся дѣятелей прошлаго, составляютъ если не единственный, то главный смыслъ и основную цѣль занятій исторіей. Едва ли не большее еще разнообразіе воззрѣній, стремленій и интересовъ наблюдается въ отношеніи къ вопросу о практическомъ примѣненіи научныхъ историческихъ выводовъ. Этотъ животрепещущій вопросъ и будетъ составлять предметъ нашего вниманія въ послѣдующемъ изложеніи.

Исторія—не что иное, какъ научное изображеніе процесса развитія человѣческихъ обществъ. Она имѣетъ дѣло, значить, съ людьми въ ихъ общественной и частной жизни, съ ихъ чувствами, желаніями, чаяніями, идеями, дѣйствіями, интересами, побужденіями и съ результатами всѣхъ этихъ явленій, какъ они отражаются въ жизни. Отсюда и явилась уже очень давно, еще въ древности, мысль, что «исторія—наставница жизни». Въ такой общей формѣ эта мысль едва ли подлежитъ спору. Но дѣло въ томъ, что въ эту форму вкладывается различное содержаніе. И прежде всего указанная мысль понималась въ смыслѣ узкоморалистическомъ, въ томъ смыслѣ именно, что исторія даетъ намъ рядъ готовыхъ конкретныхъ примѣровъ и иллюстрацій къ

азбучнымъ истинамъ прописной морали. Историкъ являлся, такимъ образомъ, строгимъ и беспощаднымъ нравственнымъ судьей, который произносилъ моральные приговоры надъ дѣятелими прошлаго, раздавалъ имъ награды за добродѣтели и порицанія за пороки, училъ, какъ нужно было поступить имъ въ томъ или другомъ случаѣ, чтобы не сойти съ установленной прописною моралью стези добродѣтели. Это отражалось и на самомъ объясненіи происхожденія и судьбы разныхъ историческихъ явленій: такъ какъ прописная добродѣтель должна непременно торжествовать, а азбучный порокъ обязательно терпѣть посрамленіе, то историкъ дѣлалъ чрезвычайныя усилія, чтобы показать, что такъ именно и было всегда въ историческомъ прошломъ. Онъ не обращалъ при этомъ вниманія на то, что у всякаго времени есть свои задачи, осуществляемыя въ опредѣленныхъ условіяхъ, и не понималъ, что азбучная мораль хороша только въ прописяхъ. Понятно, что въ результатъ такого морализированія получалось неправильное пониманіе историческихъ явленій, а слѣдовательно и невѣрное ихъ изображеніе,—главная цѣль историческаго изученія оставалась недостигнутой.

Я не думаю утверждать, что изображенный сейчасъ взглядъ на исторію, ея задачи и методы отошелъ окончательно въ прошлое и не имѣетъ сейчасъ адептовъ. Общественная жизнь настолько сложное и громоздкое цѣлое, что въ ней всегда наблюдаются осадки давно пережитыхъ порядковъ и воззрѣній. Тѣмъ не менѣе нельзя не признать элементарное морализированіе, до сихъ поръ иногда попадающее въ историческихъ трудахъ, рѣдкостью и исключеніемъ, случайно уцѣлѣвшимъ обломкомъ старины.

На смѣну этому довольно-примитивному, элементарному, наивному, воззрѣнію выступаетъ другое, имѣющее значительное число сторонниковъ и въ настоящее время. Оно коренится въ нѣкоторыхъ общихъ, философскихъ идеяхъ, въ извѣстномъ направленіи философской мысли. Есть люди, которые глубоко и искренне убѣждены въ возможности и необходимости выработки и осуществленія въ жизни абсолютнаго нравственнаго идеала, такого моральнаго начала, которое было бы вѣчно, одинаково примѣнимо ко всѣмъ временамъ и народамъ. Съ этой точки зрѣнія, исторія челоуѣчества разсматривается какъ единый, цѣльный, не повторяющійся и послѣдовательно-развивающійся міровой процессъ, отдѣльныя частности котораго—исторія отдѣльныхъ народовъ—представляютъ собою не что иное, какъ стадіи или ступени къ достиженію абсолютнаго нравственнаго идеала, и конечной цѣлью или результатомъ котораго является раскрытіе

этого идеала во всей полнотѣ и совершенствѣ. При этомъ исторія не всѣхъ народовъ имѣеть значеніе: есть народы некультурные, которые не имѣютъ никакого историческаго значенія, потому что ихъ общественное развитіе не имѣеть оригинальнаго, самостоятельнаго моральнаго содержанія; исторіей этихъ народовъ, съ этой точки зрѣнія, незачѣмъ заниматься, она не имѣеть никакой цѣнности; изученію подлежитъ только исторія культурныхъ народовъ, создавшихъ что-либо особенное, оригинальное, индивидуальное въ нравственной сферѣ. Въ этомъ особенномъ, индивидуальномъ и состоитъ весь смыслъ исторіи, сущность которой, такимъ образомъ, не повторяется. А что не повторяется, что единично, то не подлежитъ изученію съ точки зрѣнія причинной связи, потому что для открытія причинъ требуется сравненіе одинаковыхъ, повторяющихся явленій. Въ исторіи важны не причины, а цѣли, такъ что между естествознаніемъ и исторіей существуетъ цѣлая пропасть. Нравственная оцѣнка—вотъ что главное въ историческомъ изученіи, для историка важно не столько то, что было, сколько то, что нравственно-обязательно, что должно быть съ моральной точки зрѣнія. Вы видите, что по существу эта теорія въ конечномъ результатѣ недалеко ушла отъ той, съ которой мы только-что раньше познакомились. Понятно, какое важное значеніе имѣеть сейчасъ изложенная теорія для пониманія исторіи, какъ науки, для характеристики и правильной постановки ея метода, а также для опредѣленія практическаго примѣненія историческихъ знаній. Все новѣйшее направленіе въ исторической наукѣ отмѣчено ярко выраженнымъ стремленіемъ сблизить ее съ естествознаніемъ въ отношеніи метода и задачъ, а здѣсь мы встрѣтились сейчасъ съ полнымъ отрицаніемъ такого стремленія: къ чему, въ самомъ дѣлѣ, изслѣдовать эмпирически—путемъ наблюденія и, гдѣ возможно, опыта—причинную связь явленій, когда дѣло не въ ней, а въ цѣляхъ историческаго процесса? очевидно у исторіи долженъ быть свой особенный, ей только свойственный методъ, потому что и задачи у нея особенныя, не такія, какъ въ естественныхъ наукахъ. Вся работа послѣднихъ десятилѣтій въ области исторіи идетъ, значить, въ сущности насмарку, старые историки-моралисты были, слѣдовательно, ближе къ истинѣ, чѣмъ новые историки-ученые. Понятно, что и практическое значеніе исторія пріобрѣтаетъ не тѣмъ, чѣмъ его пріобрѣтаетъ естествознаніе: тогда какъ послѣднее, изслѣдуя причинную связь явленій природы, стремится къ предвидѣнію и строитъ на этой основѣ цѣлый рядъ прикладныхъ знаній, исторія, изучающая цѣли и разсматривающая каждый данный моментъ какъ этапъ

на дорогѣ къ достиженію и осуществленію абсолютнаго и вѣчнаго нравственнаго идеала, практически-важна именно тѣмъ, что постепенно и частично раскрываетъ этотъ идеаль, приближаетъ насъ къ пониманію цѣлей мірозданія. Отсюда не только возможны, но и необходимы нравственные приговоры надъ историческими дѣятелями; историкъ опять является въ роли строгаго судьи, своего рода цензора нравовъ.

Двумя изложенными взглядами не ограничивается разноголосоица въ пониманіи практическаго значенія исторіи, какъ науки. Существуетъ еще третій взглядъ, основъ котораго надо искать не въ преклоненіи передъ прописной моралью и не въ философской метафизикѣ или, какъ обыкновенно теперь выражаются, философскомъ идеализмѣ, а въ практическихъ потребностяхъ минуты, въ борьбѣ интересовъ, партій, направленій и настроеній въ соединеніи со смутно-сознаваемой и признаваемой идеей исторической эволюціи, предполагающей долгую и постепенную подготовку явленій настоящаго момента въ теченіе цѣлаго ряда пережитыхъ столѣтій. Эта послѣдняя идея—несомнѣнное, прочное и важное приобрѣтеніе историческаго знанія въ наше время. Конечно, въ обществѣ, какъ и въ природѣ, нѣтъ ничего совершенно-изолированнаго, стоящаго внѣ связи съ другими явленіями, обособленнаго, являющагося вдругъ, по мановенію какой-то волшебной силы: все готовится послѣдовательно и постепенно, для всего существуютъ прецеденты и зачатки. Но идея эволюціи въ излагаемомъ взглядѣ переходитъ въ сознаніе необходимости застоя, неподвижности разъ сложившихся явленій и отношеній. Думаютъ, что каждый народъ имѣетъ свои коренные устои, постоянныя основы жизни, заложенныя въ историческомъ прошломъ, нерушимыя традиціи, подлежащія сохраненію навсегда, при всякихъ возможныхъ въ будущемъ условіяхъ его существованія. Охрана этихъ національныхъ преданій, укрѣпленіе этихъ коренныхъ устоевъ—вотъ куда, съ точки зрѣнія послѣдователей этой теоріи, должны быть направлены всѣ усилія практическихъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей. Стоитъ, такимъ образомъ, отыскать въ прошломъ прецедентъ извѣстному явленію или общественному идеалу,—и это явленіе или идеаль оправданы и имѣютъ право на существованіе и дальнѣйшее развитіе. Практическое значеніе исторіи сводится, слѣдовательно, къ роли какого-то арсенала, складочнаго мѣста, изъ котораго въ потребныхъ случаяхъ подбираются подходящіе матеріалы. Такой приемъ—очень давняго происхожденія и часто встрѣчался и встрѣчается. «Самодержавство наше отъ святого Владиміра», говорилъ Іоаннъ Грозный, указывая на справедливый, по его мнѣнію,

историческій прецедентъ. «Прежніе государи любили встрѣчу», (т.-е. возраженіе себѣ со стороны боярь), замѣчалъ, пользуясь тѣмъ же методомъ, строптивый членъ боярской думы Берсень Беклемишевъ. Подобными примѣрами кипитъ окружающая насъ дѣйствительность.

Къ сказанному сейчасъ можно прибавить, что иногда высказывается еще мнѣніе, что цѣль изученія исторіи—возбужденіе патріотическихъ чувствъ или вообще проведеніе опредѣленныхъ политическихъ тенденцій въ томъ или другомъ направленіи. При такомъ воззрѣніи рекомендуется часто прямо извращеніе истины: патріотъ—разсуждають обыкновенно—долженъ любить свою родину, слѣдовательно признавать ее лучшей изъ всѣхъ странъ; поэтому лучше всего умалчивать о темныхъ сторонахъ прошлаго и выдвигать на первый планъ свѣтлыя явленія. Если же въ основу историческаго изложенія кладется опредѣленная политическая тенденція, то обыкновенно въ согласіи съ ней идеализируются дѣятели и украшаются явленія, почему либо подъ эту тенденцію подходящія, и порицается и затемняется все то, что не укладывается на Прокрустово ложе предвзятыхъ взглядовъ. Что бы мы сказали, если бы какой либо яростный республиканецъ сталъ изображать исторію Франціи безъ Людовика XIV, а роялистъ вздумалъ обойти молчаніемъ французскую революцію? Вѣдь въ результатѣ появилась бы, очевидно не исторія Франціи, а выдумка фантазера, произвольно и дерзко извращающаго истину. И развѣ не ясно, что истинный патріотизмъ заключается не въ любви къ воображаемой, реально-несуществующей, идеальной родинѣ, а въ любви къ родинѣ такой, какъ она есть, въ томъ, что мы болѣемъ ея горестями, мучимся недостатками и готовы пожертвовать всѣми своими силами, чтобы уничтожить все дурное, поднять уровень общественной жизни и осуществить идеалъ общаго блага?

Послѣдній взглядъ настолько грубъ (и, можно сказать, циниченъ), что его несостоятельность выступаетъ сразу во всей своей ясности. Замѣтимъ, что онъ, по своему характеру, родственъ тому примитивному моралистическому воззрѣнію на исторію, которое было изложено раньше другихъ взглядовъ. Въ самомъ дѣлѣ: вѣдь и патріотическое (въ смыслѣ квасного патріотизма) и моралистическое воззрѣнія на исторію покоятся на идеѣ, что убѣжденія и вѣрованія извѣстнаго лица или группы лицъ, существующія въ настоящее время, заключаютъ въ себѣ во всей полнотѣ и законченности абсолютную истину, пригодную для всѣхъ временъ и народовъ. Даже сторонники метафизическаго пониманія исторіи, предполагающіе, что въ исторіи послѣдова-

тельно и постепенно раскрывается абсолютный нравственный идеал, и что каждый дальнѣйшій моментъ исторической эволюціи является новой ступенью въ дѣлѣ раскрытія этого идеала, прибавляя къ его пониманію какую-либо новую черту,—даже они не могутъ подписаться подъ такимъ наивнымъ моральнымъ абсолютизмомъ. Послѣ появленія великихъ трудовъ Юма и Канта становится необходимымъ критическое разсмотрѣніе такъ называемыхъ гносеологическихъ вопросовъ, т.-е. вопросовъ теоріи познанія, вопросовъ о томъ, какъ широки предѣлы человѣческаго познанія и каковы его методы. А между тѣмъ эти вопросы игнорируются историками-моралистами, историками-патріотами и историками тенденціознаго направленія, какъ будто бы не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что мы совершенно точно знаемъ всѣ сущности вещей.

Научное естествознаніе хорошо знаетъ относительность и ограниченность нашихъ познаній о внѣшнемъ мірѣ, ихъ зависимость отъ нашей собственной физической и психической организаціи. Въ природѣ, въ дѣйствительности, въ мірѣ, какъ онъ есть самъ по себѣ, нѣтъ, напр., цвѣтовъ, которые мы ощущаемъ; цвѣта и свѣтъ вообще—только состоянія нашего сознанія, и *эти-то состоянія нашего сознанія мы только и познаемъ, когда знакомимся съ явленіями бытія*, а самой сущности бытія мы не знаемъ и не можемъ знать. Кантъ выразилъ эту мысль такъ: въ явленіяхъ бытія мы познаемъ только *феномены*, т.-е., то, что намъ кажется, и намъ недоступно познаніе *ноуменовъ*, т.-е. того, что есть на самомъ дѣлѣ. Но если наши познанія о томъ, что есть, такъ ограниченны и относительны, то, можетъ быть, мы обладаемъ абсолютными, неограниченными и безотносительными познаніями о томъ, что должно быть, что нравственно обязательно? И на этотъ вопросъ можно дать только отрицательный отвѣтъ.

Въ самомъ дѣлѣ: стоитъ только взглянуть на процессъ нравственнаго развитія того или другого народа, чтобы убѣдиться, что понятія о нравственности такъ же мѣняются, какъ и всякія другія понятія, и мало того—мораль того или другого историческаго момента въ нормально-развивающемся, не разрушающемся человѣческомъ обществѣ соответствуетъ насущнымъ потребностямъ этого общества, содѣйствуетъ его дальнѣйшему сохраненію и развитію. Эта мораль, такимъ образомъ, совершенна для своего времени. Такъ, напр., такъ называемый формализмъ древняго права и судопроизводства совершенно не вяжется съ нашими современными понятіями о нравственности: формализмъ этотъ заключался въ томъ, что судья не разбиралъ дѣла по су-

ществу, не взвѣшивалъ отдѣльныхъ доказательствъ, а безусловно вѣрилъ показаніямъ истца, разъ соблюдена была извѣстная, предписанная юридическимъ обычаемъ форма: напр., иногда требовалось извѣстное число свидѣтелей, показывавшихъ притомъ единогласно, при чемъ судья не провѣрялъ достовѣрности свидѣтельскихъ показаній, судилъ не по совѣсти, а по формѣ; намъ такой судъ представляется вопіющей несправедливостью. А между тѣмъ въ свое время онъ не только соответствовалъ господствовавшимъ тогда нравственнымъ понятіямъ, но и дѣйствительно былъ справедливъ для общества и отдѣльныхъ лицъ, гармонировалъ съ ихъ интересами: если бы судья была предоставлена большая власть, то при некультурности общества и при невозможности контроля и надзора открылось бы неизмѣримое поле для судейскаго усмотрѣнія и для страшныхъ злоупотребленій. Или: наше умъ и наше чувство не мирится съ крѣпостными порядками, мы привыкли считать личную свободу необходимымъ требованіемъ морали. Но было время, когда она была нравственнымъ зломъ, потому что вела къ гибели не только отдѣльныхъ лицъ, но и цѣлаго общества: крѣпостное право нѣкогда было необходимо именно потому, что обезпечивало маломощному, безкапитальному, неимущему большинству населенія нравственную и матеріальную помощь со стороны болѣе состоятельной части населенія, чѣмъ достигались цѣли не только существованія, но и дальнѣйшаго развитія общества въ матеріальномъ, моральномъ и умственномъ отношеніяхъ. Нравственныя понятія, такимъ образомъ, тѣсно срастаются съ реальными условіями общественной жизни, неотдѣлимы отъ послѣднихъ и, слѣдовательно, измѣнчивы, потому что и реальныя условія общежитія постоянно мѣняются, не находятся въ покоѣ, все измѣняется, «все течетъ», какъ говорилъ еще древній мудрецъ.

Итакъ, *нравственныя наши понятія, понятія о морали, нравственно-должномъ, столь же измѣнчивы и относительны, какъ и понятія о всемъ существующемъ.* Отсюда слѣдуетъ, что принимать ихъ за абсолюты и судить на основаніи этихъ мнимыхъ абсолютовъ о прошломъ никакъ нельзя. Слѣдовательно, морализованію и всякой тенденціи—патріотической и политической—нѣтъ мѣста въ исторической наукѣ, правильно поставленной. Наивно-моралистическая и грубо-тенденціозная точки зрѣнія на практическое, житейское значеніе исторической науки въ общественной жизни отпадаютъ, такимъ образомъ, сами собой, теряютъ всякій смыслъ и значеніе.

Быть можетъ, однако, сохраняетъ свой смыслъ и значеніе метафизическое пониманіе исторіи и вытекающій отсюда взглядъ,

что въ процессѣ историческаго развитія человѣчества находятъ свое выраженіе высшія цѣли мірозданія, открывается постепенно и частично абсолютная нравственная истина, пригодная для всѣхъ временъ и народовъ? Нетрудно замѣтить, что въ основѣ такого воззрѣнія лежитъ та же только что отвергнутая нами увѣренность, что въ области нравственныхъ понятій намъ доступно знаніе сущности вещей, того, что есть на самомъ дѣлѣ, независимо отъ нашихъ органовъ воспріятія. Мы только что видѣли, что и нравственныя понятія воспринимаются нами, какъ феномены, а не какъ ноумены, что въ пониманіи нравственно-должнаго мы такъ же ограничены и слабы, какъ и въ пониманіи существующаго, что мораль—не абсолютна, а относительна. Какое же мы имѣемъ право утверждать, что въ процессѣ историческаго развитія мы постигаемъ абсолютную нравственную истину, когда на самомъ дѣлѣ эта истина остается для насъ всегда недоступной, потому что мы не можемъ совлечь съ себя собственную природу, выльзти изъ собственной своей кожи? Мы познаемъ только состоянія собственного сознанія, а не міровыя явленія въ ихъ сущности. Нельзя, слѣдовательно, и говорить о практическомъ значеніи исторіи въ томъ смыслѣ, что путемъ ея изученія познается абсолютный нравственный идеаль: это значило бы обольщать себя несбыточными иллюзіями, строить воздушныя замки.

Разобранная и отвергнутая нами сейчасъ метафизическая теорія выставляетъ еще рядъ второстепенныхъ положеній, отмѣченныхъ мною раньше при ея изложеніи: таковы особенно положенія о индивидуальности историческихъ явленій, о ихъ неповторяемости, о невозможности предсказаній будущаго въ общественномъ знаніи, о необходимости изучать не причины, а цѣли историческаго процесса. Но эти положенія удобнѣе всего разобрать въ связи съ разсмотрѣніемъ послѣдней изъ изложенныхъ теорій, которая характеризуется, какъ мы видѣли, убѣжденіемъ въ неподвижности традицій, въ ихъ вѣчности. Къ критикѣ этой теоріи мы сейчасъ и обратимся, но уже теперь съ несомнѣнностью и ясностью выступаетъ на первый планъ то положеніе, что *исторія содѣйствуетъ выработкѣgnoseологическаго убѣжденія въ относительности, измѣнчивости и ограниченности нашихъ познаній не только въ области явленій бытія, но и въ сферѣ нравственнаго долженствованія, моральной обязательности.* Къ этому сводится первый случай практическаго примѣненія историческихъ знаній. Исторія даетъ, такимъ образомъ, ключъ къ здоровой нравственной философіи.

II.

Возьмемъ громадную гору, покрытую вѣчнымъ снѣгомъ, — положимъ Эльборусъ или Монбланъ или еще какую-нибудь колоссальную возвышенность, хотя бы величайшую вершину Гималаевъ, выше которой нѣтъ горы на землѣ. Безъ сомнѣнія, каждая изъ этихъ горъ, взятая особо, сама по себѣ, индивидуальна, своеобразна во многихъ отношеніяхъ: она имѣетъ своеобразныя трещины и ущелья, особую форму, свою величину, ту или другую покатость или крутизну, состоитъ изъ тѣхъ или иныхъ горныхъ породъ и т. д. и т. д. Но всѣ эти индивидуальныя различія, все это своеобразіе, всѣ особенности сводятся современнымъ естествознаніемъ къ немногимъ основнымъ элементамъ, различнымъ сочетаніямъ которыхъ и порождаютъ ихъ въ концѣ концовъ. Одни и тѣ же постоянно-дѣйствующіе законы природы лежатъ такимъ образомъ въ основѣ всѣхъ особенностей и индивидуальныхъ свойствъ той или другой большой горы. Тотъ же самый выводъ получается, если мы возьмемъ два небольшихъ камня различной величины, вѣса, формы и состава: и здѣсь окажутся дѣйствующими общіе законы и, что не менѣе замѣчательно, это будутъ тѣ же самые законы, какими объясняются индивидуальныя отличія однихъ большихъ горъ отъ другихъ. Какой бы ни былъ масштаб явленій внѣшней природы — большой или малый, — всѣ эти явленія объясняются одними и тѣми же общими законами. Намъ говорятъ, что въ исторіи дѣло обстоитъ иначе, что историческія явленія настолько индивидуальны или своеобразны, что частныя ихъ отличія не могутъ быть сведены ни къ нему общему, что они не повторяются, что почти каждое изъ нихъ единственно въ своемъ родѣ. Присмотримся же внимательнѣе къ этимъ явленіямъ и попытаемся рѣшить вопросъ, есть ли между ними и явленіями внѣшней природы какое-либо принципиальное различіе въ данномъ отношеніи. Возьмемъ прежде всего простѣйшія общественныя явленія, — хозяйственныя или экономическія. Повторяются ли, спрашивается, въ жизни разныхъ человѣческихъ обществъ хозяйственныя явленія, и объяснимы ли ихъ особенности или индивидуальныя отличія въ разныхъ обществахъ изъ немногихъ общихъ началъ въ ихъ различной комбинаціи? На этотъ вопросъ можно отвѣтить только утвердительно. Въ самомъ дѣлѣ: достаточно извѣстно, что каждое общество въ своемъ развитіи переживаетъ два главныхъ хозяйственныхъ періода, — періодъ такъ называемаго натуральнаго, безобмѣннаго хозяйства,

когда каждый все ему необходимое добывает собственнымъ трудомъ, не прибѣгая къ покупкѣ и продажѣ,—и періодъ хозяйства денежнаго, основаннаго на раздѣленіи труда и происходящемъ отсюда обмѣнѣ. Эти періоды *повторяются* въ жизни каждаго чело-вѣческаго общества. Правда, иногда въ каждомъ изъ нихъ проявляются нѣкоторыя особенности, но развѣ ихъ нельзя объ-яснить своеобразнымъ сочетаніемъ однихъ и тѣхъ же элементовъ? Отвѣтить на этотъ вопросъ всего удобнѣе, взявъ какой-либо конкретный примѣръ. Такъ въ послѣднее время установлено, что денежное хозяйство въ Европѣ зародилось въ видѣ такъ назы-ваемого городскаго хозяйства или, точнѣе выражаясь, хозяйства, рассчитаннаго на небольшой сбытъ, на обмѣнъ, производящійся въ предѣлахъ незначительной территоріи на 10—15—20 верстъ въ окружности отъ хозяйственнаго центра или рынка, большою частью города. Въ Россіи, при зарожденіи въ ней денежнаго хозяйства, изолированность рынковъ была несравненно-меньшей, сбытъ рассчитанъ былъ обыкновенно на районъ въ 150 — 200, 300, даже иногда въ 500 верстъ въ окружности. Почему такъ? Все дѣло въ естественныхъ условіяхъ: изолированность рынковъ вызывается дурными путями сообщенія, трудностями перевозки товаровъ; въ Московской Руси XVI—XVII вѣковъ лѣтомъ пути сообщенія были не лучше, если не хуже, чѣмъ въ Западной Европѣ XIII—XV столѣтій, — вслѣдствіе множества лѣсовъ и болотъ и обилія разнаго рода мошекъ и комаровъ, заѣдавшихъ всякую живую тварь чуть не до смерти: за то зимой морозы создавали прочный, гладкій и удобный путь по долго державшемуся снѣгу, такъ что иностранцы удивлялись возможности провезти товары изъ Архангельска въ Москву въ какихъ-нибудь 14 дней. Объясненіе передъ нашими глазами и объясненіе не столь инди-видуальное, чтобы оно не могло быть примѣнено въ другихъ случаяхъ, а напротивъ общее: климатъ—вотъ что создаетъ пути сообщенія и своеобразіе въ зарождающемся денежномъ хозяйствѣ, и если бы мы взяли страну, находящуюся въ одинаковыхъ съ Россіею климатическихъ условіяхъ, — результаты получились бы совершенно тождественные. Нѣтъ, слѣдовательно, никакого принципіальнаго различія, не говоря уже о діаметральной противо-положности, между экономическими явленіями въ жизни чело-вѣческихъ обществъ, съ одной стороны, и явленіями природы, съ другой. Историческія явленія такъ же повторяются, какъ и явленія природы, и ихъ индивидуальныя особенности, если можно такъ выразиться, не болѣе индивидуальны, чѣмъ особен-ности явленій, изучаемыхъ естествознаніемъ: первыя, какъ и вторыя, объясняются общими законами, формулирующими различ-ныя сочетанія однихъ и тѣхъ-же основныхъ элементовъ.

Могутъ, однако, замѣтить, что, если этотъ выводъ примѣнимъ и правленъ въ отношеніи къ простѣйшимъ явленіямъ общественной жизни, какими какъ разъ и оказываются явленія экономическія, то по отношенію къ явленіямъ болѣе сложнымъ онъ не имѣетъ значенія, потому что именно эти сложные явленія дѣйствительно индивидуальны, единственны въ своемъ родѣ. Гений—одинокъ, не имѣетъ людей себѣ подобныхъ, исключителенъ по своимъ духовнымъ свойствамъ, качественно отличается отъ остальной массы. Въ области психологической исторіи господствуетъ такимъ образомъ совершенная, абсолютная индивидуальность; здѣсь естественно-научный методъ совершенно непримѣнимъ. Посмотримъ, такъ ли это. Возьмемъ, напр., такую личность, какъ Наполеонъ I. Каковы характеристическіе черты этой, несомнѣнно, крупной, гениальной исторической фигуры? Опредѣляя психическій складъ Наполеона коротко, его надо назвать типическимъ, ярко-выраженнымъ индивидуалистомъ. Въ самомъ дѣлѣ: низшія, элементарныя эгоистическія чувства — чувство страха и склонность къ стяжательству, жадность и скупость — были ему совершенно чужды. Онъ доказалъ свою храбрость на Аркольскомъ мосту, при посѣщеніи чумнаго госпиталя въ Сиріи, во многихъ сраженіяхъ, при возвращеніи съ Эльбы, когда онъ смѣло подошелъ къ аванпостамъ посланнаго противъ него Людовикомъ XVIII Нея и подставилъ свою грудь солдатамъ и т. д. Деньги, богатство, роскошь сами по себѣ для него ничего не значили: онъ щедро ими одѣлялъ всякаго, кто былъ полезенъ ему и его дѣлу, не зная даже простой бережливости, не говоря уже о скупости. Зато въ натурѣ Наполеона весьма видную, даже главную, направляющую роль играли болѣе сложные эгоистическія чувства, тѣ именно чувства, которыя удобнѣе всего назвать индивидуалистическими, потому что въ основѣ ихъ лежитъ чрезвычайно развитое чувство личности, высокое понятіе о значеніи собственнаго я. Когда Жозефина упрекала его въ невѣрности, онъ не нашелъ другого, болѣе рѣшительнаго аргумента въ свою защиту, какъ категорическое замѣчаніе: «я такъ хочу». Эта *ultima ratio* въ устахъ индивидуалиста чрезвычайно характерна. Отсюда проистекало и непомѣрное и непобѣдимое честолюбіе Наполеона, увлекавшее его въ рядъ авантюръ и въ концѣ концовъ погубившее. Онъ самъ сознавалъ за собой это свойство, говоря: «мнѣ нужны честь и слава». Третье индивидуалистическое чувство,—жажда разнообразія и новизны впечатлѣній,—также владѣло Наполеономъ часто направляло въ извѣстную сторону его дѣйствія; отсюда объясняются напр., многіе его грандіозные замыслы и полубезумные по своей смѣлости планы,

иногда и осуществлявшіеся, въ родѣ египетской экспедиціи, высадки въ Англию, покоренія Индіи и т. д. Отсюда же объясняется и его кипучая, непрерывная дѣятельность и удивительная работоспособность: извѣстно, что онъ былъ всегда занятъ и доводилъ до обмороковъ отъ утомленія своихъ министровъ и особенно секретарей. Поэтому-то война, это олицетвореніе быстрой смѣны сильныхъ и разнообразныхъ впечатлѣній, была его истинной стихіей, гдѣ онъ былъ царемъ и богомъ. Господствомъ индивидуалистическихъ чувствованій объясняются и этическія чувства Наполеона. Когда для цѣлей, имъ себѣ поставленныхъ, ему приходилось жертвовать жизнью и благополучіемъ другихъ, онъ не задумываясь дѣлалъ это, обращая этихъ другихъ, по его циническому выраженію, въ «пушечное мясо». Но онъ не былъ вовсе золь, скорѣе былъ доброжелателемъ къ людямъ, умѣлъ быть обаятельнымъ и увлекалъ многихъ, напр. Александра I. Онъ не былъ даже чуждъ настоящей нѣжности къ людямъ, ему близкимъ. Извѣстенъ рассказъ Жозефины, что онъ пролилъ цѣлое море слезъ передъ разлукой съ нею по случаю развода и женитьбы на Маріи-Луизѣ: «бѣдная моя Жозефина», повторялъ онъ, «я не въ силахъ разстаться съ тобою». Но къ кому онъ былъ особенно привязанъ, кого онъ любилъ искренней, великой и безкорыстной любовью,—это къ своему сыну. И какъ истинный индивидуалистъ, ставящій выше всего свою собственную личность, онъ гордился этимъ чувствомъ въ своихъ приказахъ по арміи. Ему не чуждо было, наконецъ, и чувство дружбы: извѣстно горе Наполеона при смертельной ранѣ, полученной его другомъ, маршаломъ Ланномъ. Конечно, и въ этомъ чувствѣ была сильная индивидуалистическая струя: Наполеонъ и здѣсь былъ номеромъ первымъ, подчинялъ себѣ другого человѣка. Эстетическимъ вкусомъ, любовью къ красотѣ и искусству Наполеонъ обладалъ въ значительной мѣрѣ: не однимъ тщеславіемъ и честолюбіемъ надо объяснять его всегдашнія заботы объ обогащеніи Парижа художественными сокровищами, его любовь къ театру и т. д. Но, какъ и всѣ чистые индивидуалисты, онъ не обладалъ творческимъ художественнымъ дарованіемъ. Замѣчательно и характерно также и то, что Наполеонъ былъ полнымъ религіознымъ индифферентистомъ, что онъ смотрѣлъ на религію съ чисто практической точки зрѣнія, какъ на удобное орудіе для воздѣйствія на массы: вѣдь его богомъ была собственная личность, не допускавшая никого и ничего рядомъ съ собою и тѣмъ болѣе выше себя. Переходя изъ области чувствованій, изъ эмоціональной сферы въ область умственной, интеллектуальной дѣя-

тельности, нельзя не отмѣтить необыкновенной силы ума Наполеона, но нельзя не оговориться вмѣстѣ съ тѣмъ, что умъ этотъ былъ въ значительной степени субъективенъ, одностороненъ: Наполеонъ хорошо и тонко понималъ всѣ душевныя движенія, свойственныя его собственной натурѣ, онъ гениально схватывалъ всѣ практическіе вопросы и удачно ихъ разрѣшалъ; но когда ему приходилось сталкиваться съ людьми, ему психически не родственными, онъ плохо ихъ понималъ и, не понимая, презиралъ: извѣстно, напр., его пренебрежительное отношеніе къ теоретикамъ, доктринерамъ, «идеологамъ», какъ онъ ихъ высокомерно называлъ. Въ результатѣ такого сочетанія эмоциональныхъ и интеллектуальныхъ свойствъ, объясняемаго именно господствомъ индивидуалистическихъ чувствованій, своеобразно окрашивавшихъ всѣ остальные стороны духовной природы Наполеона, получалась непреклонная воля, выражавшаяся какъ въ способности къ инициативѣ, такъ и въ умѣннѣ доводить разъ начатое дѣль до конца, если, конечно, внѣшнія препятствія не оказывались совершенно непреодолимыми.

Таковъ въ главныхъ чертахъ характеръ Наполеона. Является ли онъ въ типичномъ своемъ очертаніи единичнымъ, исключительнымъ, совершенно индивидуальнымъ, качественно отличающимся отъ другихъ людей? Конечно нѣтъ: такихъ индивидуалитетовъ много въ извѣстные періоды жизни разныхъ человѣческихъ обществъ и народовъ. Таковъ, напр., Вронскій изъ романа Толстого «Анна Каренина», таковы многіе герои Горькаго, какъ Челкашъ, Коноваловъ, Сережка изъ «Мальвы» и т. д. Они отличаются отъ Наполеона только количественно, а не качественно: у нихъ все мельче, слабѣе, чѣмъ у него, именно потому, что онъ—гений, а они обыкновенные люди. Имъ всѣмъ свойственны и честолюбіе, и жажда новизны, и высокое понятіе о собственномъ я, и субъективизмъ ума, и сила воли и т. д. и т. д. Скажемъ прямо: какую бы гениальную личность мы ни взяли, при внимательномъ психологическомъ анализѣ всегда окажется,—что она можетъ быть причислена въ той или иной психологической группѣ, къ извѣстному типу. Между гениемъ и обыкновеннымъ человѣкомъ различіе только количественное, а не качественное.

Изъ всего предыдущаго ясно, что мнѣніе о какой-то особенной индивидуальности и неповторяемости явленій общественной жизни по сравненію ихъ съ явленіями внѣшней природы не имѣетъ никакихъ серьезныхъ основаній и противорѣчитъ наблюденіямъ надъ дѣйствительностью: общественныя или, что то же, историческія явленія индивидуальны лишь въ томъ же смыслѣ, въ

какомъ индивидуальны отдѣльныя явленія въ жизни природы, и повторяются совершенно такъ же, какъ и послѣднія.

А если такъ, то ясно, что изученіе причинной связи общественныхъ явленій не только возможно, но и необходимо, и что при томъ установленіе единообразныхъ, постоянныхъ отношеній между причинами и слѣдствіями или такъ называемыхъ общихъ научныхъ законовъ не только возможно, но и необходимо въ обществознаніи. Нечего, слѣдовательно, и говорить о томъ, что исторія должна изучать цѣли, а не причины. Научный методъ—одинъ, и его нужно примѣнять одинаково во всѣхъ отрасляхъ человѣческаго знанія.

При свѣтѣ сдѣланныхъ наблюденій и полученныхъ выводовъ становится яснымъ и отвѣтъ на вопросъ о возможности предсказаній будущаго въ общественной жизни. Конечно, наши знанія о законахъ развитія общественныхъ явленій настолько еще ограничены, что предсказать будущее во всѣхъ подробностяхъ и тѣмъ болѣе отдаленное будущее—мы не въ состояніи. Годъ, мѣсяць, день, часъ того или иного конкретнаго событія непредвидимы. Но развѣ въ жизни природы всегда и все можетъ быть предсказано съ такою точностью и съ такими подробностями? развѣ въ естествознаніи ошибки и пробѣлы не существуютъ? Это—во-первыхъ, и во-вторыхъ—ограниченность нашихъ современныхъ знаній вовсе не является «предѣломъ, его же не преидеши», изъ факта незнанія въ настоящее время еще не слѣдуетъ необходимость полнаго невѣдѣнія въ будущемъ: съ развитіемъ обществознанія и социальныхъ предсказаній постепенно достигнуть большей точности. Однако уже при современномъ состояніи нашихъ знаній по исторіи и общественнымъ наукамъ возможны нѣкоторыя предвидѣнія ближайшаго будущаго и даже общія перспективы на будущее болѣе далекое. Соціальныя предсказанія *принципально* опять таки не отличаются отъ предсказаній естественно-научныхъ, и это совершенно понятно, потому что во всѣхъ отрасляхъ научнаго знанія одинаковую силу имѣетъ идея научнаго закона, устанавливающаго причинную связь явленій.

Но если между прошлымъ и настоящимъ въ общественной жизни существуетъ непрерывающаяся, тѣсная, закономѣрная связь, то не правы ли тѣ, кто полагаетъ, что исторія создаетъ въ жизни каждаго общества и народа традиціи, коренные устои, основныя начала, подлежащія вѣчному сохраненію? Поскольку это воззрѣніе родственно теоріи культурно-историческихъ типовъ національнаго развитія или, что то же, понятію объ исторіи народа какъ о процессѣ совершенно—своеобразномъ, вполнѣ—

индивидуальномъ, не повторяющемся ни въ цѣломъ, ни въ подробностяхъ, — мы имѣли уже съ нимъ дѣло и убѣдились въ его несправедливости. Остается теперь подкрѣпить полученный тогда выводъ надлежащимъ разъясненіемъ понятія объ исторической традиціи.

Чтобы освѣтить этотъ вопросъ, воспользуемся конкретнымъ примѣромъ, котораго намъ уже пришлось коснуться въ предшествующемъ изложеніи. Два политическихъ направленія, боровшихся между собою въ XVI вѣкѣ, одинаково и въ значительной мѣрѣ правильно ссылались на историческія традиціи. Боярская партія требовала, чтобы московскій государь дѣлился властью съ боярами, чтобы въ управленіи участвовалъ «синклитъ», боярскій совѣтъ, какъ постоянное и организованное учрежденіе, и въ подтвержденіе своихъ требованій ссылалась на тотъ фактъ, что прежніе государи совѣтовались съ боярами и любили «встрѣчу», т. е. благосклонно выслушивали возраженіе себѣ въ боярской думѣ. «Самодержавство наше отъ святого Владиміра», говорилъ Іоаннъ Грозный, отстаивая свое полновластіе, «русскіе самодержавцы изначала владѣютъ своимъ царствомъ, а не бояре и вельможи». Итакъ, передъ нами два противоположныхъ политическихъ взгляда и оба опираются на историческія традиціи. Что же это значитъ? Это значитъ прежде всего, что *для всякой политической теоріи легко подыскать историческіе прецеденты, традиціи въ прошломъ*, каждое явленіе современной дѣйствительности имѣетъ зародышъ въ прошломъ или, иначе говоря, въ обществѣ въ каждый данный моментъ его историческаго существованія имѣются налицо зачатки самыхъ разнообразныхъ порядковъ и учрежденій. Поэтому съ одинаковой степенью основательности могутъ ссылаться на историческіе прецеденты, всѣ различныя партіи, въ данный моментъ между собою борющіяся. Иными словами ссылки эти *сами по себѣ*, внѣ связи съ другими условіями и обстоятельствами не имѣютъ никакого значенія. Допустимъ, напр., что кто-нибудь, разсматривая человѣческій организмъ и замѣчая въ немъ остатки когда-то существовавашаго хвоста, сталъ бы утверждать, что хвостъ долженъ существовать и развиваться въ человѣческомъ организмѣ, потому что это традиція прошлаго. Какъ мы стали-бы возражать на такой взглядъ? Несомнѣнно, мы указали бы, что хвостъ не нуженъ человѣку, что внѣшнія условія человѣческой жизни лишили его практическаго значенія. Такія-же условія, постороннія, окружающія обстоятельства надо, очевидно, принимать во вниманіе при опредѣленіи значенія историческихъ традицій. Въ общественной жизни, какъ и въ жизни природы, все традиціонно, все опирается на извѣстные прецеденты, но жиз-

ценность и будущность тѣхъ или другихъ порядковъ, идей и учрежденій опредѣляется не традиціонностью ихъ, взятой какъ таковая, а наличностью или отсутствіемъ условій и потребностей, ихъ поддерживающихъ и питающихъ или, напротивъ, дѣлающихъ ихъ излишними и вредными. Теорія Грознаго воплотилась въ дѣйствительность именно благодаря цѣлому ряду условій, ее поддерживавшихъ, каковы: необходимость сильной единоличной власти для развитія денежнаго хозяйства съ обширнымъ рынкомъ, для организаціи общества на основѣ крѣпостного права, наконецъ для усиленной и непрерывной внѣшней борьбы. Понятно теперь, что исторія никакъ не можетъ служить оправданіемъ застоя, господства окаменѣлыхъ традицій. Такая окаменѣлость, неподвижность возможны только въ обществѣ, которое ни въ одномъ отношеніи не развивается; разъ хоть въ какой-либо сферѣ общественной жизни наблюдается движеніе, оно неминуемо отразится и въ другихъ ея сферахъ.

Изъ всего, сейчасъ сказаннаго, вытекаетъ практической выводъ первостепенной важности: при выработкѣ убѣжденій на исторической почвѣ недостаточно отыскать для нихъ историческія традиціи, нужно еще изучить жизнеспособность этихъ традицій, т. е. опредѣлить, какими условіями общезитія онѣ созданы, и продолжаютъ ли существовать эти условія. На этомъ покоится второй случай практическаго примѣненія исторіи, какъ науки, въ общественной жизни: *исторія при помощи социологическихъ законовъ, ею открываемыхъ, и опирающаяся на эти законы предвидѣнія будущаго помогаетъ опредѣлить конкретные общественные идеалы даннаго времени въ связи съ главными условіями общественной жизни.*

Мы видѣли раньше, что исторія даетъ основаніе для научной морали; сейчасъ мы убѣдились, что она служитъ опорой и для научной политики. Можно прибавить къ этому, что благодаря единому историческому основанію мораль и политика становятся въ тѣсную, неразрывную связь между собою, чѣмъ обуславливается цѣльность человѣческой личности, держащейся научнаго міросозерцанія, въ практической жизни. Само собою разумѣется, самая выработка научной морали и научной политики на исторической почвѣ требуетъ отъ человѣка громаднаго труда и и большихъ знаній. Нормы нравственности и права при такихъ условіяхъ не могутъ быть измышлены человѣкомъ путемъ простаго самоуглубленія, чистаго умозрѣнія. Житейскія задачи, столь просто разрѣшаемы умозрительной философійю, оказываются съ точки зрѣнія научной философійи несравненно болѣе сложными и трудными. Для ихъ разрѣшенія надо много работать и много

учиться каждому поколѣнію, выступающему на арену общественной жизни и дѣятельности. Но трудъ этотъ не пропадаетъ даромъ, онъ въ высокой степени плодотворенъ и является залогомъ грядущихъ успѣховъ общества. Необходимо поэтому привлечь къ нему возможно большее количество живыхъ общественныхъ силъ, которые поняли бы, что единственная могучая сила нашего времени заключается въ научномъ знаніи, и что этой силѣ и только ей одной принадлежитъ будущее.

Научное міросозерцаніе и исторія.

Появленіе враждебнаго идейнаго теченія всегда заставляетъ сторонниковъ извѣстнаго міросозерцанія пересмотрѣть свой багажъ, укрѣпиться на своей позиціи, систематизировать и привести въ надлежащую ясность свои воззрѣнія. Успѣхъ и популярность такъ-называемаго идеализма налагають на приверженцевъ положительной философіи именно такую обязанность пересмотра, систематизаціи и уясненія взглядовъ, ими исповѣдуемыхъ. Представить въ сжатой и по возможности общедоступной формѣ схему современнаго критико-позитивнаго или научнаго міросозерцанія и отношенія къ нему исторической науки и составляетъ задачу предлагаемаго очерка.

Духовный отецъ современнаго идеализма—Кантъ—различалъ, какъ извѣстно, двѣ основныхъ категоріи явленій: категорію бытія, или область чистаго разума, и категорію долженствованія, или область разума практическаго. Ни одинъ сторонникъ научнаго міровоззрѣнія, или, что то же, ни одинъ критическій позитивистъ, ничего не можетъ имѣть противъ такого дѣленія, пока оно ограничивается простымъ констатированіемъ того устанавливаемаго научно, т.-е. при помощи точно провѣренныхъ и правильно поставленныхъ опыта и наблюденія, факта, что человѣкъ не только теоретически изучаетъ окружающія его явленія, не только познаетъ существующее, но и оцѣниваетъ его, рѣшаетъ вопросъ о томъ, что должно быть. Разногласіе между позитивистами и идеалистами начинается тогда, когда у послѣднихъ заходитъ рѣчь объ особой природѣ моральныхъ явленій, о абсолютномъ характерѣ нравственныхъ понятій, основнымъ изъ которыхъ признается понятіе «добра». Въ основѣ этого разногласія лежитъ гносеологическій вопросъ, т.-е. вопросъ, относящійся къ теоріи

познанія. Гносеологія идеалистовъ, слѣдующихъ и въ этомъ отношеніи Канту, отличается дуализмомъ: они признають, что въ области чистаго разума (въ явленіяхъ, подводимыхъ подъ категорію бытія) человѣческое знаніе относительно, человѣкъ познаетъ только *феномены* (то, что ему кажется), или состоянія собственнаго сознанія, а не *ноумены*, не сущности вещей, не вещи, какъ онѣ есть сами по себѣ, независимо отъ человѣческаго сознанія; но въ области практическаго разума (въ явленіяхъ, подводимыхъ подъ категорію долженствованія) господствуютъ, по мнѣнію идеалистовъ, абсолютныя начала, не познаваемыя человѣкомъ посредствомъ опыта и наблюденія, а постигаемыя имъ при помощи внутренней интуиціи, умозрѣнія, независимаго отъ научныхъ приѣмовъ познанія и ничего общаго съ ними не имѣющаго. Въ сущности, эта теорія недалеко ушла отъ обычнаго пониманія моральныхъ задачъ: вѣдь каждый человѣкъ изъ толпы, даже полуобразованной, не говоря уже о совершенно некультурной, является въ обыденной жизни несомнѣннымъ и безусловнымъ абсолютистомъ въ своихъ нравственныхъ сужденіяхъ, выбираетъ какую-нибудь трафаретку и, не задумываясь, примѣняетъ это мѣрило для моральныхъ приговоровъ о прошломъ и настоящемъ, не принимая въ соображеніе никакихъ конкретныхъ обстоятельство. Вѣдь и политическая метафизика—эта старая и неизбѣжная болѣзнь полукультурныхъ умовъ—построена на томъ же началѣ моральнаго абсолютизма. И это одинаково справедливо по отношенію и къ радикальной, и къ реакціонной политической метафизикѣ; вся разница между той и другой заключается только въ принципахъ, которымъ, какъ фетишамъ, онѣ поклоняются: радикальными фетишами являются: «свобода, равенство, братство», реакціонными—«опека, власть, привилегія»; но методъ сужденія и у радикальныхъ, и у реакціонныхъ метафизиковъ совершенно одинаковъ: съ точки зрѣнія первыхъ, свобода, напр., всегда и при всѣхъ обстоятельствахъ, какая бы то ни было свобода,—есть благо; то же самое можно сказать о власти съ точки зрѣнія вторыхъ. Въ сущности, такимъ образомъ, масса безсознательно держится тѣхъ самыхъ моральныхъ взглядовъ, какіе теперь сознательно проповѣдуются подъ именемъ идеализма. Впрочемъ, въ одномъ отношеніи сознательные философскіе идеалисты дѣлають шагъ впередъ, несомнѣнно, приближающій ихъ къ научной, позитивно-критической морали: *понятіе «добра», лежащее въ основѣ явленій категоріи долженствованія, они признають чисто-формальнымъ, лишеннымъ всякаго содержанія, «категорическимъ императивомъ», велѣніемъ стремиться къ добру, не дающимъ само по себѣ отвѣта на то, что такое добро. Этотъ*

отвѣтъ, и по ихъ мнѣнію, для каждаго даннаго конкретнаго случая должна дать положительная наука, изъ которой и только изъ нея одной и можетъ быть почерпнуто содержаніе для формальнаго понятія «добра». Не ясно ли, что изложенная теорія является, въ сущности, компромиссомъ между вульгарной и научной моралью, переходной ступенью отъ первой ко второй?

Какъ всякій компромиссъ, эта теорія не можетъ удовлетворить ни ту, ни другую сторону. Безсознательные абсолютисты въ морали, вдумавшись въ предлагаемый имъ идеализмъ и понявъ его, будутъ разочарованы безсодержательностью формальнаго понятія «добра»: вѣдь имъ надо, чтобы былъ указанъ разнавсегда единый и неизмѣнный реальный признакъ «добра», а имъ предлагаютъ голую схему. Критическіе позитивисты въ свою очередь не могутъ примириться съ дуалистической гносеологіей идеализма. Монизмъ, ученіе, въ единомъ синтезѣ обнимающее всю теорію и практику, бытіе и долженствованіе, чистый и практической разумъ слишкомъ привлекательны для человѣческаго ума, чтобы можно было отъ него отказаться и примириться съ раздвоенностью міросозерцанія. Позитивисты и настаиваютъ на томъ, что можно назвать феноменологическимъ монизмомъ въ теоріи познанія. *Человѣкъ познаетъ всегда только феномены и ничто больше; онъ познаетъ ихъ лишь путемъ опыта и наблюденія; вотъ два положенія, на которыхъ покоится позитивно-критическая теорія познанія.* Что эта теорія должна быть примѣняема не только къ однимъ явленіямъ категоріи бытія, какъ то утверждаютъ идеалисты, но и къ явленіямъ категоріи долженствованія, это видно изъ того, во-первыхъ, что, анализируя формальное, лишенное всякаго содержанія, понятіе добра, мы не найдемъ въ немъ, если оно формально, ничего, кромѣ простаго констатированія того эмпирически-устанавливаемаго факта, что человѣкъ имѣетъ волю и дѣйствуетъ; во-вторыхъ, изъ того, что, какъ только мы попытаемся заполнить эту форму конкретнымъ содержаніемъ, такъ безъ труда убѣдимся въ относительности и нашихъ нравственныхъ понятій: допустимъ, напр., что мы признаемъ добромъ свободу; это признаніе въ его абсолютной формѣ совершенно несостоятельно, потому что не всякая свобода соотвѣтствуетъ реальнымъ интересамъ общества какъ цѣлаго: такъ, пресловутая свобода труда, отрицающая рабочія организаціи и рабочее законодательство, несомнѣнное зло не только для рабочихъ, но и для общества какъ цѣлаго, потому что ведетъ къ угнетенію, вырожденію и вымиранію значительной части населенія.

Изъ только-что сказаннаго видно, что *основное понятіе по-*

житивной или научной морали — это не формальное добро, а реальные интересы общества как цѣлаго въ данный моментъ его существованія. Высказывая это положеніе, мы приближаемся тѣмъ самымъ къ разсмотрѣнію вопроса, какое значеніе имѣеть для научнаго міросозерцанія и въ частности для научной морали исторія, потому что *исторія и даетъ какъ разъ основу для главнаго понятія научной морали — реальныхъ интересовъ общества какъ цѣлаго.* Для разъясненія и доказательства этого важнаго положенія необходимо войти въ разсмотрѣніе нѣсколькихъ историческихъ примѣровъ.

Въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ существовали учрежденія и порядки, признанные теперь несостоятельными и вредными и давно уже уничтоженные. И замѣчательно, что эти учрежденія и порядки существовали въ обществахъ здоровыхъ, не только сохранявшихъ свою жизненность, но и непрерывно развивавшихся. Въ чемъ причина такой бывшей жизнеспособности установленій, кажущихся намъ противорѣчащими самымъ элементарнымъ требованіямъ справедливости и общаго блага? Въ томъ, что эти установленія въ прошломъ соотвѣтствовали реальнымъ интересамъ общества какъ цѣлаго. Возьмемъ, напр., русское судопроизводство въ эпоху Русской Правды, т.-е. въ XI и XII вѣкахъ. Первой основной чертой его была, какъ извѣстно, ничтожная роль общественной власти въ производствѣ слѣдствія: такъ, напр., при побояхъ самъ потерпѣвшій искалъ свидѣтелей преступленія, общественная власть не принимала на себя этой обязанности; точно такъ же самъ истецъ <закликалъ на торгу> о пропажѣ принадлежавшей ему вещи или холопа: опять изъ его заявленія о потерѣ не вытекала необходимость дѣятельнаго и самостоятельнаго производства слѣдствія властями; даже при убійствѣ или кражѣ, когда преступникъ не былъ пойманъ на мѣстѣ преступленія, слѣдствіе производилось истцомъ, при чемъ только волость, или вервь, обязана была отводить слѣдъ, если онъ приводилъ въ ея предѣлы. Все дѣло ограничивалось со стороны властей лишь помощью истцу въ отдѣльныхъ случаяхъ: такъ, посадникъ долженъ былъ помогать при поимкѣ бѣглаго холопа, давая истцу отрока. Вторая черта древнѣйшаго русскаго судопроизводства—это слабость участія судебной власти въ самомъ судовореніи. Основная причина этого явленія—сильный формализмъ процесса по Русской Правдѣ. Формализмъ выражался по преимуществу въ формальномъ отношеніи къ судебнымъ доказательствамъ, въ безусловномъ къ нимъ довѣрїи, если выполнена была извѣстная форма. Такъ, при преступленіяхъ противъ здоровья и чести, по тѣмъ дѣламъ объ убійствѣ, въ

которыхъ отвѣтчикъ былъ пойманъ на мѣстѣ преступленія, наконецъ, при кражѣ, если опять-таки онъ былъ пойманъ съ поличнымъ, дословно-сходныя съ обвиненіемъ, предъявленнымъ со стороны истца, показанія свидѣтелей-очевидцевъ не подвергались оспариванію со стороны отвѣтника, послѣдній даже не допрашивался, а судья просто обязанъ былъ постановить приговоръ, безусловно довѣряя словамъ свидѣтелей. Роль судьи была, такимъ образомъ, почти совершенно-пассивной, дѣятельнаго участія въ процессѣ онъ, въ сущности, не принималъ. Съ нашей современной точки зрѣнія такая организація судопроизводства не выдерживаетъ ни малѣйшей критики, совершенно не удовлетворяетъ интересамъ правосудія. Но не то было тогда: не говоря уже о томъ, что если бы въ то время по какой-либо совершенно невѣроятной случайности осуществилось въ дѣйствительности современное намъ судоустройство и судопроизводство, то общество совершенно разорилось бы, не въ состояніи было бы вынести эту тяготу по чисто экономическимъ причинамъ, — самые интересы правосудія лучше удовлетворялись тогда при наличности формализма и слабости судебной власти, нежели при судоустройствѣ и судопроизводствѣ, технически болѣе совершенныхъ: въ самомъ дѣлѣ, вѣдь некультурность населенія, его разбросанность и отсутствіе надлежащаго контроля и надзора повели бы при болѣе активной роли судьи къ господству судейскаго усмотрѣнія, тогда какъ «форма спасала процессъ отъ безпорядочности и хаотичности, которыя явились бы результатомъ произвольныхъ и неконтрольныхъ дѣйствій тяжущихся (и, прибавимъ, самихъ судей), давала гарантію слабой и неопытной сторонѣ противъ сильнаго и искуснаго противника»¹⁾.

Приведенный примѣръ, какъ кажется, въ достаточной степени характеризуетъ тѣсную связь всякаго рода учреждений съ общимъ строемъ и направленіемъ общественной жизни извѣстнаго времени и проистекающую отсюда съ необходимостью относительность моральной оцѣнки отдѣльныхъ учреждений: то, что при современныхъ намъ условіяхъ является противорѣчающимъ справедливости, въ свое время какъ нельзя болѣе съ ней гармонировало.

Возьмемъ другой примѣръ. Мораль нашего времени не мирится съ состояніемъ несвободы; крѣпостное право и рабство представляются теперь съ нравственной точки зрѣнія вопіющимъ и непререкаемымъ зломъ. Но въ исторіи каждой страны былъ

¹⁾ П. Бяляевъ: „Очерки права и процесса въ эпоху Русской Правды“, въ „Сборникѣ правовѣдѣнія и обществ. знаній“, т. V, стр. 11.

долгий периодъ, когда крѣпостничество господствовало и, можно даже сказать, давало основной тонъ всей общественной и частной жизни. И опять-таки, несмотря на это, общество существовало и развивалось, пока, наконецъ, въ процессѣ этого развитія не дошло до отрицанія старыхъ крѣпостныхъ отношеній. Почему же общество не погибло при крѣпостномъ правѣ? Отвѣтъ ясенъ: потому что крѣпостное право соответствовало реальнымъ интересамъ общества какъ цѣлаго. Въ самомъ дѣлѣ: рассмотримъ реальныя силы, вызвавшія въ жизни и поддерживавшія крѣпостныя отношенія въ Россіи. Хорошо извѣстно, что крѣпостное право выработалось и сложилось въ теченіе второй половины XVI вѣка и въ первую половину XVII столѣтія и затѣмъ расцвѣло вполне въ XVIII вѣкѣ. Что представляла собой въ это время Россія въ хозяйственномъ отношеніи? Страна переживала тогда первую стадію развитія денежнаго хозяйства, характеризуемую тѣмъ, что постепенно масса населенія начинаетъ втягиваться въ товарное обращеніе, въ производство не для собственнаго потребленія, а для рынка. Этотъ процессъ совершается не сразу, а медленно и по частямъ: не все населеніе и сначала даже не большинство его захватывается имъ и притомъ захватывается не цѣликомъ, а лишь отчасти, въ нѣкоторыхъ только проявленіяхъ своей хозяйственной энергіи. При всемъ томъ, однако, перемѣна очень существенна, подламываетъ самыя основныя устои старыхъ порядковъ и сооружаетъ совершенно новый фундаментъ для невѣдомыхъ прежде экономическихъ отношеній. Такая перестройка всего общества на новыя основанія не обходится даромъ, особенно для матеріально-слабыхъ хозяйственныхъ единицъ, какими являются отдѣльныя крестьянскіе семейные союзы: каждую минуту грозитъ катастрофа, которая легко можетъ смести цѣликомъ и уничтожить безъ остатка плоды многолѣтнихъ усилій и трудовъ и привести благосостояніе и жизнь семьи на край гибели, а это противорѣчитъ реальнымъ интересамъ не только крестьянской массы, но и всего общества какъ цѣлаго, потому что ростъ населенія есть необходимое условіе его дальнѣйшаго развитія. Отсюда и вытекаетъ необходимость установленія крѣпостного права, т.-е. такихъ отношеній, которыя, обязывая крестьянина барщиной и оброкомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ обуславливаютъ поддержку ему со стороны владѣльца въ трудныя минуты хозяйственнаго переворота. Такимъ реальнымъ и не подлежащимъ сомнѣнію общественнымъ интересамъ удовлетворяло въ свое время крѣпостное право, и потому оно морально оправдывается для извѣстной эпохи. Принципы относительности, феноменализма въ отношеніи къ моральной проблемѣ укрѣпляется, очевидно, и вторымъ приведеннымъ нами примѣромъ.

Предубѣжденные и недостаточно осторожные и внимательные противники научнаго міровоззрѣнія, познакомившись съ тѣмъ, что только что сказано, могутъ поставить намъ въ упрекъ преклоненіе передъ фактомъ, извѣстнаго рода реалистическій фетишизмъ, идею, что все существующее справедливо и разумно, въ сущности, полный моральный индифферентизмъ или, если угодно, абсолютный оптимизмъ. Этотъ возможный упрекъ совершенно, однакоже, несправедливъ. *Съ точки зрѣнія научной морали оправдывается далеко не все существующее и опять на основаніи того же критерія—реальныхъ интересовъ общества какъ цѣлаго въ данный моментъ его существованія.* Въ жизни отдѣльныхъ социальныхъ организмовъ нерѣдко обнаруживаются явленія патологическія, болѣзненныя, носящія въ себѣ зародыши разложенія и смерти, противорѣчащія реальнымъ интересамъ общества какъ цѣлаго. Тогда больной социальный организмъ погибаетъ, поглощается болѣе крѣпкими, здоровыми и сильными и лишь въ связи съ послѣдними получаетъ возможность развиваться далѣе. Такъ случилось съ вольными городами древней Руси—Новгородомъ и Псковомъ; то же произошло позднѣе съ Польшей. Социальный строй Новгорода и Пскова покоился на аристократической привилегіи, что отражалось и въ политической сферѣ. Въ XV вѣкѣ это оказалось въ прямомъ и непримиримомъ противорѣчій съ реальными интересами мѣстнаго общества какъ цѣлаго: масса населенія подчинялась политическому гнету банкирской, торговой и землевладѣльческой аристократіи, причемъ этотъ гнетъ не оправдывался экономическими потребностями времени, потому что сосредоточивавшійся въ рукахъ аристократіи капиталъ лишь механически примѣшивался къ хозяйственной жизни страны, не вступая въ органическую связь съ коренными элементами этой жизни, а въ перспективѣ открывалась необходимость установленія именно этой органической связи путемъ развитія денежнаго хозяйства взамѣнъ натурального. Подъ давленіемъ этихъ условій и пала политическая самостоятельность древне-русскихъ вольныхъ городовъ, съ нею рухнули социальные привилегіи, въ нихъ существовавшія, и вмѣстѣ открылась возможность дальнѣйшаго, болѣе здороваго развитія въ составѣ болѣе крѣпкаго социального цѣлаго—Московского государства. На социальныхъ и политическихъ привилегіяхъ дворянства покоился и строй Рѣчи Посполитой въ XVIII вѣкѣ. Было время, когда этотъ строй соответствовалъ реальнымъ интересамъ общества какъ цѣлаго: это было тогда, когда Польша, Литва и Западная Русь переживали первую стадію развитія денежнаго хозяйства, сопровождающуюся полнымъ господствомъ земледѣлія и отсутствіемъ капиталистиче-

ской организаціи обрабатывающей промышленности. Но это время прошло: надо было преобразовать народное хозяйство страны, возвести его въ высшій типъ промышленно-земледѣльческаго экономическаго организма на капиталистической основѣ. Для этого нужны были обширные и свободные рынки, которые разорванная на три лоскута Польша и приобрѣла вмѣстѣ съ возможностью дальнѣйшаго развитія послѣ исторической траги-комедіи, извѣстной подъ именемъ паденія Польши. Въ обоихъ случаяхъ,—и въ вольныхъ городахъ древней Руси XV вѣка, и въ Рѣчи Посполитой XVIII столѣтія, — социальныя и политическія привилегіи являются, съ точки зрѣнія научной морали, явлениями отрицательными вслѣдствіе ихъ противорѣчія реальнымъ интересамъ общества какъ цѣлаго въ данный моментъ его существованія. Этотъ выводъ снимаетъ всякое подозрѣніе въ преклоненіи передъ фактомъ, въ моральномъ индифферентизмѣ или абсолютномъ оптимизмѣ. Въ оптимизмѣ относительномъ оправдываться не приходится, потому что онъ неразлученъ съ самой жизнью, безъ него нѣтъ бытія, нѣтъ и долженствованія, если не считать обязанности погибнуть. А научное міросозерцаніе не можетъ помириться съ философіей отчаянія и апоѳеозомъ смерти.

Но, утверждая относительность нравственныхъ понятій, какъ и относительность теоретическихъ истинъ, послѣдователи научнаго міросозерцанія не могутъ признать эту относительность въ обоихъ случаяхъ совершенно безпредѣльной. Напротивъ, для нея есть предѣлы, и они поставлены тѣмъ же гносеологическимъ принципомъ, въ силу котораго человѣкъ познаетъ только состоянія собственнаго сознанія. Единство познаваемого объекта и познающаго субъекта ставитъ предѣлы относительности знанія, дѣлая не безусловной самую эту относительность. На этомъ единствѣ покоится возможность культурнаго преемства и умственной связи отдѣльныхъ людей и разныхъ поколѣній.

Есть еще одинъ упрекъ, несправедливо бросаемый сторонникамъ научной морали идеалистами: говорятъ, что научная мораль не въ состояніи подвигнуть человѣка на самопожертвованіе и подвигъ. Въ спорѣ, свидѣтелями и участниками котораго мы всѣ являемся, не можетъ быть, конечно, рѣчи о какихъ-нибудь подозрѣніяхъ по отношенію къ отдѣльнымъ лицамъ: жизнь сама покажетъ, кто изъ идеалистовъ и изъ сторонниковъ научной морали окажется на высотѣ положенія въ тотъ великій и страшный часъ, когда передъ каждымъ изъ насъ грозно встанетъ моральная дилемма, когда каждому придется выбирать между вѣрностью своимъ принципамъ и самосохраненіемъ: мы нимало не со-

мнѣваемся, что и на той, и на другой сторонѣ найдутся твердые и честные люди. Но, спрашивается, неужели, отвлекаясь отъ отдѣльныхъ личностей, ставя вопросъ принципиально, можно думать, что убѣжденный и искренній сторонникъ научной морали, для котораго нѣтъ ничего, кромѣ конкретной нравственной задачи, имъ признаваемой, менѣе способенъ къ самопожертвованію и подвигу въ пользу этой ничѣмъ незатемняемой и незаслоняемой нравственной задачи, чѣмъ идеалистъ, у котораго, даже при неудачѣ въ достиженіи конкретной цѣли, все же остается утѣшеніе въ видѣ абсолютной, хотя бы и формальной, лишенной содержанія идеи добра? Вѣдь для того, кто исповѣдуетъ научную мораль, нѣтъ жизни внѣ конкретной нравственной задачи, имъ себѣ поставленной.

Значеніе і судьбы новѣйшаго идеализма въ Россіи.

По поводу книги „Проблемы идеализма“.

Наблюдая какое-либо идейное теченіе, въ большей или меньшей степени привлекающее вниманіе общества, человекъ позитивно-критическаго міросозерцанія, покоящагося на исторической основѣ, чувствуетъ прежде всего потребность опредѣлить тѣ условія, какія вызвали къ жизни это идейное теченіе, и предугадать его будущую судьбу. На этомъ покоится разрѣшеніе другого важнаго вопроса,—о томъ, какъ опредѣлить свое субъективное отношеніе къ данной теоріи, какой способъ дѣйствія по отношенію къ ней слѣдуетъ усвоить. Но само собой разумѣется, что для правильнаго рѣшенія этихъ задачъ первостепенной важности необходимо познакомиться возможно лучше и полнѣе съ самой теоріей, которая должна выдержать такое двойное испытаніе. Эта, такъ сказать, предварительная задача изученія самаго матеріала облегчается въ нашемъ спеціальному случаѣ тѣмъ обстоятельствомъ, что послѣдователи новѣйшаго идейнаго теченія, въ томъ или другомъ смыслѣ занимающаго русское общество сейчасъ, издали большую книгу, долженствующую, по всѣмъ признакамъ, служить ихъ символомъ вѣры или манифестомъ ихъ воззрѣній.

Но необходимо оговориться; мы не знаемъ, въ какой мѣрѣ авторы книги «Проблемы идеализма» несутъ коллективную отвѣтственность за все, въ этой книгѣ содержащееся. Существуютъ совершенно объективныя основанія предполагать, что такой коллективной нравственной отвѣтственности даже совсѣмъ быть не можетъ, потому что наблюдаются нерѣдко очень существенныя,

принципіальныя разногласія между лицами, выступившими под однимъ идейнымъ знаменемъ. Поэтому удобнѣе будетъ сначала выдѣлить то, что соединяетъ, если не всѣхъ, то, по крайней мѣрѣ, большинство составителей книги, и опредѣлить свое отношеніе къ этой общей теоріи, а потомъ уже обратиться къ разбору отдѣльныхъ частныхъ, возлагая отвѣтственность за послѣднія на отдѣльныхъ лицъ.

Итакъ, что такое идеализмъ, насколько это можно понять по книгѣ «Проблемы идеализма»?

Первое, что можно и должно сказать объ идеализмѣ, это то, что это — *моральная* доктрина, признающая первостепенную важность проблемы о должномъ: «та основная проблема, которая въ наше время приводитъ къ возрожденію идеалистической философіи, есть прежде всего проблема моральная ¹⁾», говоритъ редакторъ книги въ своемъ предисловіи, и эта мысль повторяется въ различныхъ выраженіяхъ въ отдѣльныхъ статьяхъ сборника ²⁾.

Вторая отличительная черта идеалистической философіи заключается въ *отрицательномъ отношеніи къ рѣшенію моральной задачи положительной наукой*. «Обращаясь къ тѣмъ направленіямъ, которыя не хотятъ знать ничего, кромѣ опытныхъ началъ, мы убѣждаемся въ ихъ бессиліи разрѣшить этотъ важный и дорогой для насъ вопросъ ³⁾, читаемъ въ предисловіи; подобное видимъ и въ другихъ мѣстахъ ⁴⁾. Основанія, по которымъ рѣшеніе моральной проблемы признается непосильнымъ для опытной науки, сводятся къ слѣдующему: 1) «на вопросъ о томъ, что должно быть, знаніе того, что было и что есть, не можетъ дать отвѣта ⁵⁾; 2) для положительной науки и въ частности для исторіи возможны лишь «гипотетическія предположенія» или «обоснованныя ожиданія» отъ будущаго, а «утверждать на этихъ предположеніяхъ свой нравственный идеаль значило бы лишать его настоящей широты и твердости»; вопросъ о должномъ выходитъ изъ сферы положительной науки ⁶⁾; 3) общественное знаніе существеннымъ образомъ отличается отъ естествознанія; потому что, во-первыхъ, по Риккерту и Виндельбанду, естествознаніе обращаетъ вниманіе на общее, а исторія на особенное, «на уста-

¹⁾ „Проблемы идеализма“, стр. VIII; ниже, когда въ ссылкахъ указаны страницы безъ обозначенія заглавія сочиненія, разумѣется всегда эта книга.

²⁾ Стр. 3, 249 и др.

³⁾ Стр. VIII.

⁴⁾ Стр. 3, 255, 262, 263, 301, 506.

⁵⁾ Стр. 255.

⁶⁾ Стр. 262.

новленіе дѣйствительности съ ея индивидуальными особенностями», почему исторія не повторяется, и соціальныя предсказанія невозможны ¹⁾; во-вторыхъ, въ основѣ естественно-научнаго міропониманія лежитъ понятіе необходимости, а съ соціологической точки зрѣнія важно только понятіе возможности, при ближайшемъ анализѣ обращающееся въ понятіе нравственнаго долженствованія ²⁾.

Третье основное положеніе идеализма сводится къ *утвержденію равноправности религіи и философіи съ наукой и независимости проблемы моральной отъ категоріи бытія*. Это послѣднее доказывается слѣдующими соображеніями: 1) долженствованіе сверхъопытнаго происхожденія ³⁾; 2) долженствованіе немислимо безъ свободы воли, а опытъ признаетъ лишь необходимость, — связь причинъ и слѣдствій ⁴⁾; 3) «подчиненіе долженствованія бытію... коренится... въ идолопоклонствѣ передъ принципомъ причинности. Оно забываетъ, что въ опытѣ или наукѣ намъ открывается причинность и способъ бытія, но что самое бытіе, какъ таковое, остается для насъ всегда и непознаннымъ и необъясненнымъ» ⁵⁾; 4) «отрицаніе должнаго, какъ самостоятельной категоріи, независимой отъ эмпирическаго сущаго и не выводимой изъ него, ведетъ къ упраздненію не только этики, но и самой нравственной проблемы» ⁶⁾,

Слѣдую дуалистической гносеологіи Канта, идеалисты, вслѣдъ за тѣмъ же Кантомъ, утверждаютъ, что *абсолютныя моральныя понятія—формальны, лишены содержанія, являются простыми вѣльями, категорическими императивами*, — и это составляетъ четвертое основное положеніе идеалистической философіи; абсолютная цѣнность долженствованія—«это абсолютизмъ не факта, а идеи, не проявленія, а сущности, не конкретнаго содержанія, а отвлеченной формы ⁷⁾; и въ соціальныхъ идеалахъ выступаетъ «формальный характеръ нравственнаго долженствованія» ⁸⁾.

Наконецъ, пятая главная идея, проводимая идеализмомъ, касается содержанія моральныхъ понятій. Нельзя сказать, чтобы, утверждая формализмъ долженствованія, идеалисты признавали исполнѣ и безраздѣльно принципъ относительности въ содержаніи

¹⁾ Стр. 12—13, 14, 261, 263, 307 и 377.

²⁾ Стр. 302, 303, 359.

³⁾ Стр. VII, 1, 6, 490, 520.

⁴⁾ Стр. 30, 96, 97, 255.

⁵⁾ Стр. 30—31.

⁶⁾ Стр. 79; ср. стр. 94.

⁷⁾ Стр. 286.

⁸⁾ Стр. 288.

нравственныхъ понятій: абсолютъ проникъ и сюда. Правда, они утверждаютъ, что положительная наука помогаетъ абсолютной нравственной философіи, «даетъ пустой формѣ абсолютнаго должествованія конкретное, относительное содержаніе»¹⁾, но полагаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что *необходимо знать конечныя цѣли мірозданія*²⁾, что эти цѣли — по крайней мѣрѣ отчасти — отражаются въ исторіи, такъ что «процессъ исторіи — процессъ созданія абсолютной морали», «въ историческомъ процессѣ выражена міровая, провиденціальная мысль»³⁾; и даже формулируютъ нѣкоторые основные принципы абсолютной морали со стороны ея содержанія: эти принципы — свобода и провозглашеніе человѣка, человѣческой личности «самоцѣлю»⁴⁾.

Таковыя основныя положенія идеализма, и такъ они доказываются въ разбираемой книгѣ. Мысли и доказательства, сейчасъ изложенныя, принадлежать изъ 12-ти составителей книги лишь семи: С. Н. Булгакову, П. Г., Н. А. Бердяеву, С. А. Асвольдову, П. И. Новгородцеву, Б. А. Кистяковскому и Д. Е. Жуковскому. Что касается кн. Е. Н. Трубецкого, С. Л. Франка, кн. С. Н. Трубецкого, А. С. Лаппо-Данилевскаго и С. Э. Ольденбурга, то, несомнѣнно, сочувствуя въ общемъ идеализму, они, можетъ быть, понимаютъ его и нѣсколько иначе, чѣмъ ихъ товарищи: статьи этихъ пяти лицъ не даютъ возможности судить, раздѣляютъ ли они во всѣхъ подробностяхъ изложенную теорію. Мало того: хотя авторы, отнесенные мною въ первую группу, и исповѣдуютъ одни и тѣ же принципы, но указанныя выше доказательства этихъ общихъ началъ не у всѣхъ одинаковы, такъ что, при всемъ стараніи выдѣлить общее и основное, пришлось включить въ предшествующее изложеніе кое-что такое, что можетъ быть отнесено на счетъ лишь отдѣльныхъ лицъ.

Спрашивается теперь, почему эта теорія привлекаетъ сочувствіе общества? Говоря объ обществѣ, нельзя, конечно, представлять себѣ его какъ нѣчто цѣлое, единое, недѣлимое. Даже въ образованномъ обществѣ надо различать, по крайней мѣрѣ, двѣ группы: первую составляютъ люди, которые могутъ и хотятъ оцѣнить не только отдѣльныя частности извѣстнаго идейнаго построенія, но и все это построеніе въ цѣломъ; такихъ людей меньшинство, и не о нихъ мы сейчасъ говоримъ; мы говоримъ о томъ подавляющемъ большинствѣ, которое, нерѣдко не будучи въ состояніи охватить цѣлое, беретъ изъ каждой теоріи то, что

¹⁾ Стр. 39, 292, 294.

²⁾ Стр. 16, 79, 214, 296, 520.

³⁾ Стр. 521, 44.

⁴⁾ Стр. 35, 104, 106, 112, 214, 281, 283, 294, 511, 521.

въ данный моментъ близко его сердцу, соотвѣтствуетъ его духовнымъ запросамъ. Этому большинству предстоитъ еще въ будущемъ—и можетъ быть въ довольно далекомъ будущемъ—работа объединенія своихъ идей и симпатій въ болѣе или менѣе цѣльную систему. И художественная литература послѣдняго времени, и личныя наблюденія каждаго убѣждаютъ въ томъ, что въ русскомъ обществѣ прочно утверждается высокій взглядъ на права человѣческой личности. Эта идея нашла себѣ выраженіе въ пятомъ основномъ положеніи идеалистической доктрины, и она-то, по моему мнѣнію, и привлекаетъ массу русскаго образованнаго общества къ новому ученію. И для массы привлекательна не только индивидуалистическая струя въ идеалистической философіи, но и провозглашеніе автономіи и правъ личности какъ абсолютнаго нравственнаго начала, необходимаго и неизмѣннаго для всѣхъ временъ и народовъ: вѣдь моральный абсолютизмъ такъ свойственъ обыденному мышленію, что это послѣднее, не обинюясь, примыкаетъ къ философскому ученію, оправдывающему этотъ абсолютизмъ. И еще одна черта дѣлаетъ идеализмъ желаннымъ для большинства: это—примиреніе съ религіей какъ санкціей морали. Таковы, какъ кажется, психическія основы увлеченія большинства идеализмомъ. Этому большинству остается чуждой та поправка, которую вносятъ идеализмъ въ обыденный складъ мышленія, — поправка, сводящаяся къ провозглашенію моральнаго принципа формальнымъ.

Но и среди меньшинства есть люди, которые открыто и охотно примыкаютъ къ идеалистической философіи: это тѣ, кто принимаетъ ее въ цѣломъ, кто цѣнитъ и только что указанную философскую поправку, кто ищетъ откровенія не только въ Кантѣ, но и въ Фихте и въ Гегелѣ. Люди этого типа, какъ и тѣ, о которыхъ только что шла рѣчь,—не исключительно наше, русское явленіе: такихъ людей лѣтъ 50 тому назадъ много было въ Германіи. Крупнѣйшимъ представителемъ такого типа является Лассаль съ его двойственной натурой, въ которой этическіе запросы сочетались съ индивидуалистическими стремленіями. Реальныя условія русскаго общественнаго развитія въ наше время близки къ тѣмъ, въ которыхъ протекала жизнь нѣмецкаго общества полвѣка тому назадъ. Неудивительно, что и психологія общества складывается приблизительно одинаково, и идейныя теченія повторяются съ поразительнымъ сходствомъ.

Съ точки зрѣнія позитивно-критической, признающей за основу для моральныхъ приговоровъ реальныя интересы общества въ данный моментъ его существованія, укрѣпленіе и увеличеніе правъ личности въ настоящее время оправдывается не въ меньшей сте-

пени, чѣмъ съ идеалистической точки зрѣнія. Понятно, что критическій позитивистъ можетъ и долженъ признать за идеализмомъ нѣкоторое практическое значеніе: не разрывая рѣзко съ традиціями, мирясь съ ними и оправдывая ихъ, примѣняясь къ обычному міросозерцанію, идеализмъ вмѣстѣ съ тѣмъ проводитъ здоровое нравственное начало, соответствующее реальнымъ интересамъ общества, какъ цѣлаго, въ данный моментъ его существованія; этого мало: своими отступленіями отъ обычнаго міросозерцанія массы идеализмъ будитъ въ послѣдней мысли, прививаетъ вкусы къ мышленію о высшихъ вопросахъ, а это залогъ будущаго развитія. Этимъ, я думаю, опредѣляется историческая и практическая роль идеалистической философіи въ Россіи нашего времени. Послѣ всего сказаннаго никто не упрекнетъ пишущаго эти строки въ безусловно-враждебномъ отношеніи къ идеализму, а это облегчаетъ задачу послѣдующей критики, къ которой теперь и перейдемъ.

Важность моральной задачи, особенно, если говорить о морали социальной,—это такое положеніе, котораго не будетъ оспаривать ни одинъ критическій позитивистъ. Болѣе того: ея не оспаривалъ даже и позитивизмъ въ его первоначальной формѣ: Контъ, кромѣ задачи изученія природы или дѣйствительности, признавалъ равноправную съ ней задачу примѣненія знаній о природѣ къ выгодамъ человѣка¹⁾, не только знаніе и предвидѣніе, но и дѣйствіе представлялись ему важными²⁾. Историческая школа въ политической экономіи, сильно проникнутая и историзмомъ и позитивизмомъ, посвятила большую часть своихъ силъ разработкѣ практическихъ вопросовъ въ извѣстномъ «Обществѣ социальной политики». Современная медицинская наука, несомнѣнно позитивная въ своихъ основахъ, имѣетъ въ виду не только теоретическое изученіе здороваго и больного организма, но и практическую цѣль излѣченія отъ болѣзней и даже ихъ предупрежденія. Техника всякаго рода, исходя изъ положительныхъ началъ, преслѣдуетъ вѣдъ всегда практическія задачи. Даже историческая школа юристовъ, за исключеніемъ первыхъ ея адептовъ, по естественной реакціи заходившихъ слишкомъ далеко въ направленіи, противоположномъ ранѣе господствовавшему, развивала задачи политики права; это въ особенности слѣдуетъ сказать о русскихъ ученыхъ—не только о такихъ, какъ С. А. Муромцевъ или М. М. Ковалевскій, но и о тѣхъ, кто занимался,

¹⁾ Cours de la philosophie positive, Paris, 1830, I, p. 60.

²⁾ Тамъ же, p. 63.

повидимому, почти исключительно теоріей и исторіей, какъ напр., Н. Л. Дювернуа ¹⁾.

Итакъ, признаніе первостепенной важности практической, моральной проблемы не составляетъ типической особенности идеализма. Пустопорожнее знаніе, не имѣющее въ виду въ конечномъ счетѣ жизненныхъ потребностей, чуждо нашему времени, составляетъ удѣлъ далекой средневѣковой эпохи. Настаивать на удовлетвореніи жизненныхъ потребностей посредствомъ научной работы и доказывать необходимость этого удовлетворенія значило бы ломиться въ открытую дверь.

Гораздо оригинальнѣе второе положеніе идеалистической философіи, отрицающее возможность рѣшенія моральной проблемы положительною наукой. Послѣ всего, что сказано сейчасъ о практическихъ тенденціяхъ положительнаго знанія, остается немного прибавить для того, чтобы показать неосновательность первыхъ двухъ аргументовъ, подкрѣпляющихъ это второе положеніе и сводящихся, какъ было выше указано, къ утвержденію, что положительная наука занимается изученіемъ лишь прошлаго и настоящаго, обоснованными ожиданіями отъ будущаго и чужда вопроса о должномъ. Здѣсь кроется довольно странное недоразумѣніе, заключающееся въ мысли, что не можетъ быть практическихъ, прикладныхъ положительныхъ знаній. Это совершенно невѣрно,—и невѣрно не только въ отношеніи къ эксплуатаціи силъ природы съ практическими цѣлями въ техникѣ и медицинѣ, но и по отношенію къ задачамъ человѣческаго общежитія. Положительная наука не отрицаетъ и никогда не отрицала возможности и необходимости воздѣйствовать на дѣйствительность; она только, во-первыхъ, точнѣе опредѣляетъ способы этого воздѣйствія и, во-вторыхъ, устанавливаетъ его предѣлы. Свобода воли въ позитивномъ смыслѣ этого выраженія отнюдь не отрицается, потому что подъ ней разумѣется такая организація психическихъ элементовъ развитой духовно личности, при которой эти элементы составляютъ стройную и сложную систему, оказывающуюся въ состояніи сопротивляться отдѣльнымъ внѣшнимъ вліяніямъ даннаго момента. Такая свобода не стоитъ ни въ какомъ противорѣчій съ необходимостью. Но для того, чтобы опредѣлить направленіе и цѣль общественной дѣятельности, необходимо знать законы развитія прошлаго и настоящаго и опредѣлить перспективы на будущее, чтобы помочь мучительному и

¹⁾ См. его „Чтенія по гражданскому праву“; ср. его старое, чисто-историческое, прекрасное и полное практически полезныхъ мыслей сочиненіе „Источники права и судъ въ древней Россіи“.

трудному процессу рожденія новыхъ общественныхъ формъ, какъ акушеръ или повивальная бабка помогаетъ появленію на свѣтъ новаго человѣка. Въ каждый данный моментъ необходимо и возможно на совершенно положительныхъ основаніяхъ рѣшить вопросъ о томъ, что содѣйствуетъ самосохраненію и дальнѣйшему развитію общества, и направить свою дѣятельность на поддержаніе этихъ здоровыхъ началъ. Понятіе о больномъ и здоровомъ обществѣ не менѣе свойственно позитивной социальной наукѣ—въ частности социальной политикѣ,—чѣмъ свойственно медицинѣ понятіе о больномъ и здоровомъ организмѣ. Формулированіе конкретныхъ практическихъ задачъ переживаемаго момента съ указаніемъ на практическіе приемы ихъ рѣшенія—вотъ великая моральная проблема каждаго времени, и только тогда эта цѣль будетъ достигнута, когда мы откажемся отъ абсолютовъ и панацей, а останемся на позитивной почвѣ.

Но, какъ мы видѣли, безсиліе положительной науки въ рѣшеніи моральной проблемы доказывается еще ссылкой на Виндельбанда и Риккерта, утверждающихъ, что обществознаніе обращаетъ вниманіе на частное, особенное, индивидуальное и потому не можетъ предсказывать будущее: исторія вѣдь не повторяется; обществознаніе такимъ образомъ противопоставляется естествознанію, гдѣ господствуетъ общее, а не частное, и гдѣ поэтому возможны предсказанія. Имена Виндельбанда и Риккерта по этому поводу окружаются въ «Проблемахъ идеализма» особымъ ореоломъ, и ихъ выводы объявляются какимъ-то откровеніемъ истины, новымъ свѣтомъ, возсіявшимъ въ общественной философіи и теоріи историческаго познанія. Между тѣмъ, что въ сущности представляютъ собою эти выводы? Не что иное, какъ теоретическую формулировку тѣхъ приемовъ и задачъ историческаго изученія, которые составляютъ отличительную особенность многочисленныхъ нѣмецкихъ историковъ школы Ранке. Эти историки—истинные черно-рабочіе, гетевскіе Вагнеры, не видящіе изъ за деревьевъ лѣса, эрудиты, а не ученые въ собственномъ смыслѣ слова. Теоретическое оправданіе ихъ работы, къ которому сводятся новѣйшіе труды Виндельбанда и Риккерта,—дѣло совершенно не философское. Чтобы опровергнуть эту попытку, приходится напомнить объ азбукѣ, хорошо забытой Виндельбандомъ, Риккертомъ и ихъ послѣдователями: кто изъ позитивистовъ не знаетъ извѣстнаго дѣленія теоретическихъ знаній на «абстрактныя, общія», открывающія законы явленій, и «конкретныя, частныя, описательныя», изображающія частные случаи примѣненія этихъ общихъ законовъ въ конкретной дѣйствительности ¹⁾? Кому далѣе неизвѣстно,

¹⁾ А. Comte, Cours, I, p. 70.

что и въ естествознаніи есть науки обоихъ видовъ: біологія— абстрактная наука, ботаника и зоологія—описательныя, конкретныя, и что въ обществознаніи біологіи соотвѣтствуетъ соціологія, а ботаникѣ и зоологіи—исторія? Вотъ почему утверждать, что обществознаніе изучаетъ частное, индивидуальное, особенное, а естествознаніе общее, значить впадать въ очевидное недоразумѣніе: и частное и общее одинаково изучаются и здѣсь и тамъ, но и въ частномъ познается общее, безъ чего нѣтъ науки, а есть только простое накопленіе несистематизированныхъ, не подвергнутыхъ анализу фактовъ. Повторяемъ,—это азбука, но что же дѣлать, если о ней приходится въ данномъ случаѣ напоминать? Не болѣе, какъ недоразумѣніемъ, надо признать и пресловутое, очень часто, но напрасно повторяемое утвержденіе, что исторія не повторяется. Напротивъ, исторія часто повторяется: сколько учрежденій сходныхъ съ французскимъ conseil du roi, съ интендантами, съ провинціальными штатами, можно найти въ исторіи разныхъ странъ; хозяйственный, соціальный и политическій строй нашихъ вольныхъ городовъ удѣльнаго времени представляетъ множество поразительныхъ совпаденій съ соотвѣтствующими сторонами жизни Эллады VII и VI вѣковъ до Р. Х., средневѣковыхъ итальянскихъ и нѣмецкихъ городовъ; такъ называемый феодализмъ, по крайней мѣрѣ въ его зародышахъ,—международное явленіе; даже отдѣльныя событія почти вполнѣ воспроизводятся: припомнимъ конкретныя подробности возстанія Уота Тайлера въ Англіи XIV вѣка, французской жакеріи, нашего Разинскаго бунта или Пугачевщины и т. д. Конечно, при всемъ сходствѣ, наблюдаются обыкновенно и различія, но развѣ въ природѣ отдѣльныя конкретныя явленія вполнѣ точно совпадаютъ другъ съ другомъ, развѣ паденіе одного камня во всѣхъ конкретныхъ подробностяхъ сходно съ паденіемъ другого? въ обоихъ паденіяхъ отражаются лишь одни общіе законы, но конкретныя подробности часто различны. Но это же можно сказать и о повторяемости историческихъ явленій. Слѣдовательно, и соціальныя предсказанія принципиально также возможны, какъ и предсказанія въ естествознаніи. Если первыя труднѣе и рѣже удаются, то это происходитъ отъ большей сложности соціальныхъ явленій и меньшей разработанности общественныхъ наукъ, — и только. И астрономъ—не магъ и всего предсказать не можетъ, и въ астрономіи, несмотря на ея высокое развитіе, случаются ошибки и неточности. Но развѣ это говоритъ противъ принципиальной возможности астрономическихъ предсказаній? Послѣ всего сказаннаго самъ собою отпадаетъ вопросъ о необходимости какъ основномъ понятіи исключительно одного естествознанія и о

возможности или долженствованіи какъ основномъ понятіи обществознаія.

Идеалисты много говорятъ—далѣе—о равноправности религіи и метафизической философіи съ наукой и въ связи съ этимъ настаиваютъ на независимости моральной проблемы отъ категоріи бытія. Никто, конечно, не имѣетъ желанія запрещать желающимъ заниматься метафизическимъ умозрѣніемъ. Всего менѣе можно упрекнуть позитивистовъ, признающихъ невозможность рѣшенія вопросовъ о сущности вещей научнымъ путемъ, въ религіозной нетерпимости или въ отрицаніи религіи. Тамъ, гдѣ кончается сфера научнаго знанія, должна господствовать полная и ничѣмъ не ограниченная свобода: что недоказуемо, то не можетъ быть обязательно ни внѣшнимъ, ни внутреннимъ образомъ, ни путемъ принужденія, ни логически. Эта логическая необязательность и недоказуемость метафизическихъ и религіозныхъ истинъ и составляетъ демаркаціонную черту между наукой съ одной стороны и метафизической философіей и религіей съ другой, — и это никакъ нельзя забывать. Недоказуемость признаютъ теперь и идеалисты, и странно, что, несмотря на такое признаніе, мало цѣнятъ логическую необязательность, полный субъективизмъ метафизическихъ и религіозныхъ истинъ, совершенную невозможность ставить ихъ въ рядъ съ истинами научными, сравнивать первыя съ послѣдними. Вотъ въ чемъ заключается разница между позитивизмомъ и идеализмомъ въ ихъ отношеніи къ метафизикѣ и религіи, а вовсе не въ томъ, что идеалисты — широки и терпимы, а позитивисты узки и фанатичны. Но намъ говорятъ еще, что долженствованіе независимо отъ бытія, и пытаются доказать это рядомъ соображеній. Соображенія эти чисто-метафизическаго характера: вездѣ предполагается субстратъ (долженствованіе, бытіе), чистая форма, независимая отъ проявленій этого субстрата. Мы уже говорили, что свобода воли, понимаемая позитивно, не противорѣчитъ необходимости. Наконецъ, что касается происхожденія чистой, метафизической формы, то этотъ вопросъ не имѣетъ никакого смысла съ положительной точки зрѣнія, потому что чистая форма опыту и наблюденію не подлежитъ и не можетъ быть, слѣдовательно, научно анализируема, какъ и всякая «вещь въ себѣ». Съ позитивной точки зрѣнія явленія категоріи долженствованія могутъ быть познаваемы только какъ феномены, и это положеніе покоится на тѣхъ соображеніяхъ, что, во-первыхъ, анализируя формальное, лишенное всякаго содержанія, понятіе добра, мы не найдемъ въ немъ, если оно формально, ничего кромѣ простого констатированія эмпирически устанавливаемаго факта, что человѣкъ имѣетъ волю

и дѣйствуетъ; во-вторыхъ, какъ только мы попытаемся заполнить эту форму конкретнымъ содержаніемъ, такъ безъ труда убѣдимся въ относительности и нашихъ нравственныхъ понятій. И, конечно, такая постановка вопроса вовсе не устраняетъ этики: вѣдь сами же идеалисты для рѣшенія нравственныхъ проблемъ призываютъ на помощь науку. Это и естественно: вѣдь вся важность моральной проблемы каждаго момента заключается не въ философскомъ обоснованіи формальнаго понятія долга, а въ опредѣленіи конкретныхъ задачъ дѣятельности человѣка въ условіяхъ именно этого времени.

То, что сейчасъ сказано, заставляетъ насъ отнестись отрицательно и къ четвертому положенію идеализма, — о формальномъ характерѣ нравственнаго долженствованія. Впрочемъ, какъ намъ уже извѣстно, идеалисты не удержались на чисто-формальной почвѣ и, признавая исторію процессомъ созданія абсолютной морали, постепенно выясняющимъ конечныя цѣли міросозданія, указали и два выясненныхъ уже исторіей элемента этой абсолютной морали: свободу и признаніе личности самоцѣлью. Въ сущности, впрочемъ, это не два элемента, а одинъ, потому что свобода и автономія личности одно и то же. Нельзя не признать однако: что признаніе начала свободы нравственнымъ абсолютнымъ принципомъ — чистое самообольщеніе. Развитие свободы является конкретной моральной задачей извѣстнаго времени, вызываемой реальными условіями социальнаго развитія. Но возводить эту свободу въ абсолютъ значить впадать въ несомнѣнную и очень серьезную ошибку. Не всякая свобода соответствуетъ самосохраненію и развитію общества даже тогда, когда реальныя потребности и интересы требуютъ расширенія свободы во многихъ отношеніяхъ; такъ пресловутая свобода труда, отрицающая рабочія организаціи и рабочее законодательство, — несомнѣнное зло не только для рабочихъ, но и для общества какъ цѣлаго, потому что ведетъ къ угнетенію, вырожденію и вымиранію значительной части населенія.

Итакъ, очень многое и притомъ основное въ идеалистической философіи оказывается при критическомъ разсмотрѣніи несостоятельнымъ. Мы видѣли, что и почему обезпечило успѣхъ идеализму. Теперь мы можемъ сказать, что этотъ успѣхъ — явленіе очень преходящее, временное. Отъ каждой теоріи масса русскаго общества беретъ то, что ей наиболѣе дорого, затѣмъ, нѣкоторое время поклоняясь новымъ кумирамъ, скоро къ нимъ охладѣваетъ. Теорія, недавно властвовавшая, если не надъ умами, то надъ сердцами, скоро теряетъ свое обаяніе и превращается въ *одно* изъ научныхъ или философскихъ теченій, существующихъ въ

обществѣ. Тогда то и начинается ея настоящая критическая разработка, ея углубленіе и совершенствованіе. Такъ случилось недавно съ марксизмомъ: въ его первоначальной, элементарной формѣ онъ увлекъ сердца, но пылъ остылъ, и такъ какъ русское общество еще не доросло до самостоятельной *умственной*, критической работы, то старые кумиры смѣнились новыми. Марксизмъ ушелъ въ глубь, сталъ однимъ изъ научныхъ теченій, подлежащихъ дальнѣйшей разработкѣ. Но онъ скажетъ еще свое слово, потому что онъ теченіе—*научное*. Теперь мы наблюдаемъ увлеченіе идеализмомъ, которое также скоро схлынетъ; и идеализмъ сдѣлается достояніемъ той группы интеллигенціи, которая по складу своей натуры склонна къ отвлеченному философствованію на метафизической основѣ. И у насъ, какъ теперь въ Германіи, появится, вѣроятно, множество «системъ» философіи, которыя и будутъ преподносятся благосклоннымъ слушателямъ съ университетскихъ кафедръ. Но мы едва ли ошибемся, если замѣтимъ, что широкой общественной роли въ смыслѣ практическомъ идеализму не суждено сыграть: если отвлечься отъ крайностей мистицизма, нерѣдко отражающихся въ практической дѣйствительности довольно сильно, то придется признать идеалистическую философію слишкомъ академической теоріей, чтобы она могла получить значеніе боевого клича. А будущее принадлежитъ лишь тѣмъ теоріямъ, которыя своими *оригинальными*, отличительными чертами обращены къ *конкретной* дѣйствительности. Таковъ именно марксизмъ.

Предшествующее изложеніе касалось самыхъ общихъ основъ идеализма, какъ онѣ изложены въ разбираемой книгѣ. Но, выдѣливъ это основное и общее, мы получаемъ въ остаткѣ еще частные взгляды отдѣльныхъ авторовъ. Оставить безъ вниманія эти подробности никакъ нельзя, потому что многое въ нихъ очень характерно для тѣхъ, кто ими обмолвился, и, съ другой стороны, можетъ легко ввести въ соблазнъ неопытнаго читателя; наконецъ, есть и много вѣрнаго, что заслуживаетъ быть особо отмѣченнымъ. Всѣ статьи сборника «Проблемы идеализма» можно съ удобствомъ раздѣлить на три группы: первую составляютъ критическія статьи и изложенія чужихъ воззрѣній и теорій; вторая слагается изъ статей, главная задача которыхъ—формулированіе основъ идеализма и ихъ доказательство; къ третьей относятся статьи переходнаго характера отъ первой ко второй группѣ.

Къ первой группѣ принадлежатъ статьи кн. Е. Н. Трубецкого, С. Л. Франка, Б. А. Кистяковского, А. С. Лаппо-Данилевскаго и С. Э. Ольденбурга. Статья кн. Трубецкого посвящена критикѣ ученія первоначальнаго марксизма о значеніи идей

въ исторіи. Критика эта во многихъ отношеніяхъ справедлива: дѣйствительно, объясненіе *всей* идеологіи общества *непосредственно* изъ экономическихъ отношеній, въ частности изъ классовыхъ интересовъ,—невозможно, рѣжетъ глаза своей грубостью. Но отсюда еще очень далеко до заключенія автора, что человѣческій умъ въ исторіи является «факторомъ самостоятельнымъ, несводимымъ къ причинамъ экономическимъ или какимъ-либо другимъ»¹⁾. Кн. Трубецкой—и не онъ первый—довольно убѣдительно показали несостоятельность марксистскаго объясненія духовной культуры въ его первоначальномъ видѣ. Но большинство современныхъ послѣдователей теоріи экономического объясненія исторіи допускаетъ *непосредственное* вліяніе экономическихъ условій на духовную культуру лишь отчасти, указывая, что въ большинствѣ случаевъ хозяйственный строй вліяетъ на психическій складъ общества черезъ посредство другихъ явленій общегитія (соціальныхъ, политическихъ), выводимыхъ въ свою очередь изъ экономическихъ основъ. Притомъ вліяніе хозяйства не надо понимать какъ одно только воздѣйствіе классовыхъ интересовъ, но и какъ вліяніе экономической организаціи въ ея цѣломъ. Такимъ образомъ экономическое объясненіе исторіи въ его современной формѣ остается неопровергнутымъ.

Статья г. Франка является попыткой установить своеобразное пониманіе философіи Ницше, попыткой односторонней, мало считающейся съ *ensemble*мъ всѣхъ воззрѣній Ницше, и потому ее нельзя, на нашъ взглядъ, назвать удачной. Но цѣтъ нужды останавливаться на этой статьѣ дольше, потому что разсмотрѣніе всей философіи Ницше потребовало бы слишкомъ много времени и мѣста и не дало бы ничего важнаго ни для критики, ни для объясненія идеализма. Въ сущности статья г. Франка ничего не прибавляетъ къ сборнику.

Намъ кажется также, что считать предтечей идеализма скептическаго Ренана, о которомъ трактуетъ въ своемъ очеркѣ г. Ольденбургъ, едва ли возможно, хотя, конечно, авторъ правъ въ своей характеристикѣ Ренана; въ этой характеристикѣ только одинъ недостатокъ,—неполнота.

Гг. Кистяковскій и Лаппо-Данилевскій посвятили свои статьи изложенію и критикѣ идейныхъ теченій, во многомъ несовпадающихъ съ идеализмомъ, и, надо признать, хорошо исполнили свою задачу, хотя изложеніе г. Лаппо-Данилевскаго и страдаетъ чрезмѣрной академичностью и тяжеловѣсностью. Поскольку г. Ки-

¹⁾ Стр. 71.

стяковскій внесъ свою лепту въ построение самой идеалистической теории, — мы уже останавливались на его воззрѣніяхъ. По поводу статьи г. Лаппо-Данилевскаго нельзя также не сдѣлать того же замѣчанія, которое было сейчасъ сдѣлано о статьѣ кн. Трубецкаго: г. Лаппо-Данилевскій критикуетъ позитивизмъ исключительно въ его *первоначальной* формѣ. Конечно, оба автора были вольны въ выборѣ темы, но все-таки основнымъ недостаткомъ критической части «Проблемъ идеализма» является отсутствіе критики новѣйшаго марксизма и критическаго позитивизма. Составители книги довольно легко и побѣдоносно расправляются съ умершими теоріями и оставляютъ безъ вниманія живыя идейныя теченія, идущія въ разрѣзъ съ идеалистической философіей. Это плохой способъ укрѣплять свои собственные воззрѣнія. Вина въ такомъ пробѣлѣ ложится, конечно, прежде всего на редактора изданія.

Статьи переходнаго — третьяго типа не надолго останутся на себѣ наше вниманіе: наиболѣе боевая изъ нихъ — статья г. П. Г. — въ существенныхъ чертахъ разобрана выше, когда рѣчь шла объ общей конструкціи идеализма; статья г. Аскольдова — программа будущей работы идеалистической философіи, какъ ее понимаетъ авторъ, и по поводу ея можно только сказать: «поживемъ — увидимъ». Кн. С. Н. Трубецкой защищаетъ философію отъ нападокъ на нее, указывая съ особенной силой на значеніе исторіи философіи; большая часть того, что сказано въ статьѣ кн. Трубецкаго, не вызываетъ возраженій за исключеніемъ нѣкоторыхъ его философскихъ предпосылокъ и отдѣльныхъ замѣчаній, напр. о всемірно-историческомъ процессѣ (стр. 224) и т. д.; можно только замѣтить, что отвѣтъ на вопросъ, чему учить исторію философіи, данъ не полно: она учитъ также и тому, чему учить вообще исторія, — великому принципу относительности, охватывающему одинаково и область теоріи и область практики.

Остаются статьи второй группы — самыя боевыя, написанныя гг. Булгаковымъ, Бердяевымъ, Новгородцевымъ и Жуковскимъ. Основной фондъ этихъ статей составляетъ изложеніе и обоснованіе общихъ началъ идеализма, и съ этой точки зрѣнія онѣ нами уже разсмотрѣны. Но есть частности, на которыхъ стоитъ остановиться. Наибольшее количество такихъ частныхъ встрѣчается въ первой статьѣ сборника, принадлежащей г. Булгакову. Странно прежде всего, что къ числу «потребностей всеобщихъ для всѣхъ людей» г. Булгаковъ относитъ потребность въ метафизическомъ мышленіи¹⁾; это значитъ игнорировать очевидные

¹⁾ Стр. 1.

факты существованія людей, совершенно чуждых подобной потребности, подводит всѣхъ подъ одну насильственно навязанную мѣрку. Чрезвычайно странное впечатлѣніе производитъ далѣе то смѣшеніе въ одну кучу различныхъ идейныхъ теченій, которое производитъ г. Булгаковъ: онъ ставитъ на одну доску «позитивизмъ, матеріализмъ и неокантианство» и утверждаетъ, что они «отрицаютъ права метафизики на существованіе»¹⁾, тогда какъ о матеріализмѣ этого собственно нельзя сказать, потому что матеріализмъ—тоже метафизическая система; или г. Булгаковъ смѣло заявляетъ, что агностики, позитивисты и матеріалисты «всю загадку бытія видятъ въ механической причинности и возводятъ ее такимъ образомъ на степень абсолютнаго мірового начала»²⁾; онъ упускаетъ при этомъ изъ виду, что это обвиненіе умѣстно по отношенію только къ однимъ матеріалистамъ, агностики же и позитивисты и не берутся рѣшать вопросъ о бытіи какъ сущности, и потому все сказанное къ нимъ относится не можетъ. Авторъ доходитъ даже до того, что воззрѣнія Гольбаха смѣшиваетъ съ современнымъ научнымъ міросозерцаніемъ³⁾. Но самое странное недоразумѣніе, самая великая ошибка, въ которую впадаетъ г. Булгаковъ, заключается въ утвержденіи, будто теорія мірового прогресса есть необходимая часть современнаго научнаго міропониманія⁴⁾. Телеологія какъ фактъ, какъ выраженіе чувства самосохраненія отдѣльнаго человѣка и общества,—самосохраненія, понимаемаго широко, въ смыслѣ сохраненія и своихъ психическихъ особенностей, признается положительной наукой,—но не міровая телеологія и не міровой прогрессъ. Теорія мірового прогресса—чисто-метафизическая теорія. Поэтому все, что говоритъ г. Булгаковъ противъ теоріи прогресса, — сказано не по адресу: все это относится къ метафизической теоріи прогресса, лишь по ошибкѣ считаемой иногда за положительную. Заканчивая рѣчь о статьѣ г. Булгакова, которая намъ кажется одной изъ наиболѣе слабыхъ въ сборникѣ съ философской точки зрѣнія, мы не можемъ не отмѣтить двухъ замѣчаній автора, поражающихъ своей странной наивностью. Одно замѣчаніе исторически наивно: г. Булгаковъ, вопреки всѣмъ новѣйшимъ изслѣдователямъ исторіи Рима, находитъ, что «буржуазность нѣкогда погубила римскую цивилизацію»⁵⁾; другое мѣсто касается ученія

1) Стр. 3.

2) Стр. 7.

3) Стр. 7.

4) Стр. 9.

5) Стр. 25.

Л. Н. Толстого: «во всякомъ случаѣ оно», говоритъ г. Булгаковъ,—«гораздо нравственнѣе и выше тѣхъ ученій вѣка, которыя культуру видятъ во ффракахъ и цилиндрахъ»¹⁾. Подумаешь: какъ глубоко, ново и оригинально!

Но г. Булгаковъ внесъ все-таки свою лепту въ дѣло построения и доказательства идеалистической философіи. Несравненно менѣе его сдѣлалъ въ этомъ отношеніи г. Бердяевъ. Читая статью г. Бердяева, поражаешься удивительной банальностью, элементарностью ея содержанія и игрой въ цитаты изъ высокихъ для автора философскихъ авторитетовъ, точно авторъ — неофитъ, спѣшащій во что бы то ни стало и какъ можно скорѣе показать, что онъ усвоилъ хорошо философскія основы идеализма; много занятъ г. Бердяевъ также собой и своими отношеніями къ другимъ идеалистамъ; онъ считаетъ очень важнымъ вопросъ о томъ, какъ назвать себя, индивидуалистомъ или универсалистомъ²⁾? Вопросъ имъ впрочемъ и рѣшается къ успокоенію любознательнаго читателя: точка зрѣнія г. Бердяева оказывается «соединеніемъ спиритуалистическаго индивидуализма съ этическимъ пантеизмомъ»³⁾. Можно успокоиться: по выраженію Толстого, «найденъ тотъ отдѣлъ узаконеній, которому подлежитъ возникшее обстоятельство».

Г. Новгородцеву надо отдать справедливость: онъ сдѣлалъ болѣе всѣхъ для развитія идеалистической теоріи въ «Проблемахъ идеализма». Когда выше излагалась и критиковалась эта теорія, приходилось имѣть дѣло по преимуществу съ воззрѣніями г. Новгородцева. Мы не будемъ поэтому сейчасъ возвращаться къ его предисловію и статьѣ о возрожденіи естественнаго права, тѣмъ болѣе, что здѣсь нѣтъ ни того страннаго смѣшенія понятій, ни тѣхъ наивностей, которыя мы только что наблюдали.

Остается сказать нѣсколько словъ о статьѣ г. Жуковского. Эта статья тоже даетъ значительный матеріалъ для общей характеристики идеализма, выше представленной. Но оригинальной чертой ея является крайнее преувеличеніе авторомъ идеи, что моральное содержаніе — дѣло личнаго творчества⁴⁾. Правда, иногда онъ дѣлаетъ оговорки, показывающія, что и онъ не можетъ игнорировать вліяніе соціальной среды на это личное моральное творчество⁵⁾, но крайній субъективизмъ морали все-таки

¹⁾ Тамъ же.

²⁾ Стр. 113—114.

³⁾ Примѣчаніе первое на стр. 113.

⁴⁾ Стр. 508, 519.

⁵⁾ Стр. 519.

выступает въ его изложеніи на первый планъ. Это—естественный результатъ абстрактнаго метода изслѣдованія моральныхъ вопросовъ, составляющаго такую отличительную черту «Проблемъ идеализма».

Критическій позитивизмъ не можетъ признать такой абстрактный методъ правильнымъ. Пониманіе живой дѣйствительности, конкретные признаки развитія здоровыхъ началъ общежитія — вотъ необходимыя, главныя основы положительной морали—личной и общественной. Теоретическое разногласіе между идеализмомъ и позитивизмомъ является такимъ образомъ чрезвычайно большимъ: въ области теоріи познанія это два почти диаметрально-противоположныхъ направленія. Между старой метафизикой и новымъ идеализмомъ наблюдается только одно существенное различіе, сближающее нѣсколько идеализмъ съ научнымъ міровоззрѣніемъ: идеалисты, не въ примѣръ прежнимъ метафизикамъ, прямо объявляютъ, что метафизическую философію нельзя смѣшивать съ наукой, что методы первой не научны. Это значительный шагъ впередъ, устраниющій прежнюю спутанность понятій.

Но при теоретическомъ разногласіи, доходящемъ нерѣдко до крайности, критическіе позитивисты и идеалисты могутъ часто идти рука объ руку въ практической дѣятельности, разумѣется до извѣстной степени. Мы видѣли, что, насколько можно разсмотрѣть и уяснить себѣ *содержаніе* идеалистической морали, она не чуждается жизненныхъ задачъ современности, необходимость разрѣшенія которыхъ подсказывается реальными условіями переживаемаго момента социальной эволюціи. Можно надѣяться поэтому, что по мѣрѣ того, какъ жизнь будетъ выдвигать, а положительная наука — формулировать рядъ очередныхъ конкретныхъ вопросовъ, отвѣтъ на которые въ опредѣленномъ направленіи будетъ вызываться реальными интересами русскаго общества въ данный моментъ его существованія, — идеалисты будутъ все болѣе сближаться съ опирающимися на научное міровоззрѣніе критическими позитивистами въ практической общественной дѣятельности, что по крайней мѣрѣ большинство изъ нихъ навсегда останется въ передовомъ лагерѣ.

Это впрочемъ каждый критическій позитивистъ можетъ сказать не объ однихъ идеалистахъ, но и о многихъ позитивистахъ стараго отгѣнка, а также о тѣхъ, кто, подобно гг. Михайловскому и Карѣеву, держался такъ называемаго «субъективнаго метода». Что и говорить: разногласія между отдѣльными группами русской интеллигенціи очень значительны. Но отрадно видѣть, что это по преимуществу теоретическія разногласія, что по многимъ практическимъ вопросамъ разныя группы сходятся.

Жизнь властно диктуетъ свои требованія, которыя въ главныхъ чертахъ ясно рисуются теперь умственному взору всей мыслящей части русскаго общества. Въ этомъ залогъ грядущаго развитія нашего отечества, и «Проблемы идеализма» являются однимъ изъ знаменательныхъ симптомовъ извѣстнаго пракческаго направленія общественной мысли.

Сельское хозяйство Московской Руси в XVI вѣкѣ и его вліяніе на соціально-политическій строй того времени ¹⁾.

I.

Какихъ бы историко-философскихъ или соціологическихъ воззрѣній ни придерживался тотъ или другой историкъ или вообще интересующійся исторіей человѣкъ, онъ не можетъ не признать чрезвычайной важности изученія исторіи народнаго хозяйства. Всего болѣе значенія эта послѣдняя имѣеть, несомнѣнно, въ глазахъ тѣхъ, которые, будучи сторонниками материалистическаго пониманія исторіи, выдвигаютъ на первый планъ экономическій элементъ, какъ основу всего общежитія. Однако, и съ точки зрѣнія лицъ, ищущихъ ключа для объясненія всей сложной и запутанной сѣти общественныхъ явленій въ сферѣ умственной, идейной жизни человѣчества, не подлежитъ сомнѣнію важность исторіи экономическаго быта. Наконецъ, та теорія, которая, повидимому, стремится смѣнить собою старый экономическій материализмъ, оставаясь на почвѣ матеріальнаго объясненія историческаго процесса—такъ называемый теперь соціальный материализмъ, самымъ виднымъ представителемъ котораго является Штаммлеръ, — неизбѣжно должна признать изученіе народнаго хозяйства прошлыхъ временъ научной задачей, стоящей на первой очереди: эта теорія признаетъ историческій процессъ цѣльнымъ и недѣлимымъ, отрицаетъ возможность самаго ученія о дѣйствиіи однихъ обще-

¹⁾ Предлагаемая статья представляетъ собою опытъ популярнаго изложенія тѣхъ выводовъ, къ которымъ авторъ пришелъ въ своей специальной работѣ „Сельское хозяйство Московской Руси в XVI вѣкѣ“.

ственныхъ элементовъ на другіе, потому что эти элементы не имѣютъ отдѣльнаго существованія; съ этой точки зрѣнія незнакомство наше съ исторіей экономическаго быта равносильно отказу отъ научнаго изученія всего историческаго процесса, такъ какъ пониманіе послѣдняго возможно лишь тогда, когда онъ извѣстенъ въ цѣломъ и всѣхъ подробностяхъ.

Итакъ, обострившійся за послѣднее время интересъ къ исторіи народнаго хозяйства нельзя считать слѣдствіемъ увлеченія однимъ какимъ-либо теченіемъ въ области социологической литературы; это—потребность, сознаваемая всѣми направленіями и школами, продиктованная притомъ по преимуществу состояніемъ чисто исторической литературы, крайней неразработанностью вопросовъ экономической исторіи, неразработанностью, особенно бросающейся въ глаза при сравненіи съ тѣмъ, что сдѣлано по исторіи права, государства и социальнаго строя. Все это замѣтно уже въ ученой литературѣ по исторіи западно-европейскихъ странъ; еще въ большей степени то же можно сказать объ исторіи Россіи.

XVI столѣтіе представляетъ собою одинъ изъ любопытнѣйшихъ моментовъ въ ряду вѣковъ, пережитыхъ нашимъ отечествомъ. Оно давно уже привлекало къ себѣ вниманіе цѣлаго ряда изслѣдователей, благодаря трудамъ которыхъ социальная и политическая исторія того времени выяснена въ довольно значительной степени. Мы знаемъ теперь, что это было время, когда окончательно кристаллизовались элементы крѣпостныхъ, основанныхъ на началѣ обязанности сословій государства — служилого, посадскаго и крестьянскаго, когда сложилась помѣстная система, вотчина сдѣлалась собственностью, обусловленной отбываніемъ службы на государя, когда развилось мѣстничество, прикрѣплено было къ мѣсту жительства и занятіямъ городское сословіе, сложились основы крѣпостнаго права на крестьянъ, а въ политической сферѣ обострилась борьба московскаго боярства съ государемъ, развилось московское самодержавіе, установились всѣ характеристическія черты московской приказной административной системы, смѣнившей собою старое начало кормленія и выдвинувшей впервые принципъ государственнаго блага на смѣну прежнему, вотчинному принципу выгоды князя-хозяина. Этимъ внутреннимъ социальнымъ и политическимъ перемѣнамъ соотвѣтствовали и чрезвычайно громкія событія во внѣшней жизни: шумная и упорная борьба съ Польшей, Швеціей, Ливонскимъ орденомъ, Крымомъ, побѣдоносное шествіе русскихъ по теченію Волги и на востокъ, за Уралъ, ознаменовавшееся подъ конецъ вѣка покореніемъ Сибири.

Спрашивается, не соответствовали ли указанным важным социальным и политическим процессам также и известные перемены в сферах народного хозяйства? Не предстанут ли некоторые, все еще недостаточно-объясненные явления социально-политической жизни XVI вѣка в новомъ свѣтѣ, когда мы ознакомимся съ экономическимъ бытомъ того времени? Поскольку, далѣе, хозяйственные явления отразили на себѣ дѣйствіе социальных и политическихъ? Достаточно поставить себѣ эти вопросы, чтобы понять ихъ важность, а, слѣдовательно, и необходимость изслѣдованія хозяйственной жизни русскаго народа в XVI столѣтіи. Самымъ важнымъ элементомъ этой хозяйственной жизни было тогда хозяйство сельское. Его изученіе занимаетъ поэтому центральное мѣсто въ предстоящей научной работѣ.

Хозяйственная дѣятельность челоуѣка состоитъ въ воздѣйствіи его на вѣншнюю природу съ цѣлью приспособить ее къ своимъ потребностямъ. Естественныя условія территоріи являются потому такимъ неизбѣжнымъ элементомъ, вліяющимъ на экономическую жизнь, игнорировать который изслѣдователь не имѣетъ права. Такимъ образомъ первый вопросъ, заслуживающій нашего вниманія,—это вопросъ о климатическихъ и почвенныхъ условіяхъ территоріи Московскаго государства в XVI вѣкѣ. Морскую границу государства составлялъ тогда одинъ лишь Сѣверный океанъ. Чтобы составить себѣ приблизительное понятіе о сухопутныхъ границахъ, слѣдуетъ провести прямую линію отъ нынѣшней границы съ Норвегіей на югъ, до Чернигова, отъ Чернигова прямую линію къ Астрахани, и затѣмъ по теченію Волги и Камы за Уральскій хребетъ, до Тобола, и на сѣверъ до океана. Въ этихъ грубо, схематически очерченныхъ предѣлахъ заключалось громадное пространство, отдѣльныя части котораго сильно различались по климату и почвѣ. Можно различать вообще шесть естественныхъ областей, на которыя распадалась территорія Московской Руси в концѣ XVI вѣка (Сибирь мы исключаемъ изъ счета): Центръ, Сѣверъ, Новгородско-Псковская область или Западное Полѣсье, Прикамье, Степь и Поднѣпровье. Центръ — нынѣшнія губерніи Московская, Тверская, Ярославская, Владимірская, Костромская и Нижегородская — отличался типическимъ континентальнымъ, холодно-умѣреннымъ климатомъ, съ жаркимъ лѣтомъ и холодной зимой, съ рѣзкими и быстрыми колебаніями температуры и малоплодородной почвой, по преимуществу песчаной и суглинистой, перемежавшейся изрѣдка болѣе плодородной сѣрой землей. Сѣверъ — нынѣшнія Архангельская, Олонецкая и Вологодская губерніи — и Степь — губерніи Калужская, Тульская, Рязанская и мѣстности къ югу отъ нихъ — были пря-

мой противоположностью другъ другу и въ климатическомъ, и въ почвенномъ отношеніи: Сѣверъ—страна суроваго климата и чрезвычайно бѣдной почвы, Степь—область чуть не сплошного чернозема и мягкихъ климатическихъ условій. Ближе всего къ Степи по естественнымъ условіямъ стояло Поднѣпровье—Смоленская и Черниговская губерніи съ западными частями Калужской и Орловской. Затѣмъ, слѣдуетъ помѣстить Прикамье, нынѣшнія Казанскую, Вятскую и Пермскую губерніи. Однако сѣверо-восточная часть Прикамской области отличалась уже довольно суровымъ климатомъ и менѣе производительной почвой и походила этимъ на западное Полѣсье (нынѣшнія Новгородскую и Псковскую губерніи и части Петербургской и Выборгской), всего ближе стоявшее и въ климатическомъ, и въ почвенномъ отношеніяхъ къ Сѣверу. Итакъ, естественныя условія наиболѣе благоприятны для сельскаго хозяйства были въ Степи, затѣмъ въ Поднѣпровьѣ, далѣе въ Прикамьѣ, Центръ, Западномъ Полѣсьѣ и всего хуже на Сѣврѣ. Самымъ важнымъ естественнымъ условіемъ была продолжительность снѣгового покрова, создававшая превосходные зимніе пути сообщенія.

Если бы сельскохозяйственная промышленность въ XVI в. опредѣлялась въ своемъ развитіи одними только условіями климата и почвы, то она должна была бы развиваться въ точномъ соотвѣтствіи съ только что указанной градаціей естественныхъ областей страны: чѣмъ богатѣе климатъ и плодородѣе почва, тѣмъ болѣе процвѣтало бы и сельское хозяйство. Ближайшее изученіе матеріала указываетъ, однако, что такого соотвѣтствія не было.

Изучая сельскохозяйственное производство, необходимо прежде всего уяснить себѣ, какая система земледѣлія господствуетъ въ странѣ, т.-е. каковы тѣ приемы и способы, при помощи которыхъ производятся земледѣльческіе продукты. Обыкновенно различаютъ четыре главныхъ типа системъ земледѣлія или полевого хозяйства: подсѣчную (огневую), переложную, паровую-зерновую и плодосмѣнную. Первая—характерна для начала земледѣльческой культуры, при наличности подавляющаго богатства удобной для обработки земли, при рѣдкости населенія и полномъ отсутствіи капиталовъ. Она состоитъ въ томъ, что земледѣлецъ вырубаетъ лѣсъ, выжигаетъ пни и на образовавшемся пепелищѣ въ теченіе одного, много двухъ лѣтъ сѣетъ хлѣбъ, не заботясь ни объ удобреніи, ни о надлежащей распашкѣ земли. Черезъ годъ—два онъ бросаетъ свое «огнище», или «паль» (такъ иногда называется поле, образовавшееся послѣ выжиганія лѣса) и продѣлываетъ ту же нехитрую операцію надъ другимъ дѣвственнымъ лѣснымъ участкомъ, чтобы спустя такой же промежутокъ времени бросить его для третьяго. По мѣрѣ увеличенія населенія,

уменьшаются размѣры свободныхъ земель, и кочевое подсѣчное хозяйство смѣняется болѣе производительнымъ или, какъ говорить, менѣе экстенсивнымъ, переложнымъ. И при этомъ также не требуется капитала, не употребляется удобрение, но участки обрабатываются старательнѣе, при помощи плуга, и мѣняются не такъ часто, какъ прежде; земледѣлецъ уже не кочуетъ, а поселяется болѣе или менѣе прочно на мѣстѣ. Переложной такая система земледѣлія называется потому, что перелогъ или залежь—распаханная когда-то и затѣмъ надолго заброшенная земля, естественнымъ путемъ отдыха возстановляющая свои производительныя силы,—въ нѣсколько разъ превосходить своими размѣрами землю, дѣйствительно распахиваемую и засѣваемую въ данный моментъ. Дальнѣйшій ростъ населенія и истощеніе земли заставляютъ постепенно увеличивать размѣры пашни на счетъ перелога и удобрять поле, находящееся подъ паромъ, такъ какъ безъ такого удобрения оно уже не въ силахъ естественнымъ путемъ возстановить свою прежнюю производительность: сроки оставленія залежи безъ обработки постепенно сокращаются вслѣдствіе увеличенія размѣровъ пашни, и земля не успѣваетъ отдыхать. Теперь переходятъ къ сохѣ, внимательнѣе и усерднѣе обрабатываютъ землю, залежь исчезаетъ и смѣняется паромъ, остающимся внѣ эксплуатаціи въ нормальныхъ условіяхъ не болѣе года и удобряемымъ навозомъ. Такъ наступаетъ господство паровой-зерновой системы земледѣлія. Но затѣмъ и паръ приходится ввести въ дѣйствительную обработку: ростъ населенія дѣлаетъ невыгодной паровую систему, мѣсто которой занимаетъ плодосмѣнная, при которой посѣвы корнеплодовъ (картофеля, свеклы и пр.) чередуются съ посѣвами колосовыхъ растений, при чемъ засѣвается вся пахотная земля, а для поддержанія ея производительныхъ силъ примѣняются посѣвы утучняющихъ почву травъ, въ родѣ клевера и вики, и, кромѣ навознаго, употребляется еще искусственное удобрение (напр., фосфориты).

Древняя Русь, какъ и большая часть современной Россіи, не знала плодосмѣнной системы земледѣлія, что вполнѣ понятно при рѣдкости ея населенія. Но большая часть территоріи Московскаго государства въ XVI вѣкѣ пережила уже и нервобытную огневую или подсѣчную систему, которая сохранялась лишь на Сѣверѣ и то въ такихъ мѣстахъ, которыя еще только что заселялись въ это время, вдали отъ большихъ водныхъ путей, въ глухихъ лѣсныхъ дебряхъ. Въ Центральной области и въ Западномъ Полѣсьѣ уже въ первой половинѣ XVI вѣка господствовала паровая-зерновая система земледѣлія. Это видно изъ такъ называемыхъ писцовыхъ книгъ,—документовъ, которые можно считать

историческими предшественниками современных статистических сборниковъ. Такъ, писцовыя книги Тверскаго уѣзда составлены въ 1540 и 1548 г., свидѣтельствуютъ о вполнѣ развитой и установившейся паровой-зерновой системѣ. То же видно изъ множества дошедшихъ до насъ описаній центральныхъ монастырскихъ имѣній: на примѣръ, въ 1562 г. были составлены писцовыя книги по Переяславль-Залѣскому уѣзду, и до насъ дошли тѣ ихъ части, которыя относятся къ имѣніямъ монастырей Спасскаго-Ярославскаго, Троицкаго-Сергіева, Чудова, Махрицкаго; тогда какъ пашня у этихъ монастырей простирается отъ двухъ до тридцати тысячъ десятинъ, въ перелогѣ считается всего 400—700 десятинъ, а у Спасскаго-Ярославскаго монастыря всего—3 десятины. Въ Новгородской области въ концѣ XV и въ первой половинѣ XVI вѣка размѣры пашни были въ нѣсколько десятковъ разъ больше площади, лежавшей въ перелогѣ: такъ, въ Шелонской пятинѣ¹⁾ въ 1539 г. пашни считалось болѣе 42 тысячъ десятинъ, а залежи всего 550 дес.; или въ Вотской пятинѣ въ то же время при 50 тысячахъ десятинъ пашни было лишь 958 десятинъ перелогу. Значительная часть центральныхъ уѣздовъ—именно тѣ, которые лежали на сѣверной и южной, отчасти также на восточной окраинахъ Центра (Ярославскій, Пошехонскій, Ростовскій Юрьево-Польскій, Костромскій, Нижегородскій, Коломенскій, Боровскій, Клинскій, Старицкій, Звенигородскій), и нѣкоторыя мѣстности Западнаго Полѣсья сохранили паровую-зерновую систему земледѣлія и въ концѣ XVI вѣка, такъ что очевидно, что полевое хозяйство шло и развивалось въ этихъ мѣстахъ совершенно естественно, безъ скачковъ и перерывовъ. Но чрезвычайно замѣчательно, что въ послѣднемъ тридцатилѣтіи XVI вѣка въ уѣздахъ, занимавшихъ середину и сѣверо-западъ Центральной области, равно какъ и въ большей части Западнаго Полѣсья, получила преобладаніе переложная система полевого хозяйства. Объ этой смѣнѣ сравнительно интенсивной паровой-зерновой системы экстенсивною переложной свидѣлствуетъ цѣлый рядъ писцовыхъ книгъ, оставшихся отъ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ XVI вѣка. Для примѣра укажемъ на писцовую книгу Московскаго уѣзда, составленную въ 1584—1586 годахъ, и на писцовую книгу Вотской пятинѣ 1581—1582 г.; по первой, перелогъ занималъ въпятеро большую площадь, чѣмъ пашня—его считалось около

¹⁾ Область древняго Новгорода дѣлилась на пять частей, называвшихся пятнами; названія ихъ: Вотская, Обонежская, Деревская, Бѣжецкая и Шелонская.

120 тысячъ десятинъ при 24 тыс. десятинъ пашни, по второй, перелогу было около 60 тысячъ десятинъ, пашни же только 4.900 дес. Такимъ образомъ, въ двухъ основныхъ старыхъ областяхъ государства, тѣхъ самыхъ, которыя раньше были самыми населенными и цвѣтущими, въ послѣднее тридцатилѣтiе XVI вѣка замѣчается регрессъ въ полевомъ хозяйствѣ, крайній, рѣзко выраженный упадокъ земледѣлiя. Это—основной фактъ, требующій надлежащаго объясненiя.

Въ остальныхъ естественныхъ областяхъ Московскаго государства — на Сѣверѣ, въ Прикамьѣ, Степи и Поднѣпровьѣ — преобладала въ XVI вѣкѣ переложная система земледѣлiя, лишь мѣстами смѣнявшаяся паровой-зерновой, причемъ по мѣрѣ приближенiя къ концу вѣка земледѣлiе въ этихъ областяхъ постепенно улучшалось. На Сѣверѣ всего лучше полевое хозяйство развивалось въ уѣздахъ Бѣлозерскомъ, Каргопольскомъ и по теченiю Сѣверной Двины, въ Степи, главнымъ образомъ, въ той ея полосѣ, которая непосредственно прилегала къ Центру, въ Прикамьѣ—въ ранѣе населенныхъ земляхъ по верхнему теченiю Камы, уѣздахъ Чердынскомъ и Соликамскомъ. Въ этихъ мѣстахъ преобладала уже тогда паровая-зерновая система земледѣлiя съ употребленiемъ удобренiя, сохи въ качествѣ земледѣлчскаго орудiя и лошади въ качествѣ рабочаго скота. Въ другихъ уѣздахъ господствовало употребленiе деревяннаго плуга, служащее также, кромѣ данныхъ, сообщаемыхъ писцовыми книгами, доказательствомъ существованiя переложной системы: при такой системѣ не употребляютъ сохи, потому что она вредитъ росту на залежи злаковъ, дающихъ хорошее сѣно.

Немаловажное значенiе для сельскаго хозяйства имѣетъ вопросъ о родѣ хлѣбовъ, высѣваемыхъ въ разныхъ мѣстностяхъ страны: различiя въ этомъ отношенiи между отдѣльными областями опредѣляютъ возможность сбыта продуктовъ однѣхъ изъ нихъ въ другiя. Въ древней Руси сѣялись въ большинствѣ случаевъ малоцѣнные хлѣба—рожь и овесъ, довольно часто также ячмень, бывший по климатическимъ условiямъ единственнымъ посѣвнымъ лакомъ на крайнемъ сѣверѣ. Дорогiя хлѣба—пшеница, гречиха—сѣялись почти повсемѣстно, но въ незначительныхъ количествахъ: имѣются, напримѣръ, свидѣнiя, что посѣвная площадь пшеницы была вдесятеро меньше, чѣмъ таковая же овса, а посѣвы гречи занимали пространство, впятеро меньше занимаемаго пшеницей. Наибольшiя различiя между областями относились къ воздѣлыванiю культурныхъ растений—льна и конопли: тѣмъ и другой славилась Западное Полѣсье, сѣверная окраина Центра и югъ Поднѣпровья, по согласному свидѣтельству писцовыхъ книгъ, актовъ и иностранныхъ писателей.

Таковы были въ общихъ чертахъ техническія условія земледѣльческаго производства. Въ нихъ все естественно и нормально, за исключеніемъ лишь упадка полевого хозяйства въ большей части Центра и Западнаго Полѣсья.

Но кромѣ земледѣлія существуетъ еще другая отрасль сельскохозяйственной промышленности—скотоводство. Въ какомъ отношеніи находилось оно къ земледѣлію, имѣло ли оно самостоятельное значеніе, или служило лишь необходимымъ подспорьемъ при господствующей отрасли—земледѣлія, не давая само по себѣ дохода, а доставляя лишь необходимый для земледѣльческаго производства рабочей скотъ? И извѣстія иностранцевъ, посѣщавшихъ Московію въ XVI в. и оставившихъ ея описанія, и данныя писцовыхъ книгъ объ отношеніи эксплуатируемой луговой земли къ пашнѣ, и отрывочныя указанія актовъ на количество скота въ отдѣльныхъ имѣніяхъ, и, наконецъ, случайные намеки житій древнерусскихъ святыхъ на важность скотоводства, на существованіе гуртовой торговли скотомъ или прасольства убѣждаютъ насъ, что поставленный вопросъ рѣшается не одинаково для разныхъ мѣстностей страны. Изучая писцовыя книги по такимъ уѣздамъ, какъ Ярославскій, Костромской, Попехонскій, Казанскій, Свѣяжскій, Новгородскій, Псковской, нетрудно убѣдиться, что сѣнные покосы усиленно эксплуатировались въ этихъ мѣстностяхъ, что площадь сѣнокосной земли была чрезвычайно обширна. Англичане Рандольфъ и Флетчеръ, датскій посланникъ Ульфельдъ и другіе иностранцы свидѣтельствуютъ, что кожи и сало—эти важные продукты скотоводства—составляли одинъ изъ главныхъ продуктовъ этихъ мѣстностей и Смоленскаго уѣзда. Другія указанія источниковъ говорятъ о томъ же. Такимъ образомъ нѣтъ сомнѣнія, что скотоводство имѣло самостоятельное значеніе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Сѣвернаго края, въ сѣверныхъ уѣздахъ Центра, въ Западномъ Полѣсьѣ, юго-западной части Прикамья и отчасти въ Поднѣпровьѣ. Въ остальныхъ мѣстахъ скотоводство играло подчиненную, служебную роль, не увеличивало сельскохозяйственнаго дохода и давало лишь средства для прокорма рабочаго скота и то часто не въ достаточномъ размѣрѣ. Замѣчательно, что такое положеніе скотоводства не измѣнилось даже и въ послѣднемъ тридцатилѣтіи XVI вѣка въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ въ то время замѣтенъ упадокъ земледѣлія: очевидно, послѣдній не былъ вызванъ и обусловленъ потребностями скотоводства, и ключа къ совершившейся смѣнѣ паровой-зерновой системы переложною слѣдуетъ искать, значить, не въ условіяхъ сельскохозяйственнаго производства, а въ другой сферѣ. Что касается до самой системы скотоводства, то она отличалась перво-

бытнымъ характеромъ, была крайне экстенсивна: скоть, по словамъ иностранцевъ, былъ худощавъ, малоросль и питался плохо, главными продуктами скотоводства были тѣ именно, которые характерны для первобытнаго хозяйства: сало, кожи, коровье масло, щетина.

Отъ техники сельскохозяйственного производства переходимъ къ изученію его формъ и размѣровъ. Землевладѣлецъ,—будь то самъ государь, какой-нибудь служилый человѣкъ, архіерей или монастырь,—можетъ вести хозяйство на своей землѣ двоякимъ образомъ: или отдавая всю пахотную землю въ аренду крестьянамъ, или оставляя ее—вполнѣ или отчасти—подъ свою, барскую пашню. Въ теченіе всего XVI вѣка въ служилыхъ вотчинахъ и помѣстьяхъ барская запашка была обычнымъ явленіемъ хотя никогда не обнимала всего имѣнія и рѣдко занимала даже значительную его часть. Наряду съ этимъ служилые землевладѣльцы чрезвычайно часто садили на землю своихъ несвободныхъ людей на тѣхъ же условіяхъ, на какихъ садились крестьяне. Это видно какъ изъ писцовыхъ книгъ, такъ и изъ многихъ актовъ,—грамотъ, купчихъ, данныхъ, закладныхъ, духовныхъ, которыя проговариваются, указывая въ составѣ имѣній «пашню боярскую» и «людскую», т.-е. холопскую. Въ другихъ видахъ земельного владѣнія—въ земляхъ архіерейскихъ, монастырскихъ, дворцовыхъ и черныхъ—въ первой половинѣ XVI вѣка незамѣтно ничего подобнаго: если и встрѣчается иногда государева дворцовая пашня, то лишь въ видѣ исключенія, о монастырской же, архіерейской или государевой пашнѣ въ черныхъ земляхъ¹⁾ мы совсѣмъ не имѣемъ свѣдѣній. Зато во второй половинѣ XVI вѣка барская запашка и земледѣльческій трудъ холоповъ распространились на всѣ виды земельного владѣнія, кромѣ земель черныхъ. Наибольшаго развитія они достигли въ Прикамьѣ и Степи въ послѣднія десятилѣтія XVI вѣка. Такъ, напр., въ монастырскихъ имѣніяхъ этого времени въ Центральной области на монастырскую запашку приходилось часто по 12-ти, 15-ти, 20-ти и болѣе процентовъ всей пашни. Въ степныхъ уѣздахъ крестьянскіе дворы составляли нерѣдко лишь 60%—70% общаго числа рабочихъ земледѣльческихъ дворовъ. Но если доля пашни, разрабатываемой крестьянскимъ трудомъ, съ теченіемъ времени относительно уменьшилась, то этому соответствовало еще одно чрезвычайно важное явленіе: крестьянское хозяйство въ Центръ

¹⁾ Черными назывались земли, составлявшія собственность государства и находившіяся въ вѣчной арендѣ у крестьян; земли, составлявшія частную собственность государя, назывались дворцовыми.

и Западномъ Полѣсьѣ дѣлалось все болѣе мелкимъ. Въ то время какъ до 70-хъ годовъ XVI вѣка средняя запашка на крестьянскій дворъ и земледѣльческаго рабочаго очень часто равнялась 15 десятинамъ во всѣхъ трехъ поляхъ (яровомъ, озимомъ и паровомъ) и рѣдко спускалась ниже 10-ти десятинъ, послѣ этого времени обычный ея размѣръ былъ 3—5 десятинъ. Что касается до другихъ областей государства, то во всѣхъ ихъ величина обычной запашки на крестьянскій дворъ близко подходила къ нормѣ, существовавшей въ концѣ столѣтія въ Центръ и Западномъ Полѣсьѣ, т.-е. равнялась 3—5 десятинамъ; исключеніе представляла одна Степь, гдѣ крестьянская запашка была не менѣе 7—9 десятинъ. Приведенныя наблюденія, касающіяся формъ и размѣровъ земледѣльческаго производства, особенно любопытны въ томъ отношеніи, что отмѣченныя явленія—распространеніе барской и холопской папши и измельчаніе крестьянской запашки—хронологически, отчасти и географически, совпадаютъ съ извѣстнымъ уже намъ переходомъ отъ болѣе интенсивной паровой-зерновой системы земледѣлія къ экстенсивной переложной. Это заставляеть предполагать для такихъ одновременныхъ перемѣнъ и общую причину, о которой рѣчь пойдетъ ниже.

Землевладѣльческая, барская папши разрабатывалась или трудомъ холоповъ, которымъ въ монастырскихъ имѣніяхъ соответствовали такъ называемые «дѣтеныши»—тѣ же несвободные земледѣльческіе рабочіе—или барщинной работой крестьянъ, снимавшихъ владѣльческую землю. Характерно, что соответственно росту барской запашки къ концу вѣка увеличивалось и число случаевъ крестьянской барщины; однако, послѣдняя вообще была мало распространена въ XVI вѣкѣ, и обыкновенно крестьяне арендовали землю, обязуясь платить землевладѣльцу оброкъ деньгами или натурой (хлѣбомъ). На ряду съ этимъ общимъ господствомъ оброчной системы заслуживаютъ вниманія оригинальныя формы крестьянскаго хозяйства на сѣверѣ—половничество, складничество и наемный трудъ съ вознагражденіемъ натурой. Половникъ нѣчто среднее между наемнымъ рабочимъ и арендаторомъ: онъ работаетъ на чужой землѣ и отдаетъ землевладѣльцу часть урожая, обыкновенно половину, но владѣеть скотомъ, орудіями производства и хозяйственными постройками, платитъ иногда и денежный оброкъ и т. д. Союзы «складниковъ», «сябровъ» или «сосѣдей» представляли изъ себя нѣкоторое подобіе товариществъ: членами этихъ союзовъ были обыкновенно родственники, но такъ какъ каждый членъ могъ продавать, завѣщать, закладывать, дарить свое право на участіе

въ союзѣ, то къ родственнымъ элементамъ довольно рано стали примѣшаваться этими путями чужеродцы; складники часто дѣлились, товарищество разрушалось, но въ XVI вѣкѣ на Сѣверѣ весьма нерѣдко можно наблюдать и нераздѣльное сельскохозяйственное производство складническихъ товариществъ. Наконецъ, кое-гдѣ встрѣчались такъ называемые подворники и захребетники—наемные земледѣльческіе рабочіе, получавшіе вознагражденіе за свой трудъ не деньгами, а натурой, т.-е. хлѣбомъ. Всѣ эти своеобразныя формы сельскохозяйственнаго производства составляли характерную особенность Сѣвера, но остатки ихъ сохранялись еще и въ другихъ областяхъ: всего болѣе ихъ было въ Западномъ Полѣсьѣ и въ той части Прикамья, которая лежала по теченію рѣки Вятки; какъ рѣдкое исключеніе, случайно уцѣлѣвшій обломокъ исчезнувшаго явленія, половничество попадается въ XVI в. и въ Центральной области.

Производство хозяйственныхъ благъ—основной элементъ народнаго хозяйства. Мы только что намѣтили главные перемѣны въ сельскохозяйственномъ производствѣ XVI вѣка и убѣдились, что въ сферѣ производственныхъ отношеній нельзя искать объясненія этихъ перемѣнъ. Необходимо обратиться съ этою цѣлью къ изученію обмѣна и распредѣленія, тѣмъ болѣе, что изслѣдованіе этихъ сторонъ хозяйства имѣетъ и самостоятельное значеніе, независимо отъ объясненія особенностей въ процессѣ производства.

Первобытное сельское хозяйство не соединяется съ торговлей сельскохозяйственными продуктами, удовлетворяетъ лишь потребностямъ самихъ производителей; другими словами, оно—чисто натуральное, безобмѣнное хозяйство. Этотъ первый періодъ въ исторіи сельскаго хозяйства уже миновалъ въ XVI вѣкѣ: происходило уже зарожденіе мѣноваго хозяйства, наиболѣе замѣтное въ сѣверной части Степи и въ окраинныхъ уѣздахъ Центра. Цѣлый рядъ фактовъ убѣждаетъ насъ въ этомъ. Прежде всего замѣчательно, что въ теченіе столѣтія рубль понизился въ своей стоимости болѣе чѣмъ въ $3\frac{1}{2}$ раза; сравненіе тогдашнихъ цѣнъ на хлѣбъ съ современными приводитъ къ заключенію, что въ самомъ началѣ XVI в. рубль равнялся 94 нашимъ рублямъ, въ 30-хъ и 40-хъ годахъ—75-ти нашимъ, а во второй половинѣ вѣка его стоимость не превышала 25-ти современныхъ рублей; удешевленіе денегъ всегда служитъ несомнѣннымъ признакомъ усиленія мѣноваго обращенія въ странѣ. На ростъ сельскохозяйственнаго обмѣна указываетъ и повышеніе цѣнъ на хлѣбъ: цѣна четверти ржи XVI в. (равной половинѣ нашей четверти) въ Центръ съ 5-ти денегъ въ 20-хъ годахъ подня-

лась въ слѣдующемъ десятилѣтїи до 20-ти денегъ, въ 50-хъ и 60-хъ годахъ до 30, а въ восьмидесятыхъ годахъ даже до 40 денегъ. Постепенное распространѣніе денежнаго оброка, смѣнившаго натуральный землевладѣльческій доходъ, и переводъ многихъ натуральныхъ государственныхъ повинностей на деньги служить дальнѣйшимъ серьезнымъ доказательствомъ оживленія въ торговлѣ продуктами сельскаго хозяйства. Въ томъ же убѣждаютъ, наконецъ, прямыя свидѣтельства актовъ, иностранныхъ писателей и житїи святыхъ: извѣстно, напримѣръ, что Рязань отправляла хлѣбъ по Окѣ, что ленъ, конопля, сало, кожи, составляли важныя статьи отпускной торговли сѣверныхъ уѣздовъ Центра (Ярославскаго, Пошехонскаго) и Новгородско-Псковской области (Западнаго Полѣсья), что къ Москвѣ вели съ разныхъ сторонъ не менѣе семи торговыхъ дорогъ и по одной только изъ нихъ, ярославской, ежедневно доставлялось по 700—800 возовъ хлѣба въ зернѣ. Что касается до техническихъ приѣмовъ торговли, то они характеризуются обыкновенно изолированностью рынковъ, приводящей къ рѣзкимъ колебаніямъ цѣнъ на товары въ разныхъ мѣстностяхъ, ярмарочной системой продажи, тяжелыми проѣзжими и торговыми пошлинами, лежавшими на товарахъ, и крайней дороговизной перевозки, являвшейся слѣдствиемъ неудовлетворительности путей сообщенія. Эта характеристика въ общемъ справедлива, но по отношенію къ сельскохозяйственному обмѣну нѣкоторыя черты ея необходимо смягчить: ярмарочная система не имѣла первостепеннаго значенія въ сельскохозяйственномъ обмѣнѣ, такъ какъ по всей почти странѣ разсѣяно было множество постоянныхъ хлѣбныхъ рынковъ: таковы были рынки почти во всѣхъ центральныхъ городахъ, особенно въ Москвѣ, Ярославлѣ, Твери, южнѣе въ Тулѣ и Рязани, на сѣверѣ въ Вологдѣ и Устюгѣ, на западѣ въ Смоленскѣ, Псковѣ, Новгородѣ, ихъ пригородахъ и многочисленныхъ «рядкахъ» — торговыхъ поселеніяхъ Новгородской области; противъ изолированности рынковъ было другое средство — сильное развитіе посреднической дѣятельности капиталистовъ-скупщиковъ: о такихъ торговыхъ посредникахъ упоминаетъ не одно житіе святыхъ (напр., житія Зосимы и Савватія, Александра Ошевенскаго), писцовыя книги и грамоты неоднократно указываютъ на торговыя поѣздки новгородскихъ купцовъ въ Двинскую землю, во всѣ новгородскія пятины, въ Центръ и т. д. Вообще же надо замѣтить, что въ техническихъ условіяхъ торговли не совершилось сколько-нибудь замѣтной перемѣны въ теченіе вѣка, такъ что эти условія не могли повліять на сельскохозяйственное производство, общее же усиленіе сельскохозяйственнаго обмѣна должно было отразиться благоприятно на земледѣліи, такъ что

вопросъ объ упадкѣ послѣдняго въ Центръ и Западномъ Полѣсѣ остается открытымъ и послѣ изученія мѣнового обращенія сельскохозяйственныхъ продуктовъ. Характерной чертой обмена, связанной съ хорошими зимними путями сообщения, является обширность рынковъ: торговые города обслуживали обыкновенно районы въ 150, 200, 300 верстъ въ окружности, Москва даже въ 500 и болѣе верстъ.

Еще болѣе знаменательно изученіе распределенія сельскохозяйственнаго дохода между землевладѣльцами, земледѣльцами и государствомъ. Нѣкоторые изслѣдователи склонны приписывать тяжести государственнаго обложенія главное вліяніе на всѣ экономическія бѣдствія русскаго народа въ XVI вѣкѣ. Съ этимъ мнѣніемъ нельзя согласиться. Внимательное изученіе податныхъ окладовъ того времени приводитъ къ слѣдующимъ выводамъ: если принять за единицу обложенія соху въ 400 десятинъ доброй земли въ каждомъ полѣ или въ 500 десятинъ средней и 600 худой и перевести податные оклады XVI вѣка на наши современные деньги, то окажется, что въ началѣ вѣка на наши деньги только около 660 рублей съ сохи платилось деньгами, остальное тягло состояло изъ натуральныхъ повинностей, въ двадцатыхъ годахъ 750 р. поступали въ казну деньгами, остальные обязанности по отношенію къ государству отбывались натурой; въ началѣ пятидесятихъ годовъ XVI вѣка почти всѣ натуральныя повинности были переведены на деньги, чѣмъ и объясняется то обстоятельство, что въ 50-хъ—80-хъ годахъ податной окладъ съ сохи доходилъ до 1.050 р., такъ что реального повышенія податей сравнительно съ болѣе раннимъ временемъ не было; оно наступило только въ восьмидесятихъ годахъ, когда съ каждой сохи государство брало въ видѣ налоговъ уже 3.775 р. Итакъ, повышеніе налоговъ относится къ тому времени, которое слѣдовало за земледѣльческимъ упадкомъ въ Центръ и Западномъ Полѣсѣ; а если налоги были повышены *послѣ* упадка полевого хозяйства, то, очевидно, не они были причиной этого послѣдняго явленія; напротивъ: можно думать, что переходъ отъ паровой-зерновой системы къ переложной и уменьшеніе запашки на крестьянскій дворъ, сокративъ доходы правительства, сбиравшаго подати только съ населенной и обрабатываемой земли, были одной изъ главныхъ причинъ перемѣны въ финансовомъ обложеніи, вызвали необходимость повысить податные оклады.

Но если не повышеніемъ государственныхъ налоговъ объясняется упадокъ земледѣльческаго производства,—переходъ отъ паровой-зерновой системы земледѣлія къ переложной и уменьшеніе средней величины крестьянской запашки на дворъ,—то

нельзя ли видѣть причину этого упадка въ ростѣ землевладѣльческаго оброка и въ увеличеніи барщинной работы? Землевладѣльцы XVI вѣка собирали съ крестьянъ, жившихъ на ихъ земляхъ, оброкъ въ трехъ видахъ: или долей урожая, или опредѣленною мѣрою хлѣба, «посопнымъ хлѣбомъ», какъ тогда говорили, или, наконецъ, деньгами. Послѣдній видъ, денежный оброкъ, какъ было уже указано, постепенно вытѣснялъ два первые вида оброка, являвшіеся формами владѣльческаго натурального сбора. Спрашивается теперь: не увеличились ли къ концу столѣтія размѣры, въ какихъ собирался долевой хлѣбный оброкъ, посопный хлѣбъ и денежный оброкъ, и не былъ ли денежный оброкъ выше натурального? Отвѣтъ на эти вопросы можно дать только отрицательный. Въ самомъ дѣлѣ: долевой натуральный оброкъ собирался обыкновенно въ видѣ половины, трети или четверти урожая, рѣже онъ понижался до пятой доли послѣдняго, при чемъ высшая норма долевого натурального оброка—половина урожая—выходила изъ употребленія по мѣрѣ удаленія отъ начала столѣтія; было бы, однако, ошибкой утверждать, что тяжесть такого оброка уменьшалась постепенно въ теченіе вѣка: дѣло въ томъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда давали половину урожая, обыкновенно не подагалось никакой денежной приплаты, между тѣмъ какъ при оброкѣ третьей, четвертой или пятой долей урожая приплачивались, сверхъ того, еще деньги; если такимъ образомъ долевой оброкъ не уменьшался, то онъ и не увеличивался: правда, съ одной и той же земельной площади въ 1500 г. платилась треть урожая и 9 копеекъ деньгами того времени, въ 1539 г. та же доля урожая и 14 коп., а въ 1568 г., при такомъ же третномъ оброкѣ, 28 коп., но вѣдь въ самомъ началѣ вѣка одна копейка стоила на наши деньги 94 коп., въ 1539 г.—75 коп., а въ 1568 г. только 25 коп., такъ что денежные доплаты въ трехъ указанныхъ случаяхъ, будучи выражены въ современныхъ намъ деньгахъ, равняются 846,1,050 и 625 коп.: колебанія невелики и говорятъ скорѣе въ пользу незначительнаго пониженія оброка во второй половинѣ XVI вѣка, чѣмъ за его увеличеніе. То же самое приходится сказать и объ оброкѣ посопнымъ хлѣбомъ, на основаніи цѣлаго рода данныхъ, заключающихся въ писцовыхъ книгахъ. Наконецъ, если возьмемъ денежный оброкъ, то и здѣсь замѣтимъ лишь номинальное, а не реальное повышеніе: такъ, напримѣръ, въ Вотской пятинѣ въ самомъ началѣ XVI в. за пользованіе участкомъ земли въ 15 десятинъ во всѣхъ трехъ поляхъ платили 25 копеекъ, что при стоимости копейки того времени, равной 94 нашимъ, составляетъ на наши деньги 2.350 копеекъ; тамъ же и съ такой же земельной площади въ 1582 г. землевладѣльцы брали по 1 р.

(=100 коп.), т.-е. на наши деньги по 2.500 коп. Итакъ, реальная величина всѣхъ трехъ видовъ землевладѣльческаго оброка была почти неизмѣнна въ теченіе всего изучаемаго столѣтія. Къ этому надо прибавить, что денежный оброкъ въ 1 рубль былъ ниже и во всякомъ случаѣ не выше господствовавшаго въ началѣ вѣка натурального оброка долей урожая: бѣднѣйшіе крестьяне Вотской пятины снимали въ это время со своихъ участковъ не болѣе 10 четвертей ржи и 14 четвертей овса; четверть ржи стоила тогда 15 коп., а четверть овса—10 коп.; слѣдовательно, стоимость всего урожая равнялась 290 коп.; оброкъ въ рубль составлялъ, значить, 34% валового дохода, тогда какъ долевой натуральный сборъ начала вѣка составлялъ 50% урожая. Не надо забывать также, что приведенный расчетъ относится къ самому недостаточному крестьянскому хозяйству. Наконецъ, не мѣнялась и барщина: съ каждаго 5 десятинъ пашни крестьянинъ все время обрабатывалъ на землевладѣльца по одной десятинѣ.

II.

Въ предшествующемъ изложеніи мы имѣли въ виду намѣтить основные процессы, совершавшіеся въ сельскохозяйственномъ производствѣ Московской Руси XVI вѣка, и ихъ отраженіе въ сферѣ обмѣна и распредѣленія продуктовъ хозяйства. Если и шла рѣчь о причинахъ изученныхъ чрезвычайно-любопытныхъ явленій производства, то по преимуществу, если не исключительно, приходилось констатировать невозможность отыскать эти причины въ тѣхъ сферахъ, которыя были подвергнуты изслѣдованію. Необходимо, слѣдовательно, сосредоточить теперь вниманіе на другихъ сторонахъ жизни, выйти изъ предѣловъ сельскохозяйственной промышленности въ болѣе широкую область общихъ экономическихъ условій времени. Первое изъ этихъ условій—распредѣленіе населенія и колонизація. Изученіе колонизаціи въ XVI вѣкѣ сразу освѣщаетъ намъ очень многое въ производствѣ сельскохозяйственныхъ благъ. Непрерывный прогрессъ сельскохозяйственнаго производства въ Прикамьѣ, степи и окраинныхъ уѣздахъ центральной области въ значительной мѣрѣ объясняется ходомъ колонизаціи. Писцовыя книги и грамоты сохранили слѣды сильнаго движенія населенія въ этихъ областяхъ: на приливъ сюда населенія указываетъ наличность большого количества починковъ, т.-е. новыхъ поселеній, только что основанныхъ на пустыхъ мѣстахъ; параллельно такому приливу замѣтенъ, однако, и отливъ населенія, какъ показываетъ значи-

тельное число пустошей, т.-е. поселковъ, брошенныхъ населеніемъ. Такъ, напримѣръ, въ Костромскомъ уѣздѣ относительное количество починковъ немногимъ уступало числу пустошей, судя по актамъ и писцовымъ книгамъ; довольно типичны въ этомъ отношеніи вотчины Троицкаго-Сергіева монастыря въ этомъ уѣздѣ; въ нихъ починки въ сороковыхъ годахъ составляли 5% общаго числа поселеній, а пустоши 12%; соотвѣтствующія цифры для шестидесятыхъ годовъ—17% и 12%, а для 90-хъ 7% и 18%. Еще больше равновѣсія замѣчается въ Свіязскомъ уѣздѣ, гдѣ въ 1565—1568 гг. 21% всѣхъ поселеній составляли починки и 25%—пустоши. Въ степи населеніе прилиvalo сильнѣе всего въ уѣзды сѣверные, ближайшіе къ центру, и колонизаціонное движеніе утрачивало постепенно свою напряженность по мѣрѣ удаленія къ югу, особенно къ юго-востоку. Монастыри, появившіеся въ XVI вѣкѣ въ предѣлахъ тѣхъ уѣздовъ, о которыхъ у насъ идетъ теперь рѣчь, служатъ также важнымъ признакомъ оживленной колонизаціи: въ окраинныхъ уѣздахъ центра можно насчитать за это время до 20-ти монастырей, вновь построенныхъ внѣ городовъ, на пустыхъ мѣстахъ; подобныя же, хотя и менѣе рѣзко выраженные явленія можно наблюдать въ Прикамьѣ и Степи. Вообще населеніе двигалось по всѣмъ этимъ мѣстамъ изъ Центральной области, но, какъ всегда бываетъ, часть переселенцевъ осѣдала на дорогѣ, а другая часть шла дальше, увлекая за собою нѣкоторую долю и мѣстныхъ жителей. Слѣдовательно, земледѣльческій прогрессъ объясняется здѣсь въ значительной степени тѣмъ, что все это были или промежуточные этапы въ движеніи населенія на новыя мѣста, или окончательные пункты, гдѣ переселенцы обосновывались прочнѣе. Но придавая первостепенное значеніе процессу колонизаціи въ исторіи сельскохозяйственной промышленности сѣверныхъ и южныхъ окраинъ Центра, Степи и Прикамья, не слѣдуетъ забывать и нѣкоторыя отмѣченныя уже выше условія, благоприятно отзывавшіяся на земледѣльческомъ производствѣ этихъ краевъ: мягкій климатъ и тучная черноземная почва Степи безъ особенныхъ усилій со стороны земледѣльца приносили хорошіе плоды и тѣмъ позволяли и увеличивать запашку, и переходить къ высшей по возможности системѣ земледѣлія; этому соотвѣтствовали и хорошія почвенныя условія юго-западнаго Прикамья (Свіязскаго и Казанскаго уѣздовъ) и даже сравнительно довольно плодородная мѣстами почва такихъ центральныхъ уѣздовъ, какъ Пошехонскій, Ярославскій, Костромской, Муромскій. Мы видѣли, наконецъ, что и сельскохозяйственный обмѣнъ достигъ наиболѣе замѣтнаго развитія именно въ этихъ мѣстностяхъ: Пошехонскій,

Ярославскій, Костромской уѣзды торговали скотомъ, хлѣбомъ, отчасти льномъ, а степные доставляли по Окѣ и другими путями громадное количество хлѣба. Торговая посредническая дѣятельность и связанная съ нею перевозочная промышленность служили также немалымъ подспорьемъ въ хозяйствѣ.

Еще сложнѣе вліянія, подъ которыми сложились особенности въ техникахъ и формахъ производства на сѣверѣ. Несмотря на въ высшей степени суровый климатъ и дурную, скудную почву, колонизаціонное теченіе въ эту область было довольно сильно и направлялось двумя струями—изъ Западнаго Полѣсья и Центра. На это прямо указываютъ писцовыя книги и житія сѣверныхъ святыхъ, бывшихъ большею частью выходцами изъ этихъ областей. Насколько сильно было вліяніе колонизаціи на сельское хозяйство сѣвера,—это всего больше замѣтно по двумъ фактамъ: во-первыхъ, всего болѣе населенными уѣздами здѣсь являются въ XVI вѣкѣ тѣ, въ которыхъ, какъ мы видѣли, и хозяйство достигло наибольшаго прогресса: таковы уѣзды Бѣлозерскій, Каргопольскій и Двинскій; во-вторыхъ, такъ какъ колонизація совершалась здѣсь внѣ всякаго правительственнаго вліянія и лишь отчасти подъ вліяніемъ монастырей и служилыхъ земле-владѣльцевъ, преимущественно же путемъ свободнаго, добровольнаго расселенія самихъ крестьянъ, то это способствовало сохраненію древнихъ хозяйственныхъ формъ — половничества, вообще натурального оброка и складничества. Бѣлозерскій уѣздъ въ отношеніи къ населенію вообще приближался къ ближайшимъ къ сѣверу центральнымъ уѣздамъ, почему и въ немъ въ концѣ вѣка замѣтенъ нѣкоторый уходъ населенія, не вполне соответствующій приливу, а значительно превосходящій его въ напряженности; однако, количество починковъ было здѣсь все время значительно, доходило до 30—35% общаго числа поселеній, въ нѣкоторыхъ случаяхъ было и выше. Въ Каргопольскомъ уѣздѣ колонизировали земли монастыри Александровъ - Ошевенскій, Спасо-Преображенскій, Кожеозерскій; пустоши составляли очень незначительный процентъ общаго числа поселеній. Значительная населенность Двинскаго уѣзда засвидѣтельствована иностранцами—Герберштейномъ, Гваньини — и многочисленными актами, въ которыхъ совсѣмъ не встрѣчаются пустоши.

Сохраненію первобытныхъ формъ хозяйства на сѣверѣ, кромѣ способа заселенія этой области, содѣйствовали еще естественныя и находящіяся въ связи съ ними мѣновыя условія края. Большинство населенія сѣверныхъ уѣздовъ почерпало средства для существованія не въ сельскохозяйственной, а въ добывающей промышленности, производя хлѣбъ лишь для своего потребленія,

а не для продажи, или даже покупая хлѣбъ въ другихъ краяхъ. Это было необходимо вслѣдствіе скудости почвы и суровости климата. Вотъ почему сѣверное сельское хозяйство было по преимуществу натуральнымъ, безобмѣннымъ, чѣмъ вызывалось сохраненіе типическихъ для такого хозяйства формъ производства.

Наконецъ, было еще одно условіе, оказывавшее могущественное и благотворное вліяніе на земледѣльческое производство большинства сѣверныхъ уѣздовъ: мы имѣемъ въ виду преобладающее значеніе на сѣверѣ чернаго землевладѣнія. Чтобы понять, какъ и почему вліяніе это было благотворно, необходимо разрѣшить общій вопросъ о томъ, какъ отражались различные виды земельного владѣнія на хозяйствѣ крестьянъ. Прежде всего обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что запашка на дворъ въ черныхъ земляхъ была обыкновенно крупнѣе, чѣмъ въ другихъ видахъ земельного владѣнія. Такъ, напримѣръ, въ 1582 г. въ Обонежской пятинѣ (нынѣшней Олонецкой губерніи) въ черныхъ волостяхъ на крестьянскій дворъ приходилось въ среднемъ около трехъ-четырехъ десятинъ пашни во всѣхъ трехъ поляхъ, въ помѣстьяхъ около двухъ-трехъ десятинъ, какъ и въ монастырскихъ и архіерейскихъ владѣніяхъ. Подобныя же явленія можно наблюдать и въ другихъ областяхъ государства. Кромѣ того, и система земледѣлія въ черныхъ земляхъ и служилыхъ вотчинахъ была интенсивнѣе или, по крайней мѣрѣ, менѣе экстенсивна, чѣмъ въ монастырскихъ имѣніяхъ и помѣстьяхъ. Объ этомъ убѣдительно свидѣтельствуетъ цѣлый рядъ писцовыхъ книгъ XVI в. по новгородскимъ пятинамъ, уѣздамъ центральнымъ, какъ Московскій, Коломенскій, и прикамскимъ, въ родѣ Казанскаго и Свіязскаго, вообще по тѣмъ областямъ, въ которыхъ одновременно существовали земли разныхъ видовъ владѣнія. Очень часто разореніе монастырскихъ и помѣстныхъ земель доходило до крайности: въ 80-хъ годахъ XVI вѣка въ уѣздахъ Пскова съ 8-ю его пригородами въ помѣстьяхъ подъ пашней было всего около 1.600 дес. въ каждомъ полѣ, а подъ залежью въ 11 разъ больше: 18.000 десятинъ; въ монастырскихъ и церковныхъ владѣніяхъ пашня составляла здѣсь менѣе $\frac{1}{15}$ всей пахотной земли (пашни считалось 1.500 дес., а перелога 21.500 дес.), между тѣмъ, какъ въ земляхъ, оставшихся за царемъ, т.-е. черныхъ, перелогъ (120 дес.) лишь вдвое превосходилъ своими размѣрами пашню (60 дес.). Крайне-безпорядочное, хищническое веденіе хозяйства на помѣстныхъ и монастырскихъ земляхъ засвидѣтельствовано, впрочемъ, не однѣми писцовыми книгами, а и многими грамотами. Правительство въ официальномъ доку-

ментъ—сорборномъ приговорѣ 1581 года — открыто признало крайнее разореніе монастырскихъ вотчинъ, «запустошеніе» ихъ монастырскими властями. Относительно помѣстнаго хозяйства имѣемъ цѣлый рядъ актовыхъ указаній: помѣщики разгоняютъ и грабятъ крестьянъ, вырубаютъ лѣсъ, истощаютъ землю, пахутъ ее «наѣздомъ», безъ всякой системы и порядка, не живутъ въ помѣстьяхъ, а сдаютъ ихъ въ аренду постороннимъ людямъ, которые стараются извлечь для себя въ возможно болѣе короткое время наибольшій доходъ изъ арендованной земли, не заботясь о сохраненіи ея производительныхъ силъ на будущее время. Такое беспорядочное хозяйство въ помѣстьяхъ—не случайность, а естественное и неизбежное послѣдствіе юридической природы помѣстнаго владѣнія. Юридически земля, отданная въ помѣстье, считалась собственностью государя, который уступалъ ее помѣщику только во временное пользованіе подъ условіемъ службы; поступаясь въ пользу помѣщика правами *пользованія* — и то не безусловно, такъ какъ въ принципѣ за правительствомъ оставалось право наблюденія за хозяйственными дѣйствіями помѣщика въ пожалованномъ имѣніи,—государь сохранялъ за собою всѣ права *распоряженія* помѣстной землей: помѣщикъ совершенно не имѣлъ права отчуждать землю постороннему, не могъ и передавать ее по наслѣдству даже своимъ сыновьямъ. Болѣе того: правительство всегда могло уменьшить размѣры помѣстья, взять его у владѣльца совсѣмъ и передать другому, однимъ словомъ, если того требовали интересы государства, могло по своему усмотрѣнію лишать помѣщика и правъ пользованія предоставленнымъ ему имѣніемъ. Все это пріучало помѣщика къ мысли, что плоды его хозяйственныхъ заботъ и трудовъ пожнетъ, вѣроятнѣе всего, не его сынъ и даже не другой родственникъ, а чужой человѣкъ, не связанный съ нимъ кровными узами. Вотъ основной источникъ дурного веденія хозяйства въ помѣстьяхъ. Былъ однако и другой, связанный тѣсно съ этимъ: даже и при хозяйственномъ усердіи помѣщика крестьяне, непосредственно прилагавшіе свой личный трудъ къ обработкѣ земли, не были гарантированы отъ разоренія именно потому, что сидѣли на помѣстной землѣ. Вотъ типическій примѣръ такого разоренія. Въ 1598 г. нѣкто Оминъ отдалъ свое владимірское помѣстье на оброкъ крестьянину Шишкину; помѣстье было сильно запущено, и арендаторъ приложилъ не мало труда, чтобы привести его въ лучшее состояніе: онъ посѣялъ яровой хлѣбъ, вспахалъ паръ подъ рожь, вырубилъ и выжегъ на многихъ десятипахъ лѣсъ, скосилъ сѣно на лугахъ. Въ разгаръ этихъ работъ старый помѣщикъ Оминъ лишился своего имѣнія, которое было отдано въ

помѣстье другому лицу, Соболеву. Послѣдній, вступивъ во владѣніе и не получивъ ничего отъ Шишкина, такъ какъ весь оброкъ былъ уплаченъ имъ прежнему владѣльцу, считъ себя въ правѣ воспользоваться плодами трудовъ крестьянина и осуществилъ это право слѣдующимъ образомъ: посѣялъ хлѣбъ на пару, приготовленномъ Шишкинымъ, свезъ къ себѣ скошенное имъ сѣно, и Шишкинъ остался въ большихъ убыткахъ: безъ пашни и безъ сѣна, да сверхъ того при распашкѣ нивы онъ потерялъ еще безъ пользы для себя нѣсколькихъ лошадей и воловъ.

Дурное веденіе хозяйства въ монастырскихъ имѣніяхъ въ значительной мѣрѣ объясняется тѣмъ, что здѣсь развитъ былъ способъ хозяйственной эксплуатаціи земли, во многомъ похожій въ экономическомъ отношеніи на помѣстье, — именно дача монастырскихъ владѣній во временное, условное, большею частью пожизненное пользование: земли эти давались или за вкладъ, или съ обязательствомъ со стороны лица, бравшаго землю, служить монастырю. Эти владѣнія были такъ же непрочны, какъ помѣстья, что естественно вело къ ихъ разоренію. Была, кромѣ того, и еще одна очень важная причина хозяйственного упадка монастырскихъ вотчинъ: ихъ громадныя размѣры, особенно въ центральныхъ уѣздахъ, отчасти и въ Западномъ Полѣсьѣ. Достаточно сказать, что Троицкій Сергіевъ монастырь владѣлъ землями въ тридцати трехъ уѣздахъ, и въ 27 изъ нихъ считалось у него до 200 тысячъ десятинъ земли, а Новодѣвичій въ четырнадцати уѣздахъ обладалъ 30 тысячами десятинъ, и прибавить, что это были далеко не единственные и не рѣдкіе примѣры крупнаго монастырскаго землевладѣнія.

Само собою разумѣется, что помѣстное и монастырское хозяйство отражалось и на земледѣліи въ черныхъ земляхъ и служилыхъ вотчинахъ: народное хозяйство, какъ бы ни были изолированы отдѣльныя хозяйственныя единицы, его составляющія, представляетъ собою все-таки цѣльный организмъ, разстройство отдѣльныхъ частей котораго неминуемо отзывается и на состояніи другихъ его элементовъ. Однако, несмотря на это, система земледѣлія на черныхъ и вотчинныхъ земляхъ была все-таки менѣе экстенсивна, чѣмъ въ помѣстьяхъ и монастырскихъ имѣніяхъ. Понятно, что тамъ, гдѣ два послѣдніе вида земельного владѣнія не были распространены, занимали относительно небольшую площадь, ихъ вредное хозяйственное вліяніе не чувствовалось почти совершенно. Сѣверъ отличался именно этою особенностью: помѣстья здѣсь были лишь въ Обонежской пятинѣ, въ Бѣлозерскомъ и Вологодскомъ уѣздахъ и то большею частью не подавляли своею массой другихъ видовъ поземельной собствен-

ности; монастырскія же вотчины, за немногими исключеніями, были не велики и очень часто по хозяйственному своему типу подходили близко къ чернымъ землямъ: во многихъ мелкихъ, «убогихъ» монастыряхъ монахи сами пахали и косили. Вотъ почему выше и было указано, что сельскохозяйственное производство на сѣверѣ обязано было своимъ постепеннымъ, хотя и медленнымъ, поступательнымъ движеніемъ, кромѣ естественныхъ, мѣновыхъ и колонизаціонныхъ условий, также и поземельнымъ, — сохраненію здѣсь преобладающаго значенія за чернымъ землевладѣніемъ.

Мы не безъ цѣли остановились на хозяйственномъ вліяніи помѣстного и монастырскаго землевладѣнія. Дѣло въ томъ, что упадокъ сельскохозяйственнаго производства и сокращеніе запашки на дворъ и на рабочаго въ Центрѣ и Западномъ Полѣсѣ были непосредственнымъ слѣдствіемъ развитія помѣстной системы и монастырскаго землевладѣнія на счетъ земель вотчинныхъ и черныхъ. Изучая распределеніе населенія въ указанныхъ двухъ старыхъ областяхъ Московской Руси XVI вѣка, легко замѣтить, что до семидесятыхъ годовъ въ этомъ отношеніи незамѣтно большихъ перемѣнъ, съ этого же времени можно наблюдать рѣзко выраженное бѣгство крестьянъ изъ уѣздовъ, окружавшихъ столицу, и изъ большей части Новгородско-Псковской области. Это бѣгство отмѣчается иностранцами Ульфелдомъ, Поссевиномъ, Флетчеромъ, о немъ свидѣлствуютъ акты и писцовыя книги: такъ, въ Московскомъ уѣздѣ въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ относительное количество пустошей доходило до 76, 93 и даже 95% и не спускалось ниже 45%, починковъ же почти совсѣмъ не было; то же самое наблюдается въ уѣздахъ Дмитровскомъ, Можайскомъ, Рузскомъ, Переяславль-Залѣсскомъ и т. д., и т. д. Такое поразительное по своей напряженности движеніе населенія изъ старыхъ основныхъ областей государства и было исходнымъ моментомъ того заселенія Сѣвера, Прикамья и Степи, о которомъ у насъ уже шла рѣчь. Мы видѣли выше, какія естественныя и экономическія условія привлекали населеніе въ эти области. Но для объясненія причинъ переселенія недостаточно знать, что привлекало переселенцевъ на новыя мѣста, надо еще — и это главное — опредѣлить, что выгоняло ихъ съ родины, къ которой ихъ привязывали привычка и инстинктъ. Такимъ образомъ, если бы мы объяснили хозяйственный упадокъ центральныхъ и новгородско-псковскихъ уѣздовъ уходомъ изъ нихъ населенія и его стремленіемъ на новыя мѣста, то такое объясненіе слѣдовало бы считать недостаточнымъ. Изученіе хозяйственнаго вліянія помѣстной системы и монастырскаго земле-

владѣнія и даетъ намъ искомый отвѣтъ на вопросъ о причинахъ важнѣйшаго и оригинальнѣйшаго явленія въ исторіи сельско-хозяйственнаго производства и колонизаціи въ Московскомъ государствѣ XVI вѣка: и монастырское землевладѣніе, и помѣстная система вели къ разоренію, къ господству переложной системы и къ сокращенію среднихъ размѣровъ пашни на дворъ и рабочаго, а слѣдовательно и къ бѣгству населенія; между тѣмъ, обѣ эти формы земельного владѣнія становятся въ XVI вѣкѣ господствующими и въ Центрѣ, и въ Западномъ Полѣсьѣ. Это можно видѣть изъ слѣдующихъ примѣровъ, взятыхъ изъ числа многихъ фактовъ, засвидѣтельствованныхъ писцовыми книгами: въ Шелонской пятинѣ въ 1582—1586 гг. помѣстья занимали въ одной половинѣ пятинны 94 проц. всей территоріи, а въ другой—болѣе 97 проц.: въ первомъ случаѣ на помѣстную землю приходилось 103 тысячи десятинъ изъ 110 тысячъ, во второмъ—60 тысячъ десятинъ изъ 62 тысячъ; въ Московскомъ уѣздѣ, по писцовой книгѣ тѣхъ же годовъ, изъ 490 тысячъ десятинъ пахотной земли монастырскія вотчины занимали 175 тысячъ десятинъ или болѣе 35 проц., а въ помѣстьяхъ считалось около 165 тысячъ десятинъ, что составляетъ 34 проц. всей площади, описанной въ книгѣ.

Въ связи съ развитіемъ помѣстной системы стояли и нѣкоторыя другія важныя явленія въ области распределенія земельной собственности, оказавшія сильное вліяніе на хозяйство. Изъ такихъ явленій заслуживаютъ особаго вниманія два: уменьшеніе размѣровъ отдѣльныхъ имѣній или раздробленіе крупныхъ владѣній и развитіе мобилизаціи земельной собственности, т.-е. быстрого и непрерывнаго перехода имѣній въ руки лицъ, не состоящихъ въ родствѣ съ прежними владѣльцами. Изучая писцовыя книги XVI вѣка, не трудно замѣтить, что въ подавляющемъ большинствѣ уѣздовъ къ концу столѣтія крупныя землевладѣльческія единицы—болѣе 1.000 десятинъ во всѣхъ трехъ поляхъ—встрѣчаются только какъ исключенія, обыкновенно же преобладаютъ имѣнія среднихъ размѣровъ въ 150—300 десятинъ. Это—не случайность, а неизбѣжное послѣдствіе помѣстной системы, которая имѣла цѣлью создать земельное обезпеченіе для массы служилыхъ людей, при чемъ обезпеченіе это давалось въ размѣрахъ, достаточныхъ лишь для несенія службы средней, нормальной тяжести. Между тѣмъ всѣ данныя убѣждаютъ насъ, что въ крупныхъ имѣніяхъ земледѣліе всегда находилось въ лучшемъ состояніи, чѣмъ въ среднихъ и мелкихъ; ограничимся однимъ примѣромъ: въ 1594—1595 гг. въ Вяземскомъ уѣздѣ крупныя землевладѣльцы примѣняли на своихъ владѣніяхъ правильную паровую-зерновую систему полевого хо-

зайства—перелогъ занималъ у нихъ ничтожную площадь въ 11 десятинъ—между тѣмъ въ среднемъ землевладѣніи половина всей пахотной земли, до 25 тысячъ десятинъ, оставалась въ залежи, а въ мелкомъ можно наблюдать уже прямо переложную систему земледѣлія, перевѣсъ залежи надъ пашней. Измельчаніе имѣній замѣтно не только въ помѣстномъ, но и еще въ большей степени въ вотчинномъ землевладѣніи по той причинѣ, что число вотчинниковъ увеличивалось путемъ естественнаго прироста населенія, размѣры же вотчинной земли не только не увеличивались, а напротивъ, уменьшились, такъ какъ значительная доля ея постепенно перешла въ руки монастырей. Это послѣднее явленіе приводитъ насъ къ второму, только-что отмѣченному процессу въ исторіи землевладѣнія XVI вѣка,—мобилизаціи земельной собственности: вотчины не только въ громадныхъ размѣрахъ переходили въ собственность монастырей, но и очень часто попадали не въ руки наслѣдниковъ и вообще родственниковъ, а къ чужеродцамъ. Такъ, въ Московскомъ уѣздѣ въ 20 лѣтъ изъ общаго числа 152 вотчинъ 75 или 49,3 проц. перешли въ собственность лицъ, совершенно постороннихъ прежнимъ владѣльцамъ. Въ Коломейскомъ изъ 148 имѣній 61 (41,2 проц.) принадлежало прежде чужеродцамъ. Еще сильнѣе совершалась мобилизація помѣстныхъ земель: въ большинствѣ случаевъ $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$ и даже $\frac{9}{10}$ ихъ переходили къ лицамъ, не связаннымъ съ прежними владѣльцами кровными узами. Это не могло не отражаться на хозяйствѣ: даншья нашихъ источниковъ позволяютъ замѣтить, что наибольшимъ запустѣніемъ отличались какъ разъ имѣнія, принадлежавшія прежде чужеродцамъ.

Итакъ, самое оригинальное явленіе въ сельскохозяйственной промышленности Московскаго государства XVI вѣка—упадокъ земледѣльческаго производства въ большей части Центральной области и Западнаго Полѣсья—объясняется перемѣнами въ распредѣленіи земельной собственности: господствомъ помѣстной системы и монастырскаго землевладѣнія, раздробленіемъ крупныхъ имѣній и развитіемъ мобилизаціи. Ни въ какомъ случаѣ однако нельзя удовлетвориться такимъ объясненіемъ: мы опять имѣемъ здѣсь только нить, руководясь которой мы можемъ выйти въ широкую область общихъ экономическихъ отношеній, въ ту сферу, въ которой и нужно искать истиннаго разрѣшенія вопроса. Вѣдь если перемѣны въ распредѣленіи земельной собственности объясняютъ намъ ближайшимъ образомъ своеобразное направленіе земледѣльческаго производства, то спрашивается, какими же условіями опредѣлились эти перемѣны въ распредѣленіи землевладѣнія? Образование и развитіе помѣст-

ной системы до сихъ поръ объяснялось или недостаткомъ денежныхъ средствъ у государства, вынужденнаго, однако, ради защиты и расширенія территоріи содержать военную силу и потому вознаграждавшаго служившихъ людей за ихъ службу землей, которой было достаточно, или невозможностью крупнаго хозяйства и правильнаго управленія громадными и разбросанными имѣніями,—невозможностью, принуждавшей крупныхъ землевладѣльцевъ и между ними прежде всего государя раздавать свои земли во временное условное пользованіе съ цѣлями достигнуть болѣе энергичной хозяйственной ихъ эксплуатаціи. Надо однако замѣтить, что оба эти объясненія, вѣрно опредѣляя спеціальныя, частныя условія появленія и развитія помѣстья, игнорируютъ главное условіе, второстепеннымъ и производнымъ отраженіемъ котораго являются и бѣдность государства денежными средствами, и невозможность крупнаго хозяйства: такимъ главнымъ условіемъ, дѣйствительно создавшимъ помѣстную систему, было господство натурального хозяйства, т.-е. слабое развитіе обмѣна, торговыхъ сношеній; при слабости мѣноваго обращенія продуктовъ общество всегда бываетъ бѣдно денежными средствами, и нѣтъ возможности вести крупное хозяйство, для котораго необходимъ обширный и свободный рынокъ. Помѣстная система органически связана съ системой натурального хозяйства, является необходимымъ спутникомъ послѣдняго въ извѣстной стадіи его развитія,—говоримъ «въ извѣстной стадіи развитія», потому что и натуральное хозяйство не есть нѣчто разъ навсегда данное и неизмѣнное, оно такъ же, какъ и все въ жизни общества, извѣстный процессъ, подробности котораго заслуживаютъ изученія. Ни здѣсь, ни въ книгѣ, изложеніемъ которой является настоящая статья, мы не можемъ однако вдаваться въ эти подробности, имѣя въ виду посвятить особую статью изученію общаго вопроса о связи натурального хозяйства съ формами землевладѣнія. Ограничимся только констатированіемъ такой связи между помѣстьемъ и натуральнымъ хозяйствомъ и замѣтимъ, что натуральнымъ же хозяйствомъ обуславливалось и развитіе другого господствовавшаго въ XVI вѣкѣ вида земельного владѣнія,—монастырской вотчины. Въ самомъ дѣлѣ: чѣмъ объясняютъ обыкновенно фактъ необычнаго развитія монастырскаго землевладѣнія? Указываютъ на желаніе стать подъ защиту монастыря, выгодную вслѣдствіе податныхъ и административно-судебныхъ льготъ, щедро жалуемыхъ монастырямъ государями, на хорошее веденіе монастырскаго хозяйства, на задолженность землевладѣльцевъ монастырямъ, наконецъ, на религіозные взгляды общества, убѣжденіе въ необходимости пожертвованія въ пользу церкви для спасенія души. Но льготы и защиту можно было найти у всякаго бога-

таго землевладѣльца, свѣтскаго такъ же, какъ и духовнаго; мнѣніе о хорошемъ веденіи монастырскаго хозяйства надо считать просто предразсудкомъ, такъ какъ хозяйство на монастырскихъ земляхъ шло, какъ было уже указано хуже, чѣмъ на земляхъ черныхъ и вотчинахъ служилыхъ людей; задолженность вовсе не была велика, какъ видно и изъ завѣщаній, и изъ того обстоятельства, что монастыри приобрѣтали большую, даже подавляющую своей относительной величиной часть своихъ владѣній не путемъ пріема въ залогъ или покушки, а путемъ пріема въ даръ; что же касается до убѣжденія въ необходимости пожертвованія въ церковь съ дѣлю спасти свою душу, то оно еще не обусловливало вклада *земли*, такъ какъ можно было вложить и движимые капиталы. Земельные вклады въ монастырь, т.-е. развитіе монастырскаго землевладѣнія, становятся необходимыми именно вслѣдствіе господства натурального хозяйства и являющейся слѣдствіемъ этого скудости денежныхъ средствъ. Надо, впрочемъ, замѣтить, что то зарожденіе мѣнового сельскаго хозяйства, которое намъ приходилось наблюдать во второй половинѣ XVI вѣка, также содѣйствовало и развитію монастырскаго землевладѣнія, и мобилизаціи земельной собственности: всѣ переходы отъ однѣхъ соціальныхъ формъ къ другимъ отличаются болѣзненнымъ характеромъ, мучительно отзываются на состояніи хозяйства и сопровождаются жертвами; съ зарожденіемъ болѣе оживленныхъ мѣновыхъ оборотовъ обостряется нужда въ денежныхъ капиталахъ, что и ведетъ къ мобилизаціи земельной собственности и къ переходу ея въ руки богатыхъ монастырей, скупающихъ земли за безпѣнокъ у лицъ, болѣе слабыхъ въ хозяйственномъ отношеніи. Къ этому необходимо прибавить, что зарождающееся денежное хозяйство, требующее свободы оборота всѣхъ цѣнностей въ странѣ, вступало въ непримиримый конфликтъ со старыми формами земельного владѣнія,—помѣстьемъ и монастырской вотчиной.

Такимъ образомъ общія экономическія условія времени—натуральное хозяйство и начавшееся зарожденіе хозяйства мѣнового—сыграли опредѣляющую роль въ исторіи земледѣльческаго производства коренныхъ, самыхъ важныхъ областей Московскаго государства въ XVI вѣкѣ. Не слѣдуетъ, впрочемъ, думать, что все это составляетъ особенность одной только Московской Руси: лучшимъ доказательствомъ того, что развитіе помѣстной системы и монастырскаго землевладѣнія связано неразрывными узами съ развитіемъ натурального хозяйства служитъ тотъ всѣмъ извѣстный теперь фактъ, что монастырская вотчина и помѣстье—последнее подъ именемъ бенефиція—были извѣстны и Западной Европѣ; помѣстье представляло также важный и распространенный видъ земельной собственности и въ Византіи, и въ

Индіи, и въ мусульманскихъ государствахъ, и даже въ древнихъ, уничтоженныхъ европейцами государствахъ Новаго свѣта *). Вездѣ процессъ развитія натурального хозяйства привелъ къ распространенію указанныхъ землевладѣльческихъ формъ. Вездѣ эти формы должны были неблагоприятно отозваться на земледѣльческомъ производствѣ. Почему же только въ Россіи онѣ повели къ такому небывалому рѣзкому упадку земледѣлія? Отвѣта на этотъ вопросъ, отмѣчающій дѣйствительную особенность нашего отечества, надо искать въ основномъ историческомъ условіи, непрерывно дѣйствовавшемъ въ нашемъ прошломъ и дѣйствующемъ еще теперь—въ своеобразномъ отношеніи населенія страны къ ея территоріи: громадныя размѣры послѣдней при относительно небольшомъ количествѣ населенія сдѣлали возможнымъ быстрый отливъ населенія, уходъ его отъ хозяйственныхъ неурядицъ и разоренія. Въ другихъ странахъ этого условія не было, и вредное хозяйственное вліяніе формъ, подобныхъ помѣстью и монастырской вотчинѣ, сказалось менѣе рѣзко и привело къ другимъ послѣдствіямъ въ сферѣ соціально-политической: эти послѣдствія въ западно-европейскихъ государствахъ извѣстны подъ названіемъ феодализма. Наше отечество феодализма въ развитомъ видѣ не знало: вмѣсто него, у насъ восторжествовало крѣпостное государство съ самодержавною властью царя. Почему? Вотъ вопросъ, на который мы должны теперь отвѣтить.

III.

Происхожденіе западно-европейскаго феодальнаго порядка хорошо извѣстно. Онъ явился результатомъ развитія и органическаго соединенія трехъ соціальныхъ явленій,—бенефиція, комментація и иммунитетъ. Бенефицій—то же, что русское помѣстье: это пожизненное поземельное владѣніе, обусловленное для его обладателя обязанностью службы тому лицу, которымъ былъ пожалованъ бенефицій. Бенефицій, какъ и русское помѣстье, могъ быть взятъ обратно лицомъ, его пожаловавшимъ; обладатель бенефиція не имѣлъ права отчуждать его постороннимъ и передавать по наслѣдству родственникамъ. Комментаціей называлась отдача себя подъ покровительство сильнаго человѣка, крупнаго землевладѣльца, съ цѣлью спасти себя отъ насилій, всегда очень распространенныхъ при слабости государственной власти; комментація дѣлала личность коммента (лица, поступавшаго подъ покровительство сильнаго человѣка) зависимою отъ покровитель-

*) См. объ этомъ, напр., во введеніи къ сочиненію М. М. Ковалевскаго „Экономическій ростъ Европы до возникновенія капиталистическаго хозяйства“, т. I.

ствующаго, обращала коммендата въ его подданнаго: обязуясь защищать коммендата отъ насилій, сильный человекъ являлся представителемъ и заступникомъ его на судѣ, несъ за него отвѣтственность, что, естественно, вело къ необходимости со стороны покровителя надзора за коммендатомъ, власти надъ нимъ, права судить о его поступкахъ и въ случаѣ нуждѣ привлекать его за нихъ къ отвѣтственности, однимъ словомъ, къ подданству коммендата патрону. Иногда коммендировалась не только извѣстная личность, но и земля, которою эта личность владѣла: коммендаты въ такомъ случаѣ оставался на этой землѣ, но она считалась уже собственностью патрона, а коммендату принадлежало лишь право пользованія, т. е. земля обращалась въ этомъ случаѣ въ бенефицій (мы употребляемъ здѣсь выраженіе «бенефицій» вмѣсто всѣхъ другихъ обычныхъ въ то время для обозначенія подобныхъ отношеній терминовъ единственно въ цѣляхъ большей простоты изложенія). Крупные землевладѣльцы ранняго средневѣковья были, наконецъ, государями въ своихъ земляхъ: чинили судъ и расправу и собирали подати; эти, по нашему современному представленію, *государственныя* права въ то время считались неотъемлемой принадлежностью права собственности на землю, срослись съ послѣднимъ. Въ крупномъ имѣніи—духовномъ или свѣтскомъ—не было никакой власти, кромѣ власти землевладѣльца, оно было изъято изъ вѣдомства органовъ королевской администраціи или, какъ тогда говорили, пользовалось иммунитетомъ.

Но всѣ эти порядки отличались слабой устойчивостью, крайней непрочностью и подвижностью: бенефицій могъ быть всегда отнятъ у лица, его получившаго, коммендаты могъ оставить своего патрона и перейти къ другому, иммунитеты можно было нарушить. Весь вопросъ былъ въ томъ, кто окажется сильнѣе,—король или крупные землевладѣльцы. Перевѣсъ силы былъ на сторонѣ крупныхъ землевладѣльцевъ, и колеблющіяся, расплывчатая, непрочныя социальныя формы ранней средневѣковой эпохи превратились въ отчетливыя, рѣзко выраженныя нормы, совокупность которыхъ называется феодальнымъ порядкомъ: бенефицій обратился въ ленъ или феоде, т. е. земельное владѣніе, хотя и обусловленное обязанностью службы, но по существу наследственное и свободное, подлежащее отчужденію по волѣ владѣльца, лишь бы сюзерену были уплачены особыя пошлыны при переходѣ владѣнія, и лишь бы новый владѣлецъ сталъ въ такія же къ нему отношенія, въ какихъ находился прежній; коммендація перешла въ вассалитетъ, т. е. въ постоянную связь подданства, исключавшую возможность ухода и наследственную;

наконецъ иммунитеты развились до крайнихъ размѣровъ, до права войны, феодальнаго законодательства, чеканки монеты.

Таковъ былъ въ самыхъ общихъ чертахъ ходъ соціально-политическаго развитія западно-европейскихъ странъ съ начала среднихъ вѣковъ до ихъ расцвѣта. Въ результатъ этого процесса получается, слѣдовательно, крайнее преобладаніе, почти полное господство феодальной аристократіи и совершенный упадокъ власти государей.

Ничего подобнаго не замѣчаемъ мы въ восточной Европѣ. Стоитъ лишь нѣсколько познакомиться съ соціально-политическимъ строемъ Московскаго государства конца XVI и XVII вѣковъ, чтобы убѣдиться въ этомъ. Что такое представлялъ собою въ это время московскій служилый классъ? Потомки бывшихъ великихъ и удѣльныхъ князей и большихъ московскихъ бояръ, помогавшихъ Калитѣ, его дѣтямъ и внукамъ въ упорной, трудной и не всегда чистой работѣ собиранія Руси, привыкшіе по наслѣдству отъ дѣдовъ и отцовъ смотрѣть на себя, какъ на наслѣдственныхъ правителей государства, безъ совѣта и согласія которыхъ не можетъ обойтись московскій государь, погибли въ казняхъ Грознаго, среди ужасовъ опричнины и Смутнаго времени и лишились большей части своихъ наслѣдственныхъ владѣній, въ которыхъ сильны еще были преданія объ ихъ удѣльной власти. Иванъ Грозный, учредивъ опричнину, отбиралъ цѣлыми массами на себя, въ опричнину княжескія вотчины, уничтожая тѣмъ послѣдніе обломки удѣльныхъ привилегій. Изнуренная и ослабѣвшая боярская аристократія заняла въ государствѣ положеніе, совершенно одинаковое съ остальной массой служилаго люда: образовалось крѣпостное, вѣчно обязанное службой государству служилое сословіе, являвшееся послушнымъ орудіемъ въ рукахъ государственной власти. Военная служба легла тяжелой повинностью не только на дворянъ и дѣтей боярскихъ, но и на князей и бояръ. Помѣстья—по крайней мѣрѣ въ теоріи—остались прежнимъ непрочнымъ владѣніемъ, распоряженіе которымъ зависѣло отъ воли государя, и только на практикѣ правительство прививало къ нимъ принципъ наслѣдственности, стараясь передавать ихъ по смерти владѣльца его сыновьямъ, а вотчины окончательно сблизились съ помѣстьями, такъ какъ восторжествовалъ принципъ, въ силу котораго каждый вотчинникъ обязанъ былъ военной службой государству. Государственная власть стала прочной ногой и въ области администраціи: льготы—податныя и судебныя—подверглись значительному ограниченію, и вмѣсто бывшаго намѣстника, по закону кормившагося на счетъ населенія, появился воевода, завѣдывавшій государственными доходами,

администраціей и судомъ уже не на себя, какъ намѣстникъ, а на царя, представлявшій изъ себя не простой органъ хозяйственнаго управленія, а носителя государственной власти. Но всего замѣчательнѣе, конечно, то, что московскій царь, несмотря на страшную бурю, пронесшуюся надъ страной въ началѣ XVII вѣка, не только сохранилъ, но и укрѣпилъ свое самодержавіе.

Контрастъ московскихъ порядковъ XVII вѣка съ средневѣковымъ западно-европейскимъ строемъ оказывается такимъ образомъ поразительнымъ: та сила, которая восторжествовала въ Московскомъ государствѣ, была принижена въ Западной Европѣ, и наоборотъ. Но какъ ни поразителенъ этотъ контрастъ, его сила и яркость выдѣляется еще больше, если принять въ соображеніе то обстоятельство, что въ Московской Руси XV—XVI вѣковъ и даже позднѣе были налицо всѣ элементы, изъ которыхъ сложился западно-европейскій феодализмъ. Въ самомъ дѣлѣ: мы уже упоминали, что московское помѣстье почти совершенно тождественно съ западнымъ бенефиціемъ. Хорошо извѣстно также, что еще въ удѣльное время князья давали своимъ слугамъ податныя и судебныя льготы. Тогда льготы эти «были личнымъ отличіемъ, пожалованіе и продолженіе ихъ было такъ же необязательно для князя, какъ необязательна была и вызвавшая ихъ служба вольнаго слуги. Съ объединеніемъ сѣверной Руси государственная служба служилыхъ людей, сдѣлалась обязательной; тогда и поземельныя льготы, какъ ея послѣдствіе, перестали быть случайнымъ исключеніемъ, личнымъ отличіемъ, стали общимъ, нормальнымъ явленіемъ»; «какъ самая повинность службы стала политической особенностью цѣлаго класса служилыхъ землевладѣльцевъ, такъ и землевладѣльческія льготы получили значеніе сословныхъ преимуществъ служилаго класса» *). Не надо кромѣ того забывать, что если льготы на боярскія земли обязаны были своимъ происхожденіемъ пожалованію московскаго государя, то бывшіе удѣльные князья, ставъ служилыми, пользовались многими государственными правами въ своихъ бывшихъ удѣльныхъ владѣніяхъ не въ силу милости московскаго великаго князя, въ послѣдствіи царя, а по праву наслѣдованія. Такимъ образомъ, нѣтъ сомнѣнія, что въ Московской Руси существовали средневѣковые до-феодалныя иммунитеты и для превращенія ихъ въ иммунитеты феодальныя недоставало только приобрѣтенія служилыми князьями и боярами такихъ правъ, какъ право войны, законодательства, чеканки монеты и т. п. Наконецъ, Московская Русь знала и ин-

*) *Ключевскій*, „Боярская дума древней Руси“, изд. 2, стр. 229.

ститутъ, совершенно соответствовавшій по своей юридической природѣ западно-европейской коммѣндаціи. Еще Соловьевъ сближалъ съ послѣдней древнерусское закладничество, свидѣтельства о которомъ нерѣдко встрѣчаются и въ удѣльное время, и въ XVI и XVII столѣтіяхъ. Недавно это предположеніе Соловьева обстоятельно развито и доказано въ небольшой, но очень содержательной книжкѣ г. Павлова-Сильванскаго «Закладничество-патронатъ». Главные доводы, къ которымъ пришелъ авторъ этой работы, заключаются въ слѣдующемъ. Слово «закладень» или «закладникъ» происходитъ отъ глагола «закладываться», употребившагося въ значеніи «закрывать», «защищаться»; синонимъ этого глагола—«задаваться»; отсюда закладники—лица задавшіяся, отдавшія себя подъ защиту сильнаго человѣка, «заступные люди», какъ они иногда называются въ документахъ, или, по выраженію западно русскихъ актовъ, «протекціальные люди». Грамоты какъ удѣльнаго времени, такъ и XVI и XVII вѣковъ довольно точно характеризуютъ намъ юридическую природу закладничества: закладни, отдавшіеся подъ покровительство сильнаго человѣка, «не тянутъ» уже судомъ и данью къ той власти, которой они подчинялись по мѣсту жительства раньше, потому что они являются подсудными своему патрону и ему же платятъ налоги; закладники XVII вѣка «съ промысловъ своихъ и съ вотчинъ государевыхъ податей не платятъ и службъ не служатъ, а живутъ всегда во льготѣ»; «въ городахъ воеводы и приказные люди на тѣхъ людей въ ихъ насильствахъ суда не даютъ, отказываютъ имъ, что имъ ихъ въ городахъ судить не указано». Все это представляетъ собою поразительную аналогію положенію средне-вѣковыхъ коммѣндатовъ. Сходство закладниковъ съ коммѣдантами усугубляется еще тѣмъ обстоятельствомъ, что первые, какъ и вторые, поступали подъ защиту сильныхъ людей нерѣдко со своею землею. Правда, г. Павловъ-Сильванскій считаетъ эту послѣднюю черту особенностью закладней удѣльнаго времени и жившихъ, во всякомъ случаѣ, не позднѣе первой половины XVI вѣка, но вышеприведенныя слова одного изъ актовъ XVII вѣка о *вотчинахъ* закладниковъ указываютъ, что и тому времени не было совершенно чуждо закладничество съ землею. Тѣмъ не менѣе нельзя отрицать, что закладничество этого рода было болѣе частымъ явленіемъ до половины XVI столѣтія, чѣмъ позднѣе, и причину этого слѣдуетъ видѣть въ быстромъ исчезновеніи черныхъ земель, о которомъ у насъ уже шла рѣчь, и въ запрещеніи чернымъ крестьянамъ отчуждать свою землю не своей братьѣ—крестьянамъ, а лицамъ постороннимъ, запрещеніи, отражавшемся еще въ междукняжескихъ договорахъ.

Итакъ, въ Московской Руси XVI вѣка были налицо всѣ элементы, изъ которыхъ сложился средневѣковой феодальный строй: помѣстье—бенефицій, льготы—иммунитеты и закладничество—коммендація. И однако эти зародыши феодализма такъ и остались въ зачаточномъ состояніи, а затѣмъ и совершенно исчезли въ нашемъ отечествѣ. Въ русской социально-политической жизни XVI вѣка произошелъ рѣзкій переломъ, не оставляющій мѣста дальнѣйшей аналогіи съ западными порядками. На это должны были существовать очень серьезныя причины, и изслѣдователи не мало поработали надъ вопросомъ о происхожденіи самодержавной власти московскихъ государей; указывали на выгодное положеніе Московскаго княжества, на его населенность, на влияніе татарскаго ига, византійскихъ традицій, церковнаго авторитета, личныхъ характеровъ князей. Изучая послѣднюю борьбу московскаго боярства съ государемъ, отмѣчали въ числѣ причинъ побѣды послѣдняго его богатство, разрозненность, соперничество и сравнительную бѣдность бояръ, военныя обстоятельства, отсутствіе строго-опредѣленныхъ политическихъ идеаловъ въ боярской средѣ, общую классовую рознь и проч. Всѣ эти выводы имѣютъ несомнѣнную цѣнность при объясненіи торжества самодержавной власти московскаго государя и пораженія княжеско-боярской аристократіи, но наибольшую важность для такого объясненія мы приписываемъ тѣмъ процессамъ въ развитіи сельскаго хозяйства XVI вѣка, которые нами только что изображены. Рѣшающее значеніе имѣло то обстоятельство, что въ то время, какъ окончательно поставленъ былъ вопросъ о послѣдней борьбѣ между государемъ и боярствомъ,—борьбѣ, которую Грозный царь думалъ вести посредствомъ опричнины,—хозяйственная мощь крупныхъ центральныхъ землевладѣльцевъ, бывшихъ удѣльныхъ князей и большихъ бояръ, была подорвана небывалымъ отливомъ населенія, послѣдовавшимъ подъ влияніемъ вреднаго хозяйственнаго дѣйствія помѣстной системы и монастырскаго землевладѣнія. Это—во первыхъ. А во вторыхъ, необходимость единой самодержавной власти въ Россіи XVI—XVII вв. обуславливалась еще переходомъ отъ натурального хозяйства къ денежному съ *обширнымъ* рынкомъ: экономически—объединить страну могла только царская власть. На западѣ Европы хозяйственное развитіе шло равномернѣе и болѣе постепенно: тамъ натуральное хозяйство сначала (въ XII—XIII в.) перешло въ денежное съ *небольшимъ* рынкомъ, потому что тамъ не было удобныхъ зимнихъ путей сообщенія, позволявшихъ перевозить товары на дальнія разстоянія. Такъ экономическія условія времени окончательно опредѣлили направленіе политическаго развитія.

Но при всемъ различіи, такъ рѣзко бросающемся въ глаза при сравненіи социальна-политическаго строя Московскаго государства XVII вѣка съ западно-европейскимъ феодальнымъ порядкомъ, между тѣмъ и другимъ было и одно, хотя и неполное, сходство, заключавшееся въ положеніи низшаго класса населенія: и западные вилланы феодальной эпохи, и московскіе крестьяне XVII столѣтія были крѣпостными людьми. Хозяйственный упадокъ центральной области и Западнаго Полѣсья въ концѣ XVI вѣка оказалъ на положеніе крестьянъ такое же влияніе, какое на Западѣ имѣло господство феодальныхъ отношеній,—онъ закрѣпилъ, утвердилъ процессъ закрѣпощенія крестьянъ, обострилъ дѣйствіе тѣхъ условій, которыя и такъ неудержимо влекли крестьянина въ крѣпостное состояніе. Извѣстно, что вопросъ о происхожденіи крѣпостнаго права до сихъ поръ вызываетъ большіе споры и разногласія. Спорять прежде всего о томъ, когда крѣпостное право на крестьянъ было въ первый разъ утверждено закономъ, формулировано юридически: по мнѣнію однихъ изслѣдователей, это было сдѣлано еще въ концѣ XVI вѣка, по другому взгляду—только въ Уложеніи царя Алексѣя 1649 года. Разногласія идутъ и глубже, касаются вопроса объ условіяхъ, подготовившихъ прикрѣпленіе: одни склонны приписывать здѣсь первенствующую роль потребностямъ государственнаго хозяйства, необходимости обезпечить правильный сборъ податей и отбываніе государственныхъ повинностей путемъ прекращенія постоянныхъ крестьянскихъ переходовъ и установленія отвѣтственности землевладѣльцевъ за правильное отбываніе государственныхъ обязанностей ихъ крестьянами; по мнѣнію другихъ, государственному прикрѣпленію крестьянъ предшествовало закрѣпленіе ихъ за землевладѣльцами путемъ актовъ гражданскаго права, главнымъ образомъ, ссудныхъ записей и крестьянскихъ порядныхъ; послѣдній взглядъ опирается на слѣдующія соображенія: крестьянинъ XVI вѣка садился на землю, принадлежавшую служилому землевладѣльцу или церковному учрежденію, не имѣя своего инвентаря: рабочихъ орудій, скота и сѣмянъ. Это заставляло его прибѣгать къ ссудѣ и подмогѣ со стороны землевладѣльца. Невозможность расплатиться съ землевладѣльцемъ фактически лишала крестьянина права свободнаго перехода, которое признавалось за нимъ по закону: взявъ ссуду, крестьянинъ обязывался возвратить ее, а до возврата взамѣнъ уплаты процентовъ — работать на землевладѣльца; слѣдовательно, въ случаѣ, если крестьянинъ до самой смерти не могъ возвратить ссуду, онъ оказывался въ положеніи пожизненнаго крѣпостнаго, обязаннаго работой вмѣсто процентовъ по займу. Но такое же почти положеніе

занималъ, съ конца XVI вѣка, такъ называемый кабалный холопъ: онъ долженъ былъ работать на господина вмѣсто процентовъ на занятую имъ сумму, которую онъ не имѣлъ права уплачивать господину по закону: только это послѣднее обстоятельство, *юридическое* запрещеніе возврата ссуды отличало кабалнаго холопа отъ крестьянина, не по закону, а *фактически* лишеннаго возможности расплатиться. Аналогія въ положеніи обоихъ была настолько близка, что привела къ мысли о возможности примѣнить и къ крестьянамъ идею кабалнаго холопства. Мало-по-малу землевладѣльцы стали вносить въ порядныя грамоты со своими крестьянами условіе, которымъ крестьянинъ отказывался отъ права расплаты и ухода отъ землевладѣльца; для крестьянъ это условіе не имѣло реального значенія, ничѣмъ не ухудшило ихъ дѣйствительнаго положенія, такъ какъ расплатиться и уйти они, все равно, были не въ состояніи. Такъ, путемъ договоровъ, т.-е. актовъ гражданского права, и сложились настоящія крѣпостныя отношенія, признанныя государствомъ только въ половинѣ XVII вѣка.

Только что изложенная теорія въ главныхъ чертахъ признается теперь большею частью изслѣдователей; во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, что задолженность и притомъ задолженность безнадежная, сыграла важную роль въ происхожденіи крѣпостнаго права на крестьянъ.

Но чѣмъ создались эта задолженность и ея безнадежный характеръ? Прежде всего разумѣется необходимостью селиться на землѣ служилой, монастырской или архіерейской, а необходимость эта—непосредственный результатъ того же процесса развитія помѣстной системы и монастырскаго землевладѣнія, который оказалъ столь роковое вліяніе на сельскохозяйственное производство. Дурное, хищническое веденіе помѣстнаго и монастырскаго земледѣльческаго хозяйства устраняло, съ другой стороны, возможность для крестьянина расплатиться съ землевладѣльцемъ и даже болѣе состоятельныхъ крестьянъ, какъ мы имѣли случай убѣдиться, низводило въ разрядъ неимущихъ и нуждающихся въ ссудѣ. Можно даже думать, что и кабалное холопство, послужившее юридическимъ прототипомъ крестьянской крѣпости, обязано своимъ развитіемъ тому же росту помѣстной и монастырской земли и связаннымъ съ этимъ ростомъ экономическимъ послѣдствіемъ, т.-е. упадку системы земледѣлія и сокращенію среднихъ размѣровъ запашки на дворъ и на рабочаго.

Остается подвести итоги, резюмировать выводы, къ которымъ привело изученіе сельскаго хозяйства Московской Руси въ XVI

вѣкъ, причинѣ, на него вліявшихъ, и соціально-политическихъ послѣдствій, имѣ обнаруженныхъ. Процессъ развитія натурального хозяйства привелъ къ торжеству помѣстной системы и монастырскаго землевладѣнія на большей части территоріи государства. Господство обоихъ этихъ видовъ земельного владѣнія вызвало, въ свою очередь, упадокъ земледѣлія, выразившійся въ переходѣ отъ паровой-зерновой системы полевого хозяйства къ болѣе экстенсивной переложной и въ сокращеніи размѣровъ крестьянской запашки на дворъ и земледѣльческаго рабочаго. Этотъ сельскохозяйственный упадокъ охватилъ районъ, который отличался раньше наибольшей населенностью и высшей культурой,—Центръ и Новгородско-Псковскую область, и проявился съ особенной силой по той причинѣ, что пространство страны было несоразмѣрно велико сравнительно съ ея населеніемъ, почему представлялась возможность широкаго развитія колонизаціи. Въ развитіи колонизаціи и слѣдуетъ видѣть основную причину сельскохозяйственнаго прогресса другихъ областей государства, сѣверныхъ, восточныхъ и южныхъ. Наряду съ этой основой, общей причиной, равномѣрно дѣйствовавшей во всѣхъ окраинныхъ областяхъ, въ каждой изъ нихъ имѣлись налицо еще спеціальныя обстоятельства, поддерживавшія поступательный ходъ развитія сельскохозяйственной промышленности и парализовавшія вредное дѣйствіе наиболѣе распространенныхъ видовъ земельного владѣнія: такими спеціальными причинами въ Степи и Прикамскомъ краѣ были хорошія климатическія и почвенныя условія, въ этихъ же областяхъ и въ сѣверныхъ, восточныхъ и южныхъ уѣздахъ Центра условія сельскохозяйственнаго обмѣна,—развитіе отпуска хлѣба, льна и продуктовъ скотоводства, въ Центрѣ и на Сѣверѣ, а также отчасти и за границу,—на Сѣверѣ сохраненіе преобладающаго значенія за чернымъ землевладѣніемъ. Упадокъ земледѣльческаго производства въ основныхъ старыхъ областяхъ государства подорвалъ силы господствовавшаго здѣсь землевладѣльческаго класса,—князей и бояръ, и тѣмъ подготовилъ побѣду московскаго самодержавія, подчиненіе боярской аристократіи государю и образованіе крѣпостнаго государства, въ которомъ основой дѣленія на сословія оказалось начало обязанности. Въ этомъ же направленіи дѣйствовало образованіе денежнаго хозяйства съ обширнымъ рынкомъ. Но тотъ же экономическій процессъ—разореніе крупныхъ и богатыхъ землевладѣльцевъ—отразился губительно и на благосостояніи крестьянства, что вызвало его задолженность землевладѣльцамъ и невозможность расплаты съ ними; въ результатѣ получилось—крѣпостное право на крестьянъ.

Развитіе экономическихъ и соціальныхъ отно- шеній въ Россіи XIX вѣка.

I.

Изъ XVIII вѣка въ XIX-й Россія перешла въ видѣ обширнаго государства, но размѣры ея территоріи, сравнительно съ таковыми же теперь, далеко не могутъ быть признаны поразительно-большими. Въ составъ имперіи въ началѣ XIX столѣтія не входили ни Финляндія, ни нынѣшнія губерніи Привислянскаго края, ни Кавказъ, ни Бессарабія, ни средняя Азія, ни Приамурскій край. Можно безъ преувеличенія сказать, что территорія нашего отечества увеличилась въ теченіе XIX вѣка на 25%. И замѣчательно, что этотъ территоріальный ростъ въ первой половинѣ истекшаго столѣтія далеко не отличался той быстротой, какая наблюдается послѣ 1850-хъ годовъ: на царствованія Александра I и Николая I приходится лишь приобрѣтеніе Финляндіи, части Польши, Бессарабіи и Грузіи,—все же остальное—дѣло болѣе поздняго времени. Если указанное расширеніе предѣловъ страны сопоставить съ ростомъ ея населенія, равнявшася въ 1796 г. лишь 36 милліонамъ, въ 1851 г. доходившаго до 69 милліоновъ, а по перенеси 1897 г. и финляндскимъ даннымъ 1896 г. достигшаго 130 милл., то станетъ яснымъ, какія широкія рамки были созданы въ XIX вѣкѣ для экономического развитія Россіи.

Чтобы уяснить себѣ механизмъ этого развитія, необходимо составить ясное и вѣрное представленіе объ относительномъ значеніи различныхъ отраслей народнаго производства въ хозяйственной жизни страны. Въ этомъ отношеніи такъ же, какъ и въ отношеніи расширенія территоріи и роста населенія, время около половины XIX столѣтія является критическимъ, знаменуетъ собою

известный переломъ, подготовлявшійся, конечно, исподволь, постепенно: до этого времени Россія переживала все еще первый періодъ въ развитіи денежнаго хозяйства, послѣ того начинается второй моментъ этого послѣдняго процесса. Въ самомъ дѣлѣ: стоитъ присмотрѣться къ относящимся сюда фактамъ, чтобы убѣдиться, что въ теченіе первой половины вѣка можно наблюдать лишь постепенное расширеніе круга товарнаго обращенія, которое, однако, успѣло захватить въ свои предѣлы *большую* часть единичныхъ хозяйствъ лишь къ пятидесятымъ или шестидесятымъ годамъ. Эти годы и должны, слѣдовательно, считаться исходнымъ хронологическимъ моментомъ второго періода въ развитіи денежнаго хозяйства, того періода, когда *большая* часть общества производитъ хозяйственныя блага для рынка, а не для собственнаго лишь потребленія. Выражая въ круглыхъ цифрахъ цѣнность русскаго вывоза за границу, можно сказать, что въ первые годы XIX вѣка онъ достигалъ 75 милліоновъ рублей въ годъ, въ первой половинѣ пятидесятихъ годовъ повысился лишь до 133 милліоновъ, во второй половинѣ тѣхъ же годовъ дошелъ уже до 230 мил., а затѣмъ пошелъ крупными шагами впередъ, такъ что въ 80-хъ и 90-хъ годахъ ежегодно вывозили уже на 630 милліоновъ рублей русскихъ товаровъ. Соотвѣтствующія цифры привоза заграничныхъ товаровъ за тѣ же хронологическіе періоды составляютъ 52, 130, 200 и 500—600 милліоновъ рублей. Важнѣйшая статья русскаго экспорта—зерновой хлѣбъ—приобрѣла первостепенное значеніе въ русской внѣшней торговлѣ лишь съ шестидесятихъ годовъ, при чемъ за послѣднія сорокъ лѣтъ истекшаго столѣтія вывозъ хлѣба увеличился въ $4\frac{1}{2}$ раза. Невозможно даже приблизительно учесть обороты внутренней торговли за истекшее столѣтіе, и потому для характеристики роста ея, ускорившагося съ половины XIX вѣка, приходится ограничиться косвенными указаніями, далеко не полный перечень которыхъ мы и сдѣлаемъ, выбирая наиболѣе рельефныя данныя. Уже развитіе суконныхъ, ситценабивныхъ и ткацкихъ фабрикъ, хронологически опередившее ростъ другихъ отраслей русской фабрично-заводской промышленности, служить вѣрнымъ показателемъ послѣдовательныхъ и постепенныхъ успѣховъ денежнаго хозяйства: фабричное сукно, ситецъ и миткаль вслѣдствіе своей дешевизны и высокаго качества вытѣсняли изъ употребленія продукты домашняго производства,—грубыя суконныя издѣлія и полотна. Это пробивало значительную брешь въ твердыню натурального хозяйства. Далѣе: дворяне-землевладѣльцы, привыкшіе прежде удовлетворять почти всѣ свои потребности трудомъ своихъ крѣпостныхъ, тѣмъ ближе къ половинѣ XIX вѣка, тѣмъ болѣе и болѣе расширяли кругъ

предметовъ потребления, приобретаемыхъ покупкой: сукна, ткани, ситцеъ, всѣ металлическія издѣлія, усовершенствованныя земледѣльческія орудія, иностранныя и южнорусскіе вина и плоды, экипажи, сбрую, мебель, чай, сахаръ, кофе,—все это стали покупать, потому что съ пониженіемъ рыночныхъ цѣнъ на эти предметы и съ ихъ качественными преимуществами надъ продуктами крѣпостного домашняго труда примѣненіе этого послѣдняго сдѣлалось невыгоднымъ. Вотъ почему хотя общее количество дворовыхъ и увеличивалось, но это увеличеніе приходилось на счетъ тѣхъ изъ нихъ, которые были заняты въ качествѣ рабочихъ въ помѣщичьихъ промышленныхъ предпріятіяхъ, работавшихъ для сбыта, между тѣмъ какъ число дворовыхъ, занятыхъ въ качествѣ личной прислуги, быстро шло на убыль; они стали непродуцательнымъ классомъ, дармоѣдами, тяготившими владѣльцевъ. Но денежное хозяйство уже въ первой половинѣ XIX вѣка проникло и въ крестьянскую среду, заставило и крѣпостныхъ земледѣльцевъ считаться съ условіями рынка. Это всего ярче отражается въ ростѣ денежнаго оброка, въ совершенномъ почти вытѣсненіи имъ оброка натурального: подобнаго явленія не могло бы быть безъ развитія денежнаго хозяйства, потому что безъ торговли крестьяне не могли бы добыть денегъ для своихъ оброчныхъ платежей. Это же сказывается и въ развитіи крестьянскихъ отхожихъ промысловъ. Наконецъ, какъ и въ XVIII вѣкѣ, можно наблюдать, какъ торговая и промышленная дѣятельность поднимаетъ надъ сѣрой крестьянской массой отдѣльныхъ предпріимчивыхъ и талантливыхъ людей, легко наживающихъ крупныя капиталы и выкупающихъ на волю. Типическимъ примѣромъ этого для XIX вѣка служитъ обогащеніе Кондратовыхъ, основавшихъ свой металлическій заводъ въ селѣ Вачѣ, Муромскаго уѣзда, въ 1831 году. Вотъ нѣкоторыя характерныя наблюденія, которые указываютъ на ростъ денежнаго хозяйства въ первой половинѣ XIX вѣка. Ограничимся двумя-тремя фактами, характеризующими позднѣйшій переходъ ко второму періоду въ развитіи денежнаго хозяйства по даннымъ о внутренней торговлѣ; коммерческая техника постепенно преобразуется, старинная ярмарочная система падаетъ: уже съ 60-хъ годовъ наблюдается упадокъ крупныхъ оптовыхъ ярмарокъ и разложеніе ихъ на мелкіе торжки; особенной интенсивности это явленіе достигаетъ съ 80-хъ годовъ. Параллельно этому быстро растутъ акціонерныя предпріятія: въ теченіе 90-хъ годовъ число ихъ увеличилось вшестеро, соответственно возросли и вложенныя въ нихъ капиталы. Въ настоящее время въ Россіи считается до 400 тысячъ торговыхъ предпріятій съ оборотомъ болѣе 20 мил-

лиардовъ рублей въ годъ. Совершившееся на нашихъ глазахъ введеніе золотой денежной единицы и свободного размѣна кредитныхъ билетовъ на золото служить также однимъ изъ наиболѣе яркихъ признаковъ торжества денежно-хозяйственной системы въ массѣ населенія.

Обрисовавъ въ общихъ чертахъ процессъ развитія денежнаго хозяйства въ Россіи XIX вѣка, мы тѣмъ самымъ становимся на твердую почву при рѣшеніи вопроса о той перспективѣ, въ какой слѣдуетъ расположить за это время остальные отрасли народнаго производства—добывающую промышленность, сельское хозяйство и промышленность обрабатывающую. Сейчас мы отмѣтимъ вкратцѣ только ихъ относительное значеніе, оставляя пока въ сторонѣ ихъ технику и формы: о той и другихъ рѣчь впереди. Медленность развитія денежнаго хозяйства въ первой половинѣ столѣтія служитъ очевиднымъ признакомъ того, что въ это время взаимныя отношенія разныхъ отраслей промышленности не потерпѣли еще существенныхъ, коренныхъ измѣненій, остались въ общихъ основаніяхъ прежними. Земледѣліе продолжало еще играть доминирующую роль въ народномъ производствѣ,—по крайней мѣрѣ на большей части территоріи страны. Впрочемъ, уже въ это время намѣчается въ главныхъ чертахъ основное экономическое различіе между южной, почти исключительно земледѣльческой и средней и сѣверной неземледѣльческой Россіей, при чемъ неземледѣльческіе районы различались въ свою очередь между собою тѣмъ, что тогда какъ въ центрѣ страны все болѣе и болѣе выдвигалась на первый планъ обрабатывающая промышленность,—на сѣверѣ преобладала промышленность добывающая,—охота, рыболовство, отчасти также скотоводство. То, что въ первую половину столѣтія едва намѣчалось, оказывается рѣзко выраженнымъ во вторую его половину: обрабатывающая промышленность быстро пошла впередъ особенно въ центрѣ и на крайнемъ западѣ Россіи; земледѣліе сохранило свое значеніе по преимуществу на югѣ и распространилось въ различной степени по вновь завоеваннымъ областямъ, которыя первоначально служили ареной первобытной эксплуатаціи даровыхъ силъ природы. Изъ всѣхъ этихъ явленій заслуживаютъ особаго вниманія два—ростъ обрабатывающей промышленности и развитіе болѣе сложныхъ отраслей добывающей промышленности. Вотъ нѣсколько наблюдений, характеризующихъ оба явленія. Въ первой половинѣ XIX вѣка изъ всѣхъ фабричныхъ производствъ важнѣйшимъ было хлопчатобумажное, сильный прогрессъ котораго характеризуется тѣмъ фактомъ, что за пятьдесятъ лѣтъ количество перерабатывавшагося въ Россіи хлопка

возросло въ 16 разъ. Нѣсколько слабѣе, но все-таки довольно значительно развивалось и суконное производство: въ 1850 г. считалось уже 492 суконныхъ фабрики. Въ сороковыхъ годахъ пышнымъ цвѣтомъ распускается кустарная промышленность: къ этому именно времени относится процвѣтаніе извѣстныхъ теперь кустарныхъ центровъ — Павлова, Ворсмы, Иваново-Вознесенска, Кимръ и т. д. Несравненно быстрѣе шло развитіе обрабатывающей промышленности во второй половинѣ XIX столѣтія; можно сказать при этомъ, что оно двигалось равномерно-ускорительно по мѣрѣ приближенія къ концу вѣка: такъ техническія средства хлопчато-бумажнаго производства увеличились за послѣднія 50 лѣтъ въ 20 разъ, цѣнность годового продукта въ этой отрасли промышленности доходить въ настоящее время до 430 милліоновъ рублей; годовой оборотъ шерстяного производства простирается до 150 мил. рублей; тогда какъ въ пятидесятыхъ годахъ годовая производительность въ металлической промышленности едва достигала 2 мил. руб., — въ концѣ вѣка она равнялась уже 142 мил. руб., т. е. увеличилась въ 71 разъ. Послѣднія цифры, касающіяся обработки металловъ, указываютъ какъ разъ и на ту новую отрасль, которая, благодаря новымъ экономическимъ условіямъ — развитію денежнаго хозяйства и обрабатывающей промышленности — привилась и развилась въ сферѣ промышленности добывающей: эта отрасль — горное дѣло, сдѣлавшее гигантскіе успѣхи во второй половинѣ столѣтія; фундаментъ для такихъ успѣховъ заложенъ былъ уже отчасти и въ первой половинѣ вѣка, за которую выплавка чугуна возросла вдвое — съ 8 до 16 милліоновъ пудовъ.

II.

Таково было въ общихъ чертахъ взаимное отношеніе разныхъ отраслей народнаго производства въ Россіи XIX вѣка. Этимъ отношеніемъ, равно какъ и ростомъ населенія и расширеніемъ территоріи, опредѣляется въ своихъ основныхъ чертахъ производственная *техника*, въ которой за изучаемый періодъ наблюдаются чрезвычайно-существенныя и очень интересныя перемѣны.

Начнемъ съ техники земледѣлія. На рубежѣ XVIII и XIX столѣтій русское земледѣліе даже въ издавна заселенныхъ, старинныхъ областяхъ страны представляло собою обширное поле безраздѣльнаго, исключительнаго примѣненія трехпольной системы. При этомъ не мало было такихъ мѣстностей, гдѣ трехполье существовало еще въ крайне несовершенномъ, можно сказать

зачаточномъ видѣ: дѣло въ томъ, что настоящей, развитой трехпольной (точнѣе: паровой—зерновой) системой полевого хозяйства считается такая, когда ежегодно лишь треть годной для распашки земли остается подъ паромъ и удобряется навозомъ, а другія двѣ трети засѣваются наполовину озимью и наполовину яровымъ хлѣбомъ; но уже тогда, когда ежегодно остается безъ обработки половина всей пахотной земли, мы наблюдаемъ трехпольную систему въ зачаточномъ состояніи, потому что при такихъ условіяхъ залежь уже не долго остается безъ распашки, не можетъ возстановить свои производительныя силы естественнымъ путемъ отдыха, безъ удобрения и слѣдовательно превращается уже въ паръ. Между половиной и третью всей пахотной площади, остающейся безъ обработки, существуетъ въ дѣйствительности цѣлый рядъ послѣдовательныхъ градацій, и степенью близости размѣровъ парового поля къ одному изъ двухъ указанныхъ крайнихъ предѣловъ опредѣляется и степень развитія трехпольной системы земледѣлія. Въ началѣ XIX вѣка недоразвитое трехпольное хозяйство господствовало еще на довольно значительной территоріи. Это можно было сказать въ 20-хъ годахъ отчасти даже о такихъ губерніяхъ, какъ Калужская. Обширныя восточныя и южныя окраины Европейской Россіи и всѣ азіатскія владѣнія въ то же время и долго еще позднѣе оставались широкой ареной первобытнаго переложнаго земледѣлія. Исторія техники русскаго полевого хозяйства въ XIX вѣкѣ сводится къ изображенію процесса развитія зачаточныхъ стадій трехполя въ чистую его форму, перехода отъ переложной системы къ трехпольной и, наконецъ появленія еще болѣе интенсивной, чѣмъ трехпольная, плодосмѣнной системы земледѣлія, основанной на уничтоженіи пара, замѣнѣ его посѣвомъ утучняющимъ почву травъ (клевера, вики) и смѣнѣ зерновыхъ хлѣбовъ корнеплодами, при чемъ находятъ себѣ обширное приложеніе различные виды искусственнаго удобрения (туки, фосфориты и пр.). Уже въ 30-хъ, 40-хъ и 50-хъ годахъ нѣкоторые дворяне—землевладельцы, какъ, напримѣръ, калужскій Полторацкій, тверскіе Шелековъ и Воробьевъ, отчасти также рязанскій Семеновъ, сдѣлали смѣлыя и въ общемъ удачныя попытки привить плодосмѣнъ. Послѣднія 50 лѣтъ принесли, конечно, въ этомъ отношеніи гораздо болѣе крупныя успѣхи, такъ что въ настоящее время плодосмѣнная система—не рѣдкость въ такихъ областяхъ, какъ московская промышленная, центральная земледѣльческая, Бѣлоруссія, Литва, Юго-западный край, Малороссія, не говоря уже о Привислинѣ и прибалтійскихъ губерніяхъ, при чемъ замѣчательно, что она прививается не только на владѣльческихъ,

но и на крестьянскихъ земляхъ, тогда какъ раньше, до паденія крѣпостного права, ее практиковали лишь владѣльцы, эксплуатировавшіе на себя (считая въ томъ числѣ и большинство, державшееся рутины) отъ 20 до 54⁰/₁₀₀ всей пахотной земли. Параллельно распространенію болѣе интенсивныхъ системъ земледѣлія шли и другіе процессы, указывавшіе на прогрессъ техники полевого хозяйства: увеличивалась площадь запашекъ, вводились улучшенныя земледѣльческія орудія и машины, разводились такія растенія, которыя знаменуютъ собою уже переходъ къ промышленному земледѣльческому хозяйству, рассчитанному на переработку продукта въ другой видъ съ цѣлью болѣе выгоднаго сбыта: такъ стали въ значительномъ количествѣ сѣять свекловицу. И опять-таки выступаетъ на первый планъ тотъ фактъ что съ 60-хъ годовъ всѣ эти процессы совершаются ускореннымъ темпомъ.

Переходя къ техникѣ обрабатывающей промышленности, мы должны различать городское ремесло и кустарную промышленность въ ея различныхъ видахъ отъ фабрично-заводскаго производства: оставляя пока въ сторонѣ вопросъ объ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ и борьбѣ, мы отмѣтимъ сейчасъ лишь основныя различія между ними въ техникѣ. Городское ремесло, какъ мелкое производство, доступно техническому совершенствованію въ ограниченныхъ предѣлахъ. Въ кустарномъ производствѣ надо различать три главныхъ формы—домашнюю, мелкіе кустарные промыслы, рассчитанныя на небольшой мѣстный рынокъ, и товарно-кустарное производство, имѣющее въ виду обширный сбытъ, работающее иногда даже на мировой рынокъ. Домашняя промышленность для собственнаго потребленія производителя совершенно примитивна по своей техникѣ и обречена оставаться таковой по самой своей экономической природѣ, она постепенно вымираетъ, подавляемая другими формами обрабатывающей промышленности, и въ этомъ заключается первое указаніе на техническій прогрессъ въ данной сферѣ производства въ XIX вѣкѣ. Мелкіе кустарные промыслы, экономически родственные городскому ремеслу, такъ же, какъ и послѣднее, мало податливы въ отношеніи технического прогресса. Степень этой податливости нѣсколько больше только въ товарно-кустарномъ производствѣ, но и здѣсь техника можетъ совершенствоваться лишь до тѣхъ поръ, пока возможенъ ручной трудъ и примѣненіе самыхъ простыхъ машинъ, потому что производство остается мелкимъ, а капиталистически организуется только сбытъ. Нельзя, конечно, отрицать, что техника товарно-кустарнаго производства сдѣлала крупныя успѣхи въ теченіе прошлаго столѣтія, но едва ли будетъ

ошибкой утверждение, что въ большинствѣ случаевъ въ этомъ отношеніи уже достигнутъ конечный предѣлъ и лишь въ нѣкоторыхъ производствахъ, допускающихъ развитіе личнаго эстетическаго вкуса въ производителѣ или требующихъ искусной ручной работы, открывается еще неширокая перспектива дальнѣйшаго техническаго развитія. Тамъ, гдѣ машина находитъ себя обширное поле приложенія, она неуклонно подавляетъ кустарные промыслы и выдвигаетъ на первый планъ фабричную технику. Уже въ сороковыхъ годахъ технической уровень русскаго хлопчатобумажнаго фабричнаго производства былъ высокъ, а въ настоящее время онъ не ниже, чѣмъ въ любой изъ передовыхъ европейскихъ странъ. Крупные и быстрые успѣхи въ техникѣ другихъ фабричныхъ производствъ—плодъ болѣе поздняго времени, начиная съ 60-хъ годовъ, особенно съ 70-хъ (напр., въ шелковомъ производствѣ, сахаровареніи, шерстяномъ, стеклянномъ дѣлѣ и пр.).

Мы упоминали уже выше о постепенной утратѣ торговлей прежняго архаическаго ярмарочно-караваннаго характера, при чемъ происходила замѣна старыхъ мѣновыхъ приѣмовъ кредитными операціями, развитіемъ комиссіонерства и проч. Поэтому, чтобы закончить рѣчь о быстромъ техническомъ прогрессѣ Россіи во второй половинѣ истекшаго столѣтія, остается указать лишь на перемены, обнаружившіяся въ этомъ направленіи въ сферѣ добывающей промышленности. Типическими являются здѣсь измѣненія въ техникѣ горнаго дѣла и пчеловодства: примѣненіе машинъ въ горнозаводской промышленности быстро увеличилось, а пчеловодство, упавшее было, благодаря распашкѣ луговъ и истребленію лѣсовъ, снова оживило въ послѣднее время, вслѣдствіе распространенія пасѣчной системы.

III.

Состояніе промышленной техники оказываетъ могущественное вліяніе на *формы* хозяйственныхъ предприятий. Мы становимся здѣсь лицомъ къ лицу съ важнѣйшей переменною въ социальныхъ отношеніяхъ совершившейся въ XIX вѣкѣ,—съ паденіемъ крепостнаго права въ Россіи. Внешняя исторія крестьянской реформы въ Россіи, вкратцѣ говоря, сводится къ слѣдующему ряду фактовъ. Раньше всего—законодательными актами 1804 и 1819 годовъ—совершенно было освобожденіе прибалтійскихъ крестьянъ, не сопровождавшееся надѣленіемъ ихъ землею. Для великорусскихъ, малорусскихъ и бѣлорусскихъ крестьянъ первая половина столѣтія ознаменовалась лишь мало-дѣйствительными мѣрами 1803 и 1842 годовъ: законъ о свободныхъ хлѣбопашцахъ, издан-

ный въ 1803 году и разрѣшившій освобожденіе крестьянъ отдѣльными помѣщиками за деньги или даромъ, но непременно съ землей, привелъ къ уничтоженію крѣпостныхъ путей всего для 112 тысячъ душъ мужс. пола; указъ объ обязанныхъ крестьянахъ 1842 года, установившій личную свободу крестьянъ и пользованіе помѣщичьей землей на извѣстныхъ условіяхъ, отразился на судьбѣ гораздо меньшаго числа крѣпостныхъ,—всего 45 тыс. душъ мужс. пола. Если къ этому прибавить совершенно ничтожный по своимъ дѣйствіямъ законъ 8 ноября 1847 года, позволившій крѣпостнымъ выкупаться на волю при продажѣ имѣній съ аукціона, и мѣры къ регулрованію взаимныхъ отношеній крестьянъ и помѣщиковъ въ Западномъ краѣ, принимавшіяся правительствомъ въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, то мы исчерпаемъ все, что было сдѣлано въ первой половинѣ вѣка для уничтоженія крѣпостного состоянія. Значитъ, въ области формъ производства время до 60-хъ годовъ принесло такъ же мало новаго, по крайней мѣрѣ поскольку это выразилось въ законодательствѣ, какъ и въ отношеніи расширенія территоріи; роста населенія, значенія отдѣльныхъ отраслей производства и хозяйственной техники. Великій освободительный актъ 19 февраля 1861 года отмѣтилъ яркимъ свѣтомъ вторую половину XIX столѣтія, внеся въ хозяйственную жизнь и социальныя отношенія новое, широко примѣненное къ дѣйствительности начало юридической свободы личности. Мы должны теперь въ немногихъ словахъ намѣтить экономическую подкладку крестьянской реформы 19 февраля, выяснить тѣ хозяйственныя условія, отраженіемъ которыхъ она была.

Ключа для разрѣшенія вопроса слѣдуетъ искать въ развитіи хозяйственной техники и въ перемѣнахъ относительнаго значенія разныхъ отраслей производства. Прежде всего выступаютъ на видъ развитіе обрабатывающей, фабрично-заводской промышленности и подъемъ ея технического уровня. Эти процессы оказали могучее вліяніе на крѣпостныя хозяйственныя и юридическія отношенія, сильно колебля и въ конецъ разрушая ихъ. Видимымъ отраженіемъ этого была смѣна классовъ, державшихъ въ своихъ рукахъ обрабатывающую промышленность. Въ концѣ XVIII столѣтія почти всѣ фабрики были собственностью дворянъ-землевладѣльцевъ. Дворянская фабрика Екатерининскаго времени постоянно разлагается уже въ первой половинѣ XIX вѣка: въ 30-хъ годахъ дворянскія фабрики составляли всего уже только 15% общаго числа фабрикъ, а въ 40-хъ годахъ процентъ ихъ понизился до 5-ти. Помѣщичья фабрика распадалась на кустарныя промыслы, изъ которыхъ въ свою очередь образовалась

крестьянская фабрика, преобладавшая въ 40-хъ и 50-хъ годахъ. За этой смѣной руководившихъ фабричной промышленностью классовъ скрывается и перемѣна въ самомъ характерѣ фабричнаго труда. Въ купеческой и вотчинной—дворянской фабрикахъ XVIII вѣка и начала XIX очень видную роль играли несвободный трудъ—крѣпостныхъ крестьянъ у дворянства и такъ называемыхъ посессионныхъ крестьянъ у купечества. Петръ Великій, поощряя основаніе фабрикъ купечествомъ, вынужденъ былъ экономическими условіями времени—трудностью найти вольнонаемныхъ рабочихъ за малочисленностью свободного крестьянскаго населенія — разрѣшить фабрикантамъ не дворянамъ покупать крестьянъ къ фабрикамъ съ обязательствомъ, чтобы они оставались навсегда приписанными къ послѣднимъ, а не оставались личной собственностью владѣльцевъ. Такіе приписанные, прикрѣпленные къ фабрикамъ, несвободные рабочіе впоследствии получили названіе посессионныхъ. Крестьяне-фабриканты могли, какъ и купцы, пользоваться трудомъ не крѣпостныхъ, а посессионныхъ рабочихъ. Но въ XIX вѣкѣ, подъ влияніемъ роста денежнаго хозяйства, вызвавшаго увеличеніе спроса на продукты обрабатывающей промышленности и принудившаго фабрикантовъ позаботиться о большей производительности фабричнаго труда и о повышеніи качества фабрикатовъ, малопроизводительный вслѣдствіе своего принудительнаго характера несвободный трудъ сталъ замѣняться болѣе плодотворнымъ вольнонаемнымъ. Фабриканты стали предпочитать свободныхъ рабочихъ, такъ что въ 1816 г. Александръ I навсегда запретилъ покупку крестьянъ къ фабрикамъ, а въ 1825 году уже 54% всѣхъ фабричныхъ рабочихъ работали по вольному найму. Съ паденіемъ дворянской фабрики, число крѣпостныхъ быстро сокращается. Въ 30-хъ годахъ фабриканты громко жалуются министру финансовъ на невыгодность посессионнаго труда. Подъ влияніемъ этого въ 1840 году былъ изданъ законъ, по которому фабриканты получили право освобождать своихъ посессионныхъ рабочихъ за деньги или бесплатно. До какой степени этотъ законъ соответствовалъ вполнѣ назрѣвшей потребности, видно изъ того, что имъ очень скоро воспользовались 103 фабрики: болѣе половины посессионныхъ фабрикъ перешли такимъ образомъ, по желанію владѣльцевъ, къ вольнонаемному труду. Итакъ, торжество крестьянской фабрики въ половинѣ XIX вѣка ознаменовалось преобладаніемъ вольнонаемнаго труда въ обрабатывающей промышленности, а это послѣднее явленіе, вызывая усиленный спросъ на свободныхъ рабочихъ, неизбѣжно выдвигало вопросъ о необходимости освободить крестьянское населеніе отъ крѣпостной зависимости. Мы видимъ, слѣ-

довательно, что развитие денежного хозяйства и неизбежный результат его—ростъ фабричной промышленности съ наемнымъ свободнымъ трудомъ—подрывали крѣпостное право въ его основаніяхъ и выставляли крестьянскую реформу въ качествѣ требованія, совершенно необходимаго въ интересахъ національно-хозяйственнаго развитія Россіи. Такова первая экономическая причина паденія крѣпостного права въ Россіи: ее мы нашли такимъ образомъ въ процессѣ развитія обрабатывающей промышленности.

Соотвѣтствующіе выводы получаются и при изученіи процесса развитія земледѣльческаго производства. И здѣсь перемѣны въ техникахъ—переходъ къ настоящему, развитому трехполью и зарожденіе плодосмѣны—подготовили торжество свободного труда надъ крѣпостнымъ. Здѣсь фактомъ первостепенной важности является то обстоятельство, что въ большей части территоріи страны къ половинѣ XIX вѣка количество барщинныхъ крестьянъ не только не увеличивается, но даже нѣсколько—иногда очень значительно—уменьшается сравнительно съ тѣмъ, что было въ XVIII столѣтіи. Такъ, напримѣръ, во Владимирской губерніи въ XVIII в. 50% помѣщичьихъ крестьянъ сидѣло на барщинѣ, а въ половинѣ XIX столѣтія процентъ барщинныхъ крестьянъ понизился до 30; въ Ярославской губ. замѣчается за тотъ же промежутокъ времени пониженіе процента издѣльнаго крестьянства съ 22 до 12,6; въ Московской—съ 64-хъ до 32-хъ; даже въ такой черноземной губерніи, какъ Курская, на барщинѣ въ половинѣ XIX в. сидѣло уже только 75,5% владѣльческихъ крестьянъ, тогда какъ въ XVIII столѣтіи издѣльныхъ крестьянъ было 92%. Правда, въ большинствѣ черноземныхъ губерній замѣчается обратное явленіе—ростъ барщины, вслѣдствіе увеличенія барской запашки, выгодной благодаря развитію хлѣбной торговли, но замѣчательно, что, несмотря на это, и въ черноземномъ районѣ совершалось общее сокращеніе крестьянскаго издѣлья, не говоря уже о средней нечерноземной Россіи, гдѣ исключеніемъ являются губерніи съ ростомъ барщины, въ большинствѣ же случаевъ, какъ мы только что видѣли, послѣдняя быстро сокращается, и доминирующаго значенія достигаетъ оброкъ. Конечно, отчасти это объясняется ростомъ обрабатывающей фабричной промышленности, такъ какъ этотъ ростъ дѣлать болѣе выгоднымъ для помѣщика увольненіе крестьянъ на заработки за оброкъ, нежели оставленіе ихъ на земледѣльческой барщинѣ. Но приведенныя цифры, несмотря на такую оговорку, все-таки доказываютъ, что барщина не развивалась, даже пошла на убыль; слѣдовательно, золотая пора крѣпостного сельскаго хозяйства безвозвратно миновала. Къ тому же черноземныя гу-

берніи давно уже пользовались и вольнонаемнымъ трудомъ. Замѣчательно, что еще въ началѣ сороковыхъ годовъ многіе дворяне-землевладѣльцы заявляли чиновникамъ министерства государственныхъ имуществъ, что считаютъ вольнонаемный земледѣльческій трудъ болѣе выгоднымъ для себя, чѣмъ крѣпостной, и доказывали это точными цифровыми выкладками и расчетами. На первый взглядъ это кажется страннымъ: вѣдь крѣпостной трудъ — даровой, во всякомъ случаѣ онъ обходится дешевле вольнонаемнаго. Это вѣрно, но не надо забывать, что денежное сельское хозяйство, дорогія усовершенствованныя орудія, интенсивная система полеводства, затраты на искусственное удобреніе, на лучшей рабочей скотъ и т. д. повышали требованія на количество продукта, дѣлали обязательнымъ увеличеніе производительности труда въ земледѣліи; между тѣмъ барщинный, подневольный трудъ отличается всегда, какъ извѣстно, чрезвычайно слабой производительностью: работая неохотно, поневолѣ, въ пользу другого, безъ всякой для себя выгоды, барщинный крестьянинъ исполняетъ свое дѣло такъ плохо, какъ только можно при надзорѣ за нимъ со стороны вотчинной администраціи; поэтому и земля подъ барской пашней не окупаетъ своимъ скуднымъ урожаемъ повышенныхъ благодаря усовершенствованіямъ расходовъ. Остается одно средство для повышенія дохода, — употребленіе вольнонаемнаго труда, а для его широкаго примѣненія необходима отмѣна крѣпостнаго права. Конечно, масса помѣщиковъ-рутинеровъ плохо понимала это и слѣпо противилась реформѣ въ силу своей косности и неспособности примѣниться къ новымъ условіямъ, но лучшая часть помѣстнаго дворянства хорошо сознавала потребности времени и ихъ необходимую связь съ интересами рациональнаго сельскаго хозяйства: это — помимо отмѣченныхъ выше заявленій отдѣльныхъ дворянъ 40-хъ годовъ чиновникамъ министерства государственныхъ имуществъ — доказывается еще коллективными ходатайствами дворянства въ Николаевское время объ освобожденіи крестьянъ и улучшеніи ихъ быта: таковы — проектъ тульскихъ дворянъ, совѣщанія въ Смоленской, Тверской, Рязанской, Петербургской губерніяхъ и проч.

Итакъ, вторую экономическую причину крестьянской реформы 19 февраля 1861 года можно формулировать слѣдующимъ образомъ: денежное хозяйство въ своемъ развитіи привело къ техническимъ усовершенствованіямъ въ земледѣліи, а эти усовершенствованія сдѣлали невыгоднымъ крѣпостной трудъ и вызвали его замѣну трудомъ вольнонаемнымъ; замѣна же крѣпостнаго труда вольнонаемнымъ и означала какъ разъ уничтоженіе крѣпостнаго права.

Въ конечномъ счетѣ такимъ образомъ крѣпостное право пало вслѣдствіе развитія денежнаго хозяйства въ Россіи, могуще-ственно повліявшаго на технику обрабатывающей промышленности и сельскаго хозяйства, а черезъ посредство техники и на формы производства.

IV.

Паденіе крѣпостного права повело къ пережѣнамъ въ трехъ отношеніяхъ,—во-первыхъ, въ землевладѣніи, во-вторыхъ, въ распредѣленіи и значеніи движимаго капитала, въ третьихъ, въ положеніи и правахъ труда или, что то же, личности человѣка. Наше изложеніе приводитъ насъ такимъ образомъ къ необходимости рассмотретьъ вторую половину поставленной въ заглавіи статьи темы: отъ изученія экономическихъ отношеній мы должны перейти къ сжатому изображенію *развитія отношеній социальныхъ*.

Землевладѣніе—это та сфера общественныхъ отношеній, которая является промежуточнымъ звеномъ, соединяющимъ экономическій бытъ съ социальнымъ строемъ: землевладѣльческіе порядки, съ одной стороны, указываютъ на характеръ господствующей хозяйственной системы, на степень преобладанія денежнаго хозяйства, съ другой — характеризуютъ юридическое отношеніе лица къ землѣ, относительное значеніе въ обществѣ двухъ принциповъ социальнаго дѣленія, — сословнаго, основаннаго на юридическихъ признакахъ (правахъ и обязанностяхъ), и классового, исходящаго изъ признаковъ экономическихъ. Пока въ обществѣ почти безраздѣльно господствуютъ начала натурального, безобмѣннаго хозяйства, до тѣхъ поръ преобладающими формами землевладѣнія остаются несвободныя, какими въ русской исторіи были помѣстье и монастырская вотчина. Но безраздѣльное господство натурального хозяйства миновало въ Россіи уже въ половинѣ XVI вѣка, и съ тѣхъ поръ началось разрушеніе несвободныхъ землевладѣльческихъ формъ, завершившееся въ XVIII столѣтіи сляніемъ помѣстій съ вотчинами въ одинъ видъ дворянской недвижимой собственности и секуляризацией монастырскихъ земель государствомъ. Такимъ образомъ XVIII вѣкъ завѣщаль XIX-му въ наслѣдство начало полной свободной земельной собственности. Но не слѣдуетъ думать, что это начало было въ то время безусловнымъ, что земля была вполнѣ свободной: напротивъ, такъ какъ денежное хозяйство переживало еще только первый періодъ своего развитія, едва завершившійся въ половинѣ XIX вѣка, то и свобода земельной собственности была сильно ограничена; лица *всѣхъ* сословій могли владѣть землей лишь въ

томъ случаѣ, если она не была населена, населенной же землей имѣли право владѣть одни только дворяне: это было необходимымъ юридическимъ послѣдствіемъ крѣпостного права, такъ какъ имѣть крѣпостныхъ могли одни только лица дворянскаго сословія. Не надо кромѣ того забывать, что крѣпостные крестьяне владѣли землей лишь попущеніемъ своихъ владѣльцевъ: договоры на приобрѣтеніе ими земли обыкновенно совершались на имя дворянина-владѣльца. Крестьянская реформа 19 февраля 1861 года—этотъ видимый признакъ перехода денежнаго хозяйства во второй періодъ развитія—уничтожила указанныя стѣсненія, сдѣлавъ право полной свободной поземельной собственности достояніемъ всѣхъ сословій русскаго народа. Этимъ нанесенъ былъ смертельный ударъ одному изъ устоевъ *сословнаго* строя: право, принадлежавшее прежде исключительно *одному сословію*, сдѣлалось доступнымъ для каждаго члена русскаго общества, лишь бы у него оказались необходимыя матеріальныя средства для практическаго осуществленія этого права. Слѣдовательно, экономическій принципъ подавилъ старое сословное начало, *классъ* отодвинулъ на второй планъ *сословіе*. Описанная перемѣна отразилась и на дѣйствительномъ распредѣленіи земли: значительная доля послѣдней перешла и продолжаетъ переходить отъ дворянъ къ крестьянамъ и городскому населенію (купечеству, мѣщанству) путемъ выкупной операціи (для крестьянъ), продажи, залога и пр. (для всѣхъ сословій). Но и второй періодъ развитія денежнаго хозяйства не является еще временемъ полного и безраздѣльнаго торжества послѣдняго: оно, правда, преобладаетъ уже въ странѣ, но не захватило еще *всей* массы населенія, и тѣ, кто захваченъ денежнымъ оборотомъ, втянуты въ него очень часто не цѣликомъ, не посвящаютъ всего своего времени работѣ исключительно для сбыта, для рынка. Такое исключительное и повсемѣстное господство *товарнаго* производства—дѣло будущаго, перспектива, открывающаяся для экономическаго развитія Россіи въ XX столѣтіи, когда наступитъ третій періодъ въ развитіи денежнаго хозяйства. Поэтому и истекшее столѣтіе не передало въ наслѣдство наступающему вѣку вполне свободной земельной собственности: болѣе трети земли въ Европейской Россіи до сихъ поръ остается въ крестьянскомъ мірскомъ или общинномъ владѣніи, исключаящемъ по закону возможность свободнаго гражданскаго оборота съ мірской надѣльной землей, которая не подлежитъ отчужденію. Сила новыхъ хозяйственныхъ условій, парализуемыхъ только неполнымъ ихъ господствомъ и такими временными условіями, какъ земледѣльческій кризисъ, какъ бы возвращающій, по крайней мѣрѣ отчасти, страну къ натурально-хозяйственному быту, сказывается

однако мѣстами и на общинномъ крестьянскомъ землевладѣніи: потребность въ свободномъ оборотѣ земли заставляетъ обходить законъ и сдавать надѣлы въ долгосрочную аренду за небольшую сумму, уплачиваемую одновременно или погодно; въ сущности это—замаскированная продажа.

Уже эти случаи замаскированной продажи своихъ надѣловъ крестьянами-общинниками указываютъ на другую—кромѣ свободы земли—великую потребность, созданную, или, по крайней мѣрѣ, развитую крестьянской реформой 19 февраля,—потребность *свободы капитала*, выразившуюся въ быстрой его мобилизаціи, въ переходѣ изъ однихъ рукъ въ другія. Развитие поземельнаго кредита, ипотеки, служатъ вторымъ признакомъ этой потребности. Уже въ первую половину XIX вѣка, благодаря развитію денежнаго хозяйства, повысившаго спросъ на денежный капиталъ, дворянское землевладѣніе, въ то время господствовавшее, было обременено въ значительной мѣрѣ долговыми обязательствами, такъ что на погашеніе послѣднихъ пошла значительная доля суммы, полученной дворянствомъ въ вознагражденіе за надѣленіе землей крестьянъ при выкупной операціи. Послѣ паденія крѣпостнаго права задолженность русскаго частнаго землевладѣнія, параллельно развитію денежнаго хозяйства, пошла впередъ быстрыми шагами. Въ значительной мѣрѣ этотъ ростъ задолженности землевладѣнія объясняется, конечно, ликвидаціей тѣхъ хозяйствъ, которыя оказались неприспособленными къ новымъ экономическимъ условіямъ—такая коренная перемѣна, какъ уничтоженіе крѣпостныхъ отношеній, не могла не отозваться болѣзненно на отсталыхъ, рутинныхъ хозяйствахъ; съ другой стороны, здѣсь повліялъ и земледѣльческій кризисъ, упадокъ хлѣбныхъ цѣнъ. Но на ряду съ этимъ видную роль въ процессѣ увеличенія задолженности землевладѣнія сыграла потребность въ капиталѣ съ цѣлью усовершенствованія приемовъ земледѣльческаго производства, такъ что ростъ ипотеки не всегда указываетъ на регрессивныя явленія въ землевладѣніи и земледѣліи, но также свидѣтельствуетъ о свободномъ перемѣщеніи капиталовъ изъ однихъ рукъ въ другія съ производительными цѣлями.

Наконецъ, такіе общеизвѣстные факты, какъ развитіе кредита, банковъ, биржи, ростъ капиталовъ, сосредоточивающихся въ сберегательныхъ кассахъ, являются также свидѣтельствомъ въ пользу того общаго явленія, что денежные капиталы во второй половинѣ столѣтія стали свободнѣе и быстрѣе, чѣмъ раньше, переливаться изъ одной сферы народнаго производства въ другую, изъ рукъ одного сословія въ руки другихъ.

V.

Намъ остается дать краткій отвѣтъ на вопросъ о томъ, какъ и насколько увеличилась *свобода личности* во второй половинѣ XIX вѣка подъ вліяніемъ изложенныхъ выше хозяйственныхъ условій. При этомъ надо имѣть въ виду сферу *собственно-личныхъ правъ* и сферу *правъ корпоративныхъ*. Говоря вообще, и въ томъ и въ другомъ отношеніи существуютъ до сихъ поръ значительныя различія между отдѣльными сословіями русскаго народа, такъ что, во-первыхъ, нельзя говорить о полной замѣнѣ сословнаго начала классовымъ, можно лишь отмѣтить нѣкоторое усиленіе послѣдняго въ ущербъ первому; во-вторыхъ, не можетъ быть рѣчи о полномъ, неограниченномъ господствѣ начала гражданской свободы личности. Этотъ выводъ, который будетъ подтвержденъ послѣдующимъ изложеніемъ, вполне соотвѣтствуетъ отмѣченному уже выше недоразвитому состоянію денежнаго хозяйства въ Россіи XIX столѣтія.

Въ первой половинѣ XIX вѣка въ значительной мѣрѣ сохранились еще остатки стараго крѣпостнаго, основаннаго не на правахъ, а на обязанностяхъ сословнаго строя, нѣкогда безраздѣльно господствовавшато въ нашемъ отечествѣ. Не говоря уже о крестьянскомъ сословіи, сохранявшемъ до самой реформы 1861 года въ главной своей массѣ крѣпостной, несвободный характеръ, лишенномъ въ сущности всякихъ личныхъ и корпоративныхъ правъ, и имѣвшимъ однѣ только обязанности, даже дворянство и городское сословіе (купечество и мѣщанство) въ юридическомъ отношеніи носили на себѣ печать далекой старины. Къ числу личныхъ правъ дворянина, торжественно провозглашенныхъ жалованной грамотой дворянству, данной Екатериною II въ 1785 году, принадлежала, на примѣръ, свобода отъ тѣлесныхъ наказаній. Это право на дѣлѣ въ теченіе не только XVIII, но и первой половины XIX в., вплоть до общаго уничтоженія тѣлесныхъ наказаній при императорѣ Александрѣ II въ 1863 году, оставалось фикціей, а тѣлесныя наказанія за уголовныя преступленія были даже прямо возстановлены для дворянъ при императорѣ Павлѣ. Затѣмъ, согласно той же жалованной грамотѣ и обычаямъ, господствовавшимъ въ XVIII столѣтіи, въ теченіе всей первой половины XIX вѣка дворянамъ запрещалась торговая дѣятельность: въ такомъ запрещеніи нельзя не видѣть очевиднаго остатка тѣхъ временъ, когда правительство само формировало отдѣльныя сословія, прибирало въ нихъ новыхъ членовъ и строго запрещало переходъ изъ одного сословія въ другое. Вторая половина истек-

шаго столѣтія и здѣсь принесла замѣну старыхъ сословныхъ и притомъ крѣпостныхъ порядковъ новымъ классовымъ и свободнымъ принципомъ. Далѣе: манифестъ Петра III 18 февраля 1762 года и жалованная грамота 1785 г. провозгласили свободу дворянства отъ обязательной службы. Великое *принципіальное* значеніе этого факта въ исторіи русскаго права не подлежитъ сомнѣнію: начало обязанности, на которомъ прежде покоился весь социальный строй, было поколеблено по отношенію къ одному сословію; въ этомъ смыслѣ освобожденіе дворянства отъ обязательной службы было предвѣстникомъ реформы 19 февраля 1861 года. Но начало обязанности въ организаціи дворянскаго сословія было поколеблено лишь *въ принципѣ*, теоретически; на практикѣ, въ дѣйствительности дворянство продолжало нести обязательную службу, только не военную, какъ прежде, а гражданскую: оно обязано было — и эта обязанность сохранилась до 1864 года — поставлять изъ своей среды чиновниковъ по судебному и полицейскому областному управленію; такъ дворянство выбирало земскаго исправника или капитана — начальника уѣздной полиціи, — и засѣдателей такихъ судебныхъ учрежденій, какъ сословный дворянскій верхній земскій судъ и отчасти всесословный совѣстный судъ, вѣдавшій преступленія малолѣтнихъ и душевно-больныхъ и примирявшій тяжущихся въ гражданскихъ дѣлахъ, если они къ нему за этимъ обращались. Такимъ образомъ получалось на дѣлѣ не освобожденіе дворянства отъ обязательной службы, а простое перечисленіе этого сословія по службѣ изъ военнаго министерства въ министерства внутреннихъ дѣлъ и юстиціи. Только великія реформы Александра II, именно земское самоуправленіе, стоящее въ связи съ нимъ и паденіемъ крѣпостнаго права преобразование уѣздной полиціи и, наконецъ, введеніе новыхъ судебныхъ учрежденій, сняли съ дворянства не въ одной лишь теоріи, но и на практикѣ, обязанность служить государству. Однако остатки этой обязательной службы продолжаютъ существовать и въ настоящее время въ нѣкоторыхъ обязанностяхъ, лежащихъ на предводителяхъ дворянства: таковы, напр., обязанности предсѣдательствовать въ земскихъ собраніяхъ, въ сѣздахъ земскихъ начальниковъ, участвовать въ губернскихъ по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствіяхъ и т. д. Нѣтъ однако сомнѣнія, что такія обязанности близко соприкасаются по своему юридическому значенію со спеціальными сословными правами, которыя продолжаютъ составлять отличительную черту организаціи дворянскаго сословія въ Россіи и съ 1890 года даже усилены. Первымъ и главнымъ выраженіемъ сословныхъ корпоративныхъ правъ дво-

рянства служить, конечно, сословное дворянское самоуправление— собрание дворянства, выбирающее предводителей и депутатов, которые являются его исполнительным органомъ. Хорошо извѣстно, что дворянское самоуправленіе ведетъ свое начало отъ Екатерининской жалованной грамоты дворянству 1785 года. Изъ послѣдующихъ измѣненій этой грамоты особеннаго вниманія заслуживаетъ то, которое произведено въ 1830 году императоромъ Николаемъ I: право участія въ дворянскихъ собраніяхъ осталось съ этого времени почти исключительно за дворянами, обладающими извѣстнымъ земельнымъ цензомъ, болѣе высокимъ, чѣмъ прежде. Такимъ образомъ въ этой мѣрѣ замѣтна уже тенденція смягчить сословное начало въ пользу классового: дворянскія собранія перестали быть собраніями всего сословія по уѣздамъ и губерніямъ, а сдѣлались собраніями исключительно одного лишь *помѣстнаго* дворянства, и то не всего, съ исключеніемъ особенно-мелкихъ землевладѣльцевъ. Особенно важнымъ правомъ дворянскихъ собраній является право ходатайствовать непосредственно передъ Высочайшей властью не только о мѣстныхъ и сословныхъ нуждахъ и пользахъ, но и по общегосударственнымъ вопросамъ.

Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ 1864 года нанесло существенный ударъ специально-сословной дворянской организаціи: завѣдываніе хозяйственными дѣлами уѣзда и губерніи перешло всецѣло въ руки земства, гласные котораго выбирались не на основѣ сословнаго принципа, а на началѣ безсословности, частными землевладѣльцами (въ томъ числѣ и не дворянами), городскими и сельскими обществами. Только новое земское положеніе 1890 года усилило сословный элементъ въ земскихъ учрежденіяхъ: дворяне отдѣлены отъ другихъ сословій, составляютъ особый избирательный съѣздъ, сильнѣе представлены въ земскихъ собраніяхъ, такъ какъ выбираютъ туда наибольшее число гласныхъ, и притомъ въ губернскихъ земскихъ собраніяхъ участвуютъ еще не по избранію въ гласные, а по должности всѣ предводители дворянства.

Не менѣе характерны,—въ смыслѣ ослабленія начала обязанности, замѣны его принципомъ права и начавшагося перехода отъ сословности къ классовому принципу,— и перемѣны, пережитыя въ теченіе XIX вѣка населеніемъ городовъ, организованнымъ грамотой Екатерины II городамъ въ 1785 году, въ городское сословіе. Намѣчая въ краткомъ изложеніи эти перемѣны, можно сказать прежде всего, что въ теченіе почти двухъ третей минувшаго столѣтія главная масса городского населенія оставалась податнымъ сословіемъ, обложеннымъ подушною податью, т. е.

начало обязанности было выражено очень резко. Но уже в то время гильдейское купечество было свободно от подушной подати, замѣненной для него гильдейскою пошлиною съ капиталовъ. Этотъ первый шагъ къ раскрѣпощенію городского населенія былъ подкрѣпленъ въ 1863 году замѣною подушной подати въ городахъ подомовымъ налогомъ. Ослабленію начала обязанности въ отношеніи къ городскимъ сословіямъ соответствовалъ и ростъ ихъ правъ: за купечествомъ и мѣщанствомъ уже въ началѣ XIX вѣка признавались полная гражданская правоспособность, свобода передвиженія и переселенія изъ города въ городъ, имущественныя права, свобода выбора занятій. Начало сословности—и притомъ въ смыслѣ дѣленія городского населенія на отдѣльныя сословныя группы—нашло себѣ особенно сильное выраженіе въ корпоративной организаціи горожанъ. Всѣ учрежденія, служившія органами зарождавшагося городского самоуправления, —именно собраніе городского общества, городская общая дума и городская шестигласная дума, бывшая исполнителемъ органомъ, обязаннымъ руководиться въ своей дѣятельности тѣми началами, за которыя стояли собраніе и общая дума,—были организованы на строго-сословномъ началѣ, на особомъ представительствѣ отъ каждой изъ шести группъ городского населенія: 1) настоящихъ городскихъ обывателей, подъ которыми разумѣлись владѣвшіе домами въ городахъ дворяне и чиновники, т. е. лица, не принадлежащія къ городскому сословію; 2) гильдейскаго купечества; 3) цеховыхъ; 4) иногороднихъ и иностранныхъ гостей; 5) именитыхъ гражданъ и 6) посадскихъ, т. е. не вписанныхъ въ другіе разряды городскихъ обывателей, кормящихся промыслами, ремесломъ или работой по найму. Городская шестигласная дума, которая фактически руководила всѣмъ городскимъ хозяйствомъ, состояла, подъ предсѣдательствомъ городского головы, изъ шести гласныхъ, по одному отъ cadaго изъ указанныхъ шести разрядовъ городского населенія. На ряду съ этимъ гильдейское купечество, цеховые, иногородніе и иностранные гости и посадскіе имѣли свое особое выборное управленіе. Развитіе денежнаго хозяйства, торговли, фабричной промышленности и городскихъ ремеслъ въ XIX вѣкѣ нанесло сильный ударъ такой резко выраженной сословности. Правда, и въ настоящее время купечество и мѣщанство сохраняютъ еще особое для cadaго изъ нихъ сословное управленіе, но уже возбужденъ вопросъ о слияніи обоихъ этихъ общественныхъ слоевъ въ одно городское сословіе. Но что особенно важно,—это перемѣны въ общемъ городскомъ самоуправленіи: вмѣсто представительства отдѣльныхъ группъ

городского населенія, стоявшихъ обособленно и лишь внѣшнимъ образомъ соприкасавшихся между собою, введено общее представительство, въ основу организаціи котораго положено не сословное, а классовое начало: по Городовому Положенію 1870 года, которое было подготовлено введеніемъ въ 1846 году особаго Положенія для городского управленія въ Петербургѣ, позднѣе примѣненнаго въ Москвѣ и Одессѣ, избирательными правами стали пользоваться домовладѣльцы, промышленники, торговцы и обладатели свидѣтельствъ—купеческихъ, промысловыхъ на мелочную торговлю и приказчицкихъ перваго разряда. Городовое положеніе 1892 года не нарушило классового принципа въ городскомъ представительствѣ, сузивъ лишь кругъ избирателей путемъ исключенія мелкихъ домовладѣльцевъ и мелкихъ торговцевъ и тѣмъ давъ окончательный перевѣсъ въ городскомъ самоуправленіи крупному капиталу.

Наибольшее количество остатковъ стариннаго крѣпостного строя наблюдается въ крестьянскомъ сословіи. Здѣсь важно не только существованіе спеціального сословнаго управленія и даже волостного суда, но и сохраненіе стараго крестьянскаго мірскаго землевладѣнія, круговой поруки въ уплатѣ податей, стѣсненіе права переселенія и отлучки необходимостью разрѣшенія властей для переселенія и выдачей увольнительнаго свидѣтельства для отлучки, наконецъ строгій контроль и дискреціонная власть административныхъ органовъ—земскихъ начальниковъ. Важнѣйшимъ шагомъ впередъ къ уничтоженію остатковъ крѣпостного строя въ средѣ крестьянства послѣ реформы 19 февраля 1861 года нужно считать отмѣну въ 1882 году подушной подати.

Окидывая общимъ взглядомъ процессъ экономическаго и соціальнаго развитія Россіи въ XIX вѣкѣ, не трудно убѣдиться, что истекшее столѣтіе не представляетъ собою въ этомъ отношеніи чего-либо цѣльнаго, законченнаго — даже въ томъ условномъ смыслѣ, въ какомъ слѣдуетъ понимать дѣленіе исторіи на періоды. Первая половина XIX вѣка почти всецѣло относится еще къ *первому періоду новой русской исторіи*, начавшемуся въ половинѣ XVI вѣка и характеризуемому въ экономическомъ отношеніи зарожденіемъ и первоначальнымъ развитіемъ денежнаго хозяйства при преобладаніи земледѣлія, а въ соціальномъ—крайнимъ развитіемъ сословности и господствомъ крѣпостного общественнаго строя, т. е. перевѣсомъ начала обязанности надъ принципомъ права. Вторая половина минувшаго столѣтія является уже исходнымъ хронологическимъ моментомъ *второго періода новой русской исторіи*, отличительными чертами котораго можно считать—въ

экономической сферѣ быстрое развитіе денежнаго хозяйства и обрабатывающей промышленности, преимущественно крупной, а въ сферѣ социальныхъ отношеній—ослабленіе сословности, значительное смягченіе начала крѣпости или обязанности и ростъ гражданской свободы личности.

Эти крупные приобрѣтенія и успѣхи и представляютъ собою то историческое наслѣдіе, дальнѣйшее развитіе котораго завѣщано XIX-мъ вѣкомъ XX-му столѣтію.

Натуральное хозяйство и формы землевладѣнія въ древней Россіи.

I.

Выдающійся русскій ученый въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ сочиненій провель ту основную мысль, что развитіе народнаго хозяйства въ каждой странѣ опредѣляется въ конечномъ счетѣ отношеніемъ ея населенія къ территоріи, иначе—степенью плотности населенія. Я и въ мысляхъ не имѣю отрицать справедливость этого обобщенія, выставленнаго хотя и не впервые, но наиболѣе опредѣленно именно М. М. Ковалевскимъ, трудъ котораго объ «Экономическомъ ростѣ Европы до возникновенія капиталистическаго хозяйства», какъ читатель, безъ сомнѣнія, уже догадался, я и разумѣлъ сейчасъ. Всѣ возраженія, какія дѣлались ему по этому поводу, не выдерживаютъ на мой взглядъ критики; лучшимъ опроверженіемъ ихъ и вмѣстѣ подтвержденіемъ указанной теоріи служить изслѣдованіе конкретнаго историческаго матеріала, неизбежно приводящее всякаго, кто пытается уяснить себѣ эволюцію народно-хозяйственныхъ отношеній, къ вопросу о населеніи. Итакъ, не опроверженіе этой теоріи, а ея развитіе, дополненіе и отчасти исправленіе имѣю я въ виду.

Когда тотъ или другой историкъ или экономистъ пытается опредѣлить степень плотности населенія извѣстной страны въ болѣе или менѣе отдаленномъ прошломъ, то выводы его обыкновенно поражаютъ своей шаткостью и неопредѣленностью по той простой, хотя и неустраимой, причинѣ, что статистическій матеріалъ, которымъ приходится при этомъ оперировать, отличается слишкомъ большою для рѣшенія такого, требующаго чрезвычайной точности, вопроса грубостью, не говоря уже объ его край-

ней отрывочности. Вот почему, читая, например, у Тёккера ¹⁾, что поворотным пунктом от применения несвободного труда къ свободному является плотность населенія въ 60 человекъ на квадратную милю, невозможно отказаться отъ скептицизма, нельзя отогнать отъ себя сомнѣній въ справедливости такого заключенія. Но если, съ одной стороны, примѣрныя и приближительныя вычисленія являются черезчуръ гадательными и потому недостоверными, то, съ другой, никакъ нельзя удовлетвориться и одной общей, неопредѣленной формулой, что система и формы хозяйства зависятъ отъ роста населенія. Что же дѣлать? Какъ выйти изъ этого противорѣчія?

По моему мнѣнью, есть только одинъ достоверный, объективный и достаточно опредѣленный показатель роста населенія въ странѣ,—это перемѣны въ относительномъ значеніи въ народномъ хозяйствѣ отдѣльныхъ его отраслей: добывающей промышленности, сельскаго хозяйства, промышленности обрабатывающей и, наконецъ, мѣновой или торговли. Правда, такой авторитетный экономистъ, какъ Бюхеръ, настаиваетъ на томъ, что въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ народы вовсе не переживали въ своей исторіи періода исключительнаго господства добывающей промышленности—охоты, рыбной ловли, что всегда рука объ руку съ нею существовало у нихъ скотоводство и даже земледѣліе ²⁾, но дѣло не въ исключительномъ существованіи *одной* отрасли производства, а въ преобладаніи одной или нѣсколькихъ изъ нихъ надъ остальными, въ ихъ взаимоотношеніи.

Давно и хорошо извѣстно, что степень развитія мѣнового оборота хозяйственныхъ благъ является основнымъ признакомъ, характеризующимъ самыя крупныя перемѣны въ экономическомъ строѣ: извѣстные всѣмъ термины «мѣновое» и «натуральное» хозяйство рѣзко намѣчаютъ два крупныхъ періода экономическаго развитія, различаемыхъ безъ труда и не нуждающихся въ болѣе подробномъ опредѣленіи. Къ этому дѣленію Бюхеръ ³⁾ сдѣлалъ, какъ извѣстно, немаловажную поправку, внеся между двумя указанными періодами еще третій, промежуточный, періодъ такъ называемаго городского хозяйства, который правильнѣе было бы назвать періодомъ хозяйства съ изолированнымъ небольшимъ рынкомъ, имѣющимъ лишь мѣстное значеніе. Какое бы

¹⁾ *Tucker*, „Progress of the U. States“, стр. 111 и сл. Цитируемъ по *Roscher*. „Grundlagen der Nationalökonomie“, 21-е изданіе, Stuttgart, 1894, стр. 163.

²⁾ *K. Bücher*, „Die Wirtschaft der Naturvölker“, Dresden, 1898, стр. 8—9.

³⁾ *K. Bücher*, „Die Entstehung der Volkswirtschaft“, zweite Auflage, Tübingen, 1898, стр. 58.

изъ этихъ дѣленій мы ни приняли,—старое двойное или новое тройное,—одно ясно: грани, отдѣляющія другъ отъ друга отдѣльные періоды, служатъ въ то же время поворотными пунктами въ ростѣ населенія. Все это слишкомъ хорошо извѣстно, чтобы нуждаться въ какихъ-либо фактическихъ подтвержденіяхъ.

Стоитъ только присмотрѣться къ относительному значенію въ хозяйствѣ того или иного народа другихъ отраслей производства — добывающей промышленности, сельскохозяйственной и обрабатывающей, чтобы убѣдиться, что и понятія «натуральнаго», «городскаго», «мѣноваго» хозяйства нуждаются въ дальнѣйшемъ расчлененіи: каждый изъ періодовъ, обозначаемыхъ этими терминами, не является чѣмъ то разъ навсегда даннымъ, неизмѣннымъ, постояннымъ и неподвижнымъ, а, напротивъ, представляетъ собою процессъ, различный въ отдѣльныхъ своихъ частяхъ, проходящій нѣсколько стадій развитія. Мы остановимся здѣсь подробнѣе на анализѣ одного лишь періода *натуральнаго* хозяйства, ограничившись лишь немногими и общими замѣчаніями относительно болѣе поздняго времени въ народно хозяйственной жизни.

Пробѣгая мысленно рядъ вѣковъ, характеризуемыхъ господствомъ натурального хозяйства, не трудно замѣтить, что самыя ранніе доступные *историческому* изученію матеріалы уполномочиваютъ насъ признать первой стадіей въ развитіи натурального хозяйства то близкое къ первобытному, до-историческому строю время, когда въ народномъ производствѣ преобладала добывающая промышленность. Источники древнѣйшаго періода русской исторіи оставили намъ въ этомъ отношеніи не мало чрезвычайно цѣнныхъ свидѣтельствъ. Наши древнѣйшія лѣтописи—до конца XII вѣка,—вообще не особенно часто касающіяся экономическаго быта, почти каждый разъ, какъ затрогиваютъ эту сторону народной жизни, упоминаютъ о звѣроловствѣ и бортничествѣ. Извѣстно классическое мѣсто «Начальной лѣтописи» — слова Святослава о томъ, чѣмъ богата была въ его время Русь: то были «медь, скоро (т. е. мѣха) и воскъ». Какую замѣтную роль играла охота въ княжескомъ хозяйствѣ, видно изъ заботъ Ольги объ устройствѣ ловищъ, изъ частыхъ указаній лѣтописей на то, какъ тотъ или другой князь «ловы звѣриныя дѣялъ», «гна звѣри въ лѣсѣ», наконецъ, изъ такого драгоценнаго во многихъ отношеніяхъ памятника, какъ «Поученіе Владиміра Мономаха»: на-ряду со своими военными подвигами и дѣлами управленія этотъ князь ставитъ и свою охотничью удалъ и охотничьи удачи. Вообще охота была очень серьезнымъ и выгоднымъ дѣломъ: недаромъ князь въ XII вѣкѣ (см. «Ипатьевскую лѣтопись» подъ 1180 г.)

отправлялись на нее надолго, съ женами и дружиной, недаромъ подвластные племена платили князьямъ дань мѣхами. «Русская Правда», много занимающаяся огражденіемъ правъ на бобровые гоны и бортные ухажи, акты, вродѣ извѣстной жалованной грамоты Ростислава смоленской епископіи и договорныхъ грамотъ Новгородѣ съ князьями, наконецъ иностранные писатели—Хордадбе, Масуди, Истархи, Константинъ Багрянородный и т. д.—также подтверждаютъ, что добывающая промышленность до конца XII в. была господствующей отраслью народнаго производства по крайней мѣрѣ на большей части территоріи, занятой русскими славянами. Въ сельскомъ хозяйствѣ того времени перевѣсъ также принадлежалъ той его отрасли, которая ближе подходитъ по своей экономической природѣ къ добывающей промышленности,—именно скотоводству, тогда какъ земледѣліе оставалось далеко позади: чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно припомнить крайнюю дешевизну скота по «Русской Правдѣ» и многочисленныя лѣтописныя указанія на княжескія и боярскія стада, доходившія нерѣдко до нѣсколькихъ тысячъ головъ.

Набросанная сейчасъ въ самыхъ краткихъ и общихъ чертахъ картина вовсе не составляетъ особенности процесса развитія народнаго хозяйства въ нашемъ отечествѣ: она справедлива для каждой другой страны. Извѣстны свидѣтельства Цезаря, Помпонія Мелы, Страбона, что германцы почти не занимались земледѣліемъ, и что главными ихъ занятіями были охота и скотоводство ¹⁾. О томъ же, хотя съ меньшей яркостью, говорятъ Тацитъ и позднѣйшія варварскія Правды и грамоты ²⁾, говоримъ: «съ меньшею яркостью», потому что земледѣліе дѣлало постѣпенно усгѣхи и лишало добывающую промышленность и скотоводство ихъ доминирующаго положенія.

Спрашивается теперь: какъ отражаются подобные хозяйственные порядки въ области формъ землевладѣнія? Мы очень дурно поставлены въ отношеніи матеріала для рѣшенія этого вопроса въ русской исторіи до конца XIV вѣка. Поэтому необходимо прибѣгнуть къ двумъ, въ настоящее время довольно общепотребительнымъ методическимъ приемамъ—аналогіи и заключенію отъ болѣе позднихъ наблюденій къ скрытому для насъ недостаточностью и молчаніемъ источниковъ болѣе отдаленному прошлому.

Аналогія дается изученіемъ германскихъ землевладѣльческихъ порядковъ до и послѣ завоеванія Западной Римской имперіи, а также знакомствомъ съ исторіей формъ землевладѣнія въ Сибири.

¹⁾ *Ковалевскій*, „Экономическій ростъ Европы до возникновенія капиталистическаго хозяйства“, т. I, М., 1898, стр. 33—34.

²⁾ Тамъ же, стр. 38—40.

Свидѣтельства Цезаря, Тацита, Салической, Аллеманской и Баварской Правды, нижнерейнскихъ, аллеманскихъ, наконецъ; лангобардскихъ грамотъ, правильно понятыя и истолкованныя, не оставляютъ сомнѣннй, что поземельныя отношенія древнихъ германцевъ складывались слѣдующимъ приблизительно образомъ: округъ, волость или село захватывало извѣстную, довольно обширную территорию, а отдѣльные двory или семьи на время, обыкновенно на годъ, опахивали или окапывали себѣ опредѣленные участки для распашки, не подлежащия на время разработки заимкѣ со стороны другихъ семей. Лѣсомъ, выгономъ и всѣми другими угодыми пользовались всѣ сообща, въ мѣру потребностей. Позднѣе, съ ростомъ населенія, съ увеличеніемъ тѣсноты и съ ослабленіемъ добывающей промышленности въ пользу земледѣлія, развивается отчужденіе пахотныхъ участковъ отдѣльныхъ семей, семейные раздѣлы, ограниченія въ пользованіи непахотными участками и т. д. ¹⁾.

Эти драгоценныя наблюденія даютъ право предполагать существованіе подобныхъ же земельныхъ порядковъ и въ древнѣйшей Руси, экономической строй которой довольно близко подходилъ къ германскому. Такое предположеніе тѣмъ вѣроятнѣе, что то же можно наблюдать и въ исторіи формъ землевладѣнія въ Сибири. Обычный процессъ расселенія въ Сибири, на дѣвственныхъ почвахъ, сводится къ слѣдующему: поселившись, извѣстная группа новоселовъ—обыкновенно нѣсколько семей или цѣлая волость—захватываетъ себѣ такую обширную территорию, какая ей необходима; сѣнными и лѣсными угодыми пользуются сообща, а для пахоты каждая отдѣльная семья занимаетъ или, какъ гласитъ техническое выраженіе, «наѣзжаетъ» себѣ опредѣленный участокъ, которымъ и пользуется годъ или два съ тѣмъ, чтобы затѣмъ перейти къ другому ²⁾. Порядокъ — совершенно аналогичный древнегерманскому.

Отъ XV, XVI и слѣдующихъ вѣковъ сохранился, наконецъ, для насъ очень цѣнный и довольно обильный матеріалъ по исторіи землевладѣнія на крайнемъ сѣверѣ Россіи. Часть этого матеріала хранится въ архивахъ, и обработка ея едва начинается ³⁾. Другая часть находилась и находится въ рукахъ мѣстнаго крестьянскаго населенія и переходитъ иногда въ распоряженіе из-

¹⁾ Ковалевскій, „Экономическій ростъ Европы“, т. I, стр. 44—46 и др.

²⁾ А. А. Кауфманъ, „Крестьянская община въ Сибири по мѣстнымъ изслѣдованіямъ 1886—1892 г.“. Спб. 1897, стр. 44—52.

³⁾ Хорошее начало этой обработкѣ положено трудами П. И. Иванова: „Къ исторіи крестьянскаго землевладѣнія на Сѣверѣ“ и „Документы Крестьянскаго монастыря“ въ „Трудахъ Археогр. Ком. Моск. Арх. Общ.“

слѣдователей: на такомъ матеріалѣ основана замѣчательная работа г-жи Ефименко «Крестьянское землевладѣніе на крайнемъ сѣверѣ». Въ разсматриваемое авторомъ время—въ XV, XVI вв. и позднѣе—здѣсь существовало такъ называемое долевое землевладѣніе,—вторичная форма, связанная неразрывными генетическими узами съ тѣмъ вольнымъ землепользованиемъ, которое наблюдается у древнихъ германцевъ и у сибирскихъ новоселовъ. Сущность долевого владѣнія заключается въ томъ, что субъектомъ его является дворъ (называемый также деревней), въ составъ котораго входитъ часто многочисленное населеніе, состоящее изъ родственниковъ въ нѣсколькихъ поколѣніяхъ и изъ чужеродцевъ, примѣшавшихся къ нимъ путемъ покупки у членовъ этого родственнаго союза права ихъ на долю въ общей землѣ. Эти члены двора носятъ названіе «складниковъ», «сосѣдей», «сябровъ». Пахотная земля передѣляется между сябрами на время, но иногда находится еще и въ нераздѣльномъ пользованіи всего союза, причемъ отдѣльные его члены сохраняютъ возможность отчужденія права на идеальную долю, имъ принадлежащую. Позднѣе такіе складническіе союзы разлагаются, земля окончательно дѣлится между ихъ членами безъ дальнѣйшей возможности передѣла. Характерно, что нерѣдко еще и въ XVI в. нѣсколько дворовъ вмѣстѣ имѣли въ общемъ нераздѣльномъ пользованіи непахотныя угоды¹⁾. Это—несомнѣнный остатокъ того болѣе древняго порядка, по которому отдѣльныя семьи наѣзжали участки для обособленнаго, временнаго пользованія лишь пахотной землей, а всѣ другія угоды были общими для всей болѣе или менѣе значительной группы семей, державшихся вмѣстѣ. Можно такимъ образомъ, отпращиваясь отъ позднѣйшихъ явленій, заключать о древнѣйшихъ: нѣкогда и на Руси, очевидно, существовало болѣе обширное владѣльческое цѣлое, чѣмъ отдѣльный дворъ-семья; послѣдній входилъ въ составъ этого цѣлаго и велъ пашенное хозяйство путемъ наѣзда для себя на годъ или на два удобной земли въ потребномъ количествѣ, пользуясь вмѣстѣ съ другими семьями общими выгономъ, сѣнокосомъ и лѣсомъ. Затѣмъ, съ ростомъ населенія и съ увеличеніемъ хозяйственной роли земледѣлія, обширный владѣльческій союзъ разложился на отдѣльныя семьи, а потомъ разложеніе, какъ мы уже говорили, проникло и въ послѣднія, причемъ характерно и служитъ дальнѣйшимъ подтвержденіемъ нашей схемы то обстоятельство, что и переходъ отъ совмѣстнаго, складническаго хозяйства къ полному индивидуаль-

¹⁾ А. Ефименко, „Исслѣдованія народной жизни“, т. I, М. 1889, стр. 207—208, 214, 218—225.

подворному владѣнію часто совершался постепенно: союзъ сябровъ дробился иногда на части не по числу отдѣльныхъ семей въ современномъ смыслѣ этого слова, а на болѣе крупныя, чѣмъ союзъ родителей и дѣтей, хозяйственные единицы.

Въ этомъ отношеніи особенно любопытна одна дѣловая грамота сольвычегодскихъ складниковъ, составленная въ 1572 году: здѣсь *семеро* складниковъ (отцовъ семействъ) дѣлятъ принадлежащую имъ землю на *четыре* части, причемъ одна изъ этихъ частей досталась въ совмѣстное владѣніе троихъ изъ нихъ, другая—двоихъ ¹⁾.

Замѣтимъ также, что складничество или сябрство существовало и въ другихъ мѣстностяхъ древней Руси: напр., въ Новгородской области ²⁾, въ Западной Руси ³⁾, въ Малороссіи ⁴⁾.

При свѣтѣ этихъ аналогій и наблюденій надъ явленіями позднѣйшаго времени получаютъ надлежащее значеніе и нѣкоторые отрывочные намеки древнѣйшихъ источниковъ, и выясняется, такимъ образомъ, до нѣкоторой степени спорный вопросъ о формахъ землевладѣнія, господствовавшихъ въ Киевской Руси. Первостепенный интересъ представляетъ въ этомъ отношеніи опредѣленіе характера и значенія верви. О томъ, что такое представляла изъ себя древнерусская вервь, мы можемъ судить только по одному источнику — «Русской Правдѣ» въ ея пространной редакціи, составившейся, по всѣмъ признакамъ, въ XII вѣкѣ. Но и «Русская Правда» не даетъ полного и всесторонняго изображенія верви и заключаетъ въ себѣ только цѣнныя данныя о *судебномъ* ея значеніи. Вотъ сущность этихъ данныхъ: 1) если въ предѣлахъ верви было найдено тѣло убитаго человѣка, причемъ убійца былъ неизвѣстенъ, то вервь обязана была или принять дѣятельное участіе въ слѣдствіи, въ поискахъ преступника по слѣдамъ преступленія, или, если она не желала этого, заплатить виру, т. е. поступавшую въ княжескую казну денежную пеню за убійство; 2) если убійца принадлежалъ къ верви, и преступленіе было совершено въ ссорѣ или на пиру, а не умышленно, то вервь платила также виру, распредѣляя платежъ между всѣми членами своими поровну, считая въ томъ числѣ и убійцу,

¹⁾ Грамота напечатана въ приложеніи къ книгѣ пишущаго эти строки «Сельское хозяйство Московской Руси въ XVI в.», на стр. 494—495.

²⁾ Тамъ же, стр. 191.

³⁾ *Лобавскій*, «Областное дѣленіе и мѣстное управленіе Литовско-Русскаго государства», М., 1893, стр. 448—449; *Ефименко*, «Дворичное землевладѣніе въ Южной Руси»: «Рус. Мысль» за 1892 г., апрѣль, стр. 166 и слѣд.

⁴⁾ *Луцицкий*, «Сябры и сябренное землевладѣніе въ Малороссіи»: «Сѣверн. Вѣстникъ» за 1889 г., №№ 1 и 2.

уплачивавшаго такимъ образомъ одинаковую съ другими сумму; на убійцѣ же одномъ лежала только обязанность уплатить родственникамъ убитаго частное вознагражденіе или такъ называемое головничество; только тогда вервь не участвовала въ платежѣ виры за убійство въ ссорѣ или на пиру, совершенное ея членомъ, когда оказывалось, что этотъ виновный въ убійствѣ членъ ея раньше въ подобномъ же случаѣ отказался отъ участія въ платежѣ по раскладкѣ; 3) вервь должна была участвовать въ слѣдствіи по дѣламъ объ имущественныхъ преступленіяхъ, когда преступникъ неизвѣстенъ, а остались въ предѣлахъ вервной территоріи слѣды преступления; если вервь въ этомъ случаѣ уклонялась отъ участія въ слѣдствіи, то была обязана уплатить пеню князю и частное вознагражденіе потерпѣвшему.

Только опираясь на эти постановленія, мы и можемъ уяснить себѣ вопросъ объ юридической природѣ вервнаго союза и разрѣшить тѣ противорѣчія, въ которыя впадаютъ между собою изслѣдователи въ этомъ отношеніи. Можно различить три основныхъ направленія во взглядахъ на вервь: одни считаютъ вервь территоріальнымъ дѣленіемъ, созданнымъ княжескою властью изъ соображеній судебно-полицейскаго характера; другіе признаютъ ее сосѣдской общиной, образовавшейся естественнымъ путемъ при колонизаціи страны; по мнѣнію третьихъ, вервь по первоначальному своему значенію была кровнымъ союзомъ и лишь потомъ къ нему примѣшались чужеродные элементы.

Изложенныя выше постановленія «Русской Правды» о судебномъ значеніи верви становятся понятными только въ томъ случаѣ, если признать кровное происхожденіе вервнаго союза. Въ самомъ дѣлѣ: если мы допустимъ, что вервь была создана княжеской администраціей со спеціальною цѣлью предупрежденія преступленій путемъ введенія круговой поруки жителей извѣстной области, то почему же въ такомъ случаѣ правительство не распространило этой мѣры на всѣ виды преступленія или хотя бы только на всѣ виды убійства? Притомъ странно, что при преступленіи менѣе серьезномъ — убійствѣ въ ссорѣ или на пиру — общество платитъ за преступника, а при умышленномъ убійствѣ оно не отвѣтственно; вѣдь это значило бы въ такомъ случаѣ, что правительство заботилось бы о предупрежденіи лишь менѣе значительныхъ преступленій, оставляя безъ вниманія серьезныя нарушенія права ¹⁾. Такъ же невозможна круговая порука и въ

¹⁾ Главныя изъ этихъ замѣчаній сдѣланы были впервые *Капустинымъ* въ его статьѣ „Древнерусское поручительство“ въ „Юридическомъ Сборникѣ“ Мейера, Казань, 1855, стр. 280—285.

общинѣ сосѣдской, создавшейся естественнымъ путемъ, помимо правительственнаго вліянія: чисто сосѣдская община можетъ быть соединена круговой порукой только въ томъ случаѣ, если государство наложить на нее эту повинность принудительно, изъ фискальныхъ и полицейскихъ цѣлей, а предполагать наличность такихъ цѣлей, какъ только что указано, никакъ нельзя въ данномъ случаѣ. Притомъ же для такого принудительнаго акта со стороны правительства необходима сильная государственная власть и крѣпостническія социальныя отношенія, а ни того, ни другого въ эпоху «Русской Правды» не было. Итакъ, остается признать вервь за первоначально-кровный союзъ: очевидно, члены верви считали себя нравственно-обязанными помогать другъ другу въ уплатѣ пень за менѣ важныя, случайныя преступленія именно по той причинѣ, что они когда-то были связаны между собою узами родства. Не даромъ «Русская Правда» прямо называетъ уплату виры вервью «помощью убійцѣ». Что же касается до платежа виры вервью при отысканіи трупа въ ея предѣлахъ, когда убійца былъ неизвѣстенъ, и вервь не хотѣла тратить время и силы на его отысканіе, и вообще до участія верви въ производствѣ слѣдствія, то относящіяся сюда статьи «Русской Правды» несомнѣнно указываютъ, что вервь имѣла какое-то землевладѣльческое значеніе, что у нея была опредѣленная, огражденная межами, территорія.

Итакъ, уже одинъ только внимательный анализъ извѣстій «Русской Правды» о верви позволяетъ сдѣлать два важныхъ вывода: во-первыхъ, что вервь была по своему происхожденію кровнымъ союзомъ; во-вторыхъ, что она имѣла землевладѣльческое значеніе. Эти выводы блестяще подтверждаются аналогичными юридическими формами древнеславянскаго права, сближеніе которыхъ съ вервью «Русской Правды» составляетъ неотъемлемую заслугу проф. Леонтовича ¹⁾. Отъ 1400 года для насъ сохранился статутъ далматской общины Полицы, — юридическій памятникъ первостепенной важности. Въ немъ также идетъ рѣчь о верви, которая изображается какъ семейная община, притомъ древняго происхожденія: по подлинному выраженію Полицкаго статута, это учрежденіе «почело од искони». Составъ верви или вервной дружины—братья вервные или «дионики» одного села. Вервь Полицкаго статута имѣетъ разныя формы: первая изъ нихъ—вервные братья живутъ на общей «племенщинѣ» (хозяй-

¹⁾ «О значеніи верви по „Русской Правдѣ“ и Полицкому статуту, сравнительно съ задругою юго-западныхъ славянъ»: „Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія“ за 1867 г., № 4, стр. 2—19.

ствѣ) безъ раздѣла ея по дворамъ и хозяевамъ, какъ семья въ тѣсномъ смыслѣ; вторая форма—они дѣлятъ между собою пахотную землю на участки, владѣя сообща лишь лѣсами и пастбищами; наконецъ, третья форма—«дионики» дѣлятъ и пахотную землю, и лѣса, не раздѣляя пастбищъ. Итакъ, полицкая вервь имѣла *землевладѣльческое* значеніе. Но она имѣла также, подобно верви «Русской Правды», и значеніе *судебное*: полицкая вервь имѣла право суда и расправы по своимъ внутреннимъ дѣламъ, члены верви отвѣчали другъ за друга во всѣхъ убыткахъ и платежахъ. Итакъ, полицкая вервь имѣетъ точки соприкосновенія съ вервью «Русской Правды». Еще характернѣе, что обѣ эти верви близки къ другому, очень распространенному среди древнихъ славянъ учрежденію,—задругѣ. Задруга была обширнымъ родственнымъ союзомъ, отвѣчала за своихъ членовъ во всякихъ преступленіяхъ: измѣнѣ, убійствѣ, если убійца скрывался; являлась истцомъ и отвѣтчикомъ. Мы видимъ здѣсь такимъ образомъ знакомый уже намъ примѣръ круговой поруки родственниковъ другъ за друга, наблюдаемъ *судебное* значеніе родственнаго союза. Имущественное, *землевладѣльческое* значеніе задруги таково же, какъ и *землевладѣльческое* значеніе верви Полицкаго статута: земля считается общей собственностью всѣхъ членовъ задруги; формы задруги двѣ: нераздѣльное пользованіе имуществомъ и равный раздѣлъ его.

Всѣ эти аналогіи въ достаточной степени доказываютъ, что въ основѣ древне-русской верви лежало начало родства, и что она имѣла нѣкоторое юридическое отношеніе къ землѣ. Отмѣтимъ еще два любопытныхъ наблюденія, подкрѣпляющихъ этотъ выводъ: во-первыхъ, самое слово «вервь» означаетъ «родственный союзъ», такъ какъ у сербовъ до сихъ поръ есть выраженіе «врѣвникъ»—«родственникъ»; во-вторыхъ, между «Русской Правдой» и Полицкимъ статутомъ существуетъ сходство и въ нѣкоторыхъ подробностяхъ наследственнаго права: Полицкій статутъ свидѣтельствуетъ, что при раздѣлѣ вервнаго имущества между вервными братьями или «диониками» старое огнище (домъ) всегда поступало младшему; «а дворъ безъ дѣла отень всякъ меншему сынови»,—говоритъ «Русская Правда», знающая также то нераздѣльное владѣніе братьевъ въ «дому», то раздѣлъ между ними.

Но если не можетъ быть сомнѣнія въ *землевладѣльческомъ* значеніи древне-русской верви, то та же «Русская Правда» прямо свидѣтельствуетъ, что и болѣе тѣсный, чѣмъ вервь, кровный союзъ—семья, союзъ родителей и дѣтей—имѣлъ также извѣстное юридическое отношеніе къ землѣ. Въ самомъ дѣлѣ: въ «Русской Правдѣ» идетъ между прочимъ рѣчь о наследованіи «дома», а слово «домъ» означаетъ собою въ этомъ историко-

юридическомъ памятникѣ всю семейную собственность, движимую и недвижимую; кромѣ прямыхъ указаній въ этомъ смыслѣ (см., напр., Троицкій списокъ «Русской Правды», ст. 79), въ сказанномъ убѣждаетъ еще то обстоятельство, что усадьба называется въ «Русской Правдѣ» не домомъ, а дворомъ, а движимое имущество носить наименованіе «товара». Но если вѣрно, что и вервь, и тѣсный семейный союзъ имѣли землевладѣльческое значеніе, то возникаетъ вопросъ, какъ же разграничивались права ихъ на землю, иначе: какова была юридическая природа отношеній каждаго изъ этихъ союзовъ къ землѣ. И въ этомъ отношеніи «Русская Правда» не оставляетъ насъ безъ нити, руководясь которою можно дойти до истины: *въ Правдѣ нѣтъ свободнаго оборота съ землей*,—земля, очевидно, не была еще тогда цѣнностью, обращавшейся на рынкѣ, товаромъ. Значитъ, ея было еще слишкомъ много, а это исключаетъ возможность освоенія ея отдѣльной семьей, указываетъ на то, что семья не имѣла правъ собственности на землю, а обладала лишь правомъ пользованія, продолжавшимся до тѣхъ поръ, пока извѣстный участок ея эксплуатировался, пока она его разрабатывала, произведя на него «наѣздъ». Такъ передъ нашими глазами развертывается картина тѣхъ же землевладѣльческихъ порядковъ, какіе наблюдаются, какъ было сказано выше, у древнихъ германцевъ и въ исторіи сибирскаго землевладѣнія: вервь занимала прочно и точно отмѣжевывая извѣстную, довольно обширную территорию, а отдѣльные семьи періодически «наѣзжали» извѣстныя ея части и пользовались ими по произволу и въ теченіе произвольнаго срока. «Русская Правда» знаетъ и опахиваніе земли: она говоритъ о «межѣ ролейной», т. е. проведенной путемъ пахоты.

Такова господствующая форма землевладѣнія въ первый періодъ развитія натурального хозяйства, когда населеніе рѣдко и основной отраслью народнаго производства является добывающая промышленность. Исслѣдователи сибирскаго землевладѣнія удачно обозначаютъ эту форму земельного владѣнія терминомъ «вольное землепользованіе».

II.

Итакъ, вольное землепользованіе было *господствующей* формой отношенія лица или, точнѣе, группы лицъ къ землѣ въ первый періодъ русской исторіи, до конца XII вѣка. Это однако вовсе не значитъ, что оно было *единственной* землевладѣльческой формой. Нѣтъ, на-ряду съ нимъ зарождались и медленно развивались и другіе виды земельного владѣнія, и на то были свои серьезныя экономическія причины.

Въ нашихъ источникахъ совершенно не сохранилось извѣстій о существованіи частной, личной земельной собственности до призванія князей. Напротивъ, уцѣлѣли несомнѣнные слѣды семейнаго и вервнаго землевладѣнія, бывшаго въ то время дѣйствительно единственнымъ существовавшимъ на Руси видомъ юридическаго отношенія къ землѣ. Въ этомъ именно смыслѣ надо понимать извѣстіе «Начальной лѣтописи» о полянахъ: «живяху каждо своимъ родомъ и на своихъ мѣстѣхъ, владѣюще каждо родомъ своимъ». Родъ здѣсь, очевидно, вервь. Въ видѣ иллюстраціи къ приведеннымъ словамъ лѣтопись приводитъ извѣстный рассказъ о Кіѣ, Щекѣ, Хоривѣ и сестрѣ ихъ Лыбеди: они вмѣстѣ со своими семьями, очевидно, и составляли «родъ» или вервь, и владѣли совмѣстно землей ¹⁾.

Но со времени появленія князей въ русской землѣ къ древнимъ чисто-вервнымъ землевладѣльческимъ порядкамъ примѣшиваются новыя формы, постепенно и медленно проникая въ жизнь. Прежде всего появилось *княжеское* землевладѣніе. Первые слѣды его становятся замѣтны уже въ X вѣкѣ, когда Ольга устроила по всей землѣ свои «мѣста» и «села», «ловища» (мѣста лова звѣрей) и «перевѣсища» (мѣста, гдѣ устраивались силки для ловли птицъ). У той же княгини упоминается и село Ольжичи. Къ XII вѣку княжескія села сдѣлались уже вполне распространеннымъ явленіемъ, встрѣчались нерѣдко: недаромъ Владиміръ Мономахъ въ своемъ «Поученіи» придаетъ такое важное значеніе домашнему хозяйству; въ рассказахъ о княжескихъ междоусобіяхъ постоянно мелькаютъ указанія на разореніе княжескихъ селъ. На-ряду съ этимъ въ томъ же XII столѣтіи сплошь и рядомъ можно встрѣтить извѣстія о разграбленіи селъ *боярскихъ* (см., напр., «Ипатьевскую лѣт.» подъ 6654 и 6658 годами). Первые признаки боярскаго землевладѣнія относятся еще къ XI вѣку: оно, очевидно, возникло вслѣдъ за княжескимъ. Наконецъ, въ томъ же XI столѣтіи возникло еще и *монастырское* землевладѣніе: въ рассказѣ о Печерскомъ монастырѣ говорится о пожалованіи ему Изяславомъ горы, а подъ 1096 годомъ находимъ извѣстіе о дачѣ какимъ-то Ефремомъ селъ въ монастырь. Такъ сразу намѣтились и два источника, изъ которыхъ главнымъ образомъ и впоследствии пополнялись монастырскія вотчины: княжеское пожалованіе и вкладъ частныхъ лицъ.

Отмѣченныя сейчасъ перемѣны въ землевладѣльческомъ правѣ не ограничивались только тѣмъ, что появились новыя субъекты владѣнія—физическія и юридическія *лица*, а не верви и семьи

¹⁾ „Полное собраніе русскихъ лѣтописей“, т. I, стр. 4.

только, какъ было раньше; можно догадываться, что и самая природа поземельнаго права потерпѣла измѣненія. Намъ уже извѣстна та крайняя неопредѣленность и непрочность юридическаго отношенія семьи къ землѣ, которая господствовала при вольномъ землепользованіи. Землевладѣніе князей, бояръ и монастырей отличается уже несравненно большею прочностью и опредѣленностью. Здѣсь впервые въ русской исторіи проявилась идея полной собственности на землю, притомъ собственности личной. Зарожденіе этой идеи одинъ изслѣдователь справедливо объясняетъ тѣмъ, что земля занималась обыкновенно сильнымъ человѣкомъ посредствомъ поселенія на ней холоповъ, несвободныхъ людей, челяди; отсюда и строился такой выводъ: такъ какъ на землѣ сидятъ мои люди, то, значить, и самая земля принадлежитъ мнѣ. Но объясняя процессъ возникновенія идеи частной, личной собственности на землю въ Россіи, мы не разрѣшаемъ еще вопроса о реальныхъ причинахъ появленія такой собственности. Причины эти кроются въ хозяйственныхъ условіяхъ эпохи.

При несомнѣнномъ господствѣ добывающей промышленности въ Кіевской Руси играла нѣкоторую роль также и внѣшняя торговля. Всѣмъ болѣе или менѣе извѣстны факты, указывающіе на оживленныя торговыя сношенія Кіевской Руси съ арабами и хозарами и особенно съ Византіей. Яркими свидѣтелями торговли съ арабами и хозарами являются извѣстія арабскихъ купцовъ, посѣщавшихъ Русь, и открываемые до сихъ поръ въ южной Россіи клады, состоящія изъ серебряныхъ арабскихъ монетъ, такъ называемыхъ диргемовъ. О мѣновыхъ сношеніяхъ съ Византіей говорятъ знаменитые, уцѣлѣвшіе до нашего времени, въ «Начальной лѣтописи» договоры Олега и Игоря съ греками, прямыя лѣтописныя извѣстія и, наконецъ, замѣчательный рассказъ византійскаго императора Константина Багрянороднаго въ его сочиненіи «Объ управленіи имперіей». Этотъ послѣдній источникъ, рисуя живую картину снаряженія и отправленія въ Византію русскихъ торговыхъ каравановъ, имѣетъ для насъ особенную цѣнность, такъ какъ предостерегаетъ отъ преувеличенныхъ представлений о значеніи внѣшней торговли въ экономической жизни Кіевской Руси. Съ наступленіемъ зимнихъ холодовъ,—рассказываетъ Константинъ Багрянородный,—Русь, т. е. князь съ его дружиной, отправляется изъ Кіева по подвластнымъ ей славянскимъ племенамъ за сборомъ дани, рѣдко состоявшей изъ денежныхъ платежей, а слагавшейся по преимуществу изъ натуральныхъ продуктовъ, какими особенно изобиловала страна: мѣховъ, меду и воску. Вся зима проходила въ этомъ трудномъ, подчасъ и опасномъ путешествіи. Весной князь съ дружиной возвраща-

лись въ Кіевъ съ собранною данью. Къ этому времени приготовлялись лодки, которыя оснащивались, нагружались всёми тѣми, что было собрано въ видѣ дани, и затѣмъ обширный торговый караванъ вооруженныхъ купцовъ спускался Днѣпромъ и Чернымъ моремъ въ Византію, всегда готовый отразить нападеніе дикихъ степныхъ хищниковъ, кочевавшихъ въ нижнемъ теченіи Днѣпра,—печенѣговъ, впослѣдствіи половцевъ. Этотъ превосходный разсказъ, составленный со словъ очевидцевъ и современниковъ, мѣстныхъ кіевскихъ жителей, какъ нельзя лучше свидѣтельствуешь, что внѣшняя торговля того времени характеризовалась двумя отличительными и имѣющими первостепенную важность чертами: во-первыхъ, торговая дѣятельность была занятіемъ исключительно однихъ общественныхъ верховъ,—князя, дружины и болѣе или менѣе состоятельныхъ горожанъ,—масса же населенія не принимала въ ней никакого участія; во-вторыхъ, внѣшняя торговля въ дѣйствительности не затрогивала и настоятельныхъ, насущныхъ, необходимо требовавшихъ удовлетворенія потребностей даже этихъ руководящихъ ею высшихъ классовъ населенія: все необходимое они получали натурой, отправляя на внѣшній рынокъ лишь избытки и вымѣнивая тамъ только предметы роскоши: шелковыя ткани, вина, дорогое оружіе. Въ сущности мы наблюдаемъ здѣсь не торгово-промышленный круговоротъ, а отчужденіе продуктовъ, доставшихся даромъ, безъ затраты капитала, безъ предпринимательскихъ трудовъ и безъ торговой эксплуатаціи производителей хозяйственныхъ благъ. Слѣдовательно, глубины народнаго хозяйства остались нетронутыми внѣшней торговлей, по существу это хозяйство было чисто натуральнымъ.

Отсюда однако не слѣдуетъ, что внѣшняя торговля не оказала вліянія на имущественное право. Въ кіевскій періодъ русской исторіи имѣло мѣсто явленіе, съ необыкновенной глубиной и провинциальностью изображенное Марксомъ: въ натурально-хозяйственныя отношенія, не разрушая ихъ, проникъ сильной струей капиталъ, сосредоточившійся въ немногихъ рукахъ и рѣзко отдѣлившій его обладателей отъ остальной массы общества. Этотъ капиталъ и создалъ тѣ виды полной частной поземельной собственности, которые только были отмѣчены. Капиталъ далъ возможность занять прочно и хорошо эксплуатировать болѣе или менѣе обширныя земли посредствомъ приложенія несвободнаго и полусвободнаго труда, такъ какъ только капиталисты имѣли средства покупать въ значительномъ количествѣ рабовъ и ссужать деньги съ обязательствомъ отработать долгъ съ процентами: такія ссуды приводили къ развитію полусвободнаго класса, такъ назы-

ваемыхъ «закуповъ», трудъ которыхъ, на-ряду съ трудомъ холоповъ, имѣлъ оченьъ существенное значеніе въ процессѣ развитія боярскаго землевладѣнія.

III.

Изложенныя хозяйственныя условія и землевладѣльческія формы, характерныя для перваго періода русской исторіи, до конца XII вѣка, послужили основой для дальнѣйшаго развитія нашего отечества въ экономическомъ и поземельномъ отношеніяхъ. Вотъ почему нельзя согласиться съ тѣми новѣйшими изслѣдователями, которые смотрятъ на кievскій періодъ какъ на процессъ законченный, самодовлѣющій, стоящій внѣ непосредственной связи съ послѣдующими явленіями.

Наиболѣе послѣдовательно кievскія традиціи были восприняты и развиты въ сѣверо-западномъ углу страны, въ области Великаго Новгорода и Пскова. Какъ въ Кievской Руси земледѣліе играло второстепенную роль въ народномъ производствѣ, такъ оно не было важнымъ элементомъ и въ хозяйственной жизни Новгородско-Псковскаго края: населенію здѣсь сплошь и рядомъ не хватало своего хлѣба, и всегда чувствовалась поэтому нужда въ привозномъ зернѣ. Болѣе, чѣмъ производство хлѣба, была развита культура техническихъ растеній—льна и конопли, сбывавшихся въ сыромъ, отчасти и обработанномъ видѣ за границу и служившихъ также для собственныхъ потребностей производителей. Въ тотъ же второй, удѣльный періодъ русской исторіи, о которомъ у насъ идетъ сейчасъ рѣчь, и который охватываетъ XIII, XIV, XV и даже первую половину XVI вѣка, въ области Новгорода и Пскова продолжали имѣть важное значеніе добывающая промышленность и скотоводство, господствовавшія, какъ мы знаемъ, въ Кievской Руси. Статьи о птичьей и звѣриной охотѣ занимаютъ видное мѣсто въ договорныхъ грамотахъ Новгорода съ князьями. Тѣ же грамоты, а также такіе источники, какъ лѣтописи (см., напр., подъ 1353 г. Новгородскую I лѣтопись), житія святыхъ (напр., житіе Антонія Римлянина) и сохранившіяся отъ конца XV вѣка новгородскія писцовыя книги, свидѣтельствуютъ о важной роли рыболовства въ хозяйственной жизни края. О пчеловодствѣ говоритъ Псковская судная грамота. Имѣемъ также извѣстія о солевареніи въ Старой Руссѣ и добываніи желѣза въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Вотской пятины, занимавшей часть Финляндіи, нынѣшнія Петербургскую и отчасти Новгородскую губерніи. Обиліе пастбищъ и сѣнокосовъ, засви-

дѣтельствовавшее писцовыми книгами, открывало въ свою очередь возможность разведенія скота въ значительномъ количествѣ.

Восприпавъ отъ Кіевской Руси основную черту экономическаго быта, опредѣлявшую хозяйственную дѣятельность народной массы, Новгородскій край XIII—XV вѣковъ унаслѣдовалъ отъ того же историческаго періода и развилъ въ очень значительныхъ размѣрахъ и ту отрасль промышленности, которая питала и усиливала высшіе слои общества, внѣшнюю торговлю. Новгородскія и псковскія лѣтописи пестрятъ извѣстіями о мѣновыхъ сношеніяхъ новгородцевъ и псковичей съ центромъ Россіи, съ одной стороны, и съ Западной Европой, преимущественно съ городами Ганзейскаго союза, съ другой. О томъ же ясно свидѣтельствуютъ торговые договоры Новгорода съ нѣмцами, договорныя грамоты великихъ князей съ этой вольной городской общиной, донесенія нѣмецкаго купечества, дошедшія до насъ и изданныя въ 10-ти томахъ подъ названіемъ «Liv-Cur-und-Estländisches Urkundenbuch», извѣстія иностранцевъ, посѣщавшихъ Новгородъ, подобно французу Ляннуа, наконецъ, народныя сказанія, былины и пѣсни, въ родѣ извѣстной былины о Садкѣ—богатомъ гостѣ или того древняго новгородскаго сказанія, которое ведетъ рѣчь о добромъ молодцѣ, задавшемся «къ купцу-купцу богатому, ко боярину». Насколько Новгородъ превосходилъ по своему торговому значенію другіе русскіе города того времени, можно усмотрѣть изъ одного лѣтописнаго извѣстія, наглядно показывающаго это: подъ 1216 г. въ лѣтописи упоминается о пріѣздѣ въ Переяславъ-Залѣскій (нынѣ уѣздный городъ Владимірской губерніи) новгородскихъ и смолѣнскихъ купцовъ: тогда какъ послѣднихъ, т. е. смолѣнскихъ, было всего 15, число первыхъ, пріѣхавшихъ изъ Новгорода, простиралось до 150-ти. Новгородская торговля отличалась весьма важными особенностями, которыя необходимо отмѣтить: прежде всего она опиралась не на мѣстное производство, изъ продуктовъ котораго только ленъ и конопля да отчасти еще продукты скотоводства—кожи, сало, масло, мясо, щетина, шерсть—отпускались за границу, а на богатства другихъ мѣстностей; другими словами, новгородская торговля была перевозочной, транспортной: закупая въ центральной Россіи и забирая въ видѣ дани на сѣверѣ мѣха, медь, воскъ, хлѣбъ, ленъ, коноплю, продукты скотоводства, новгородцы промѣнивали ихъ на заграничные товары: шелковыя и шерстяныя ткани, сукна, оружіе, металлическія издѣлія, вина и пр. Вторая характеристическая черта, отличавшая торговлю Новгорода и Пскова отъ древнѣйшей кіевской, заключается въ томъ, что въ этихъ вольныхъ городахъ для веденія торговыхъ операцій не-

обходимы были уже предпринимательскіе труды, извѣстная коммерческая техника и значительный капиталъ, такъ какъ не данъ уже, не даромъ достающіеся продукты служили главнымъ источникомъ товаровъ, предназначенныхъ для заграничнаго вывоза: эти товары необходимо было купить, добыть путемъ торговой эксплуатаціи ихъ производителей. Вотъ почему торговля и денежный капиталъ имѣли несравненно большее значеніе въ жизни вольныхъ городовъ удѣльнаго времени, чѣмъ въ Кіевской Руси, и хотя народное хозяйство въ Новгородско-Псковскомъ краѣ продолжало оставаться натуральнымъ, лучшимъ доказательствомъ чего служить господство натуральныхъ владѣльческихъ поборовъ, засвидѣтельствованное еще писцовыми книгами конца XV вѣка, но сила капитала въ очень значительной мѣрѣ проявилась въ сферѣ землевладѣльческаго права.

Важнѣйшимъ источникомъ для изученія новгородскаго землевладѣнія являются, несомнѣнно, писцовыя книги конца XV вѣка, но свѣдѣнія, почерпаемыя изъ нихъ, имѣютъ одинъ существенный недостатокъ: ими характеризуется только заключительный моментъ длиннаго историческаго процесса, освѣщаются формы землевладѣнія, какъ онѣ существовали наканунѣ паденія новгородской вольности, а самый ходъ ихъ развитія не изображается. Тѣмъ не менѣе важно и то, что конечный пунктъ исторіи землевладѣнія въ Новгородскомъ краѣ для насъ ясенъ: изъ писцовыхъ книгъ видно, что главная масса земель сосредоточивалась здѣсь въ рукахъ крупныхъ землевладѣльцевъ—бояръ; что другимъ крупнымъ землевладѣльцемъ была церковь, главнымъ образомъ новгородскій архіепископъ и монастыри; что же касается до землевладѣнія городского чернаго населенія, своеземцевъ и кунцовъ, то оно своими размѣрами значительно уступало боярскому и церковному, а самостоятельнаго крестьянскаго землевладѣнія уже совершенно не было. Какъ совершалось обезземеленіе новгородскихъ крестьянъ или «смердовъ», этого мы въ подробностяхъ не знаемъ, но по уцѣлѣвшимъ поземельнымъ актамъ XIII, XIV и XV вѣковъ, равно какъ и по отрывочнымъ намекамъ другихъ источниковъ, можемъ объ этомъ догадываться. Такія грамоты, какъ вкладная Варлаама Хутынскаго или завѣщаніе Антонія Римлянина, указываютъ, что монастыри пріобрѣтали свои владѣнія отъ лицъ разнаго общественнаго положенія прежде всего путемъ даренія: при жизни дарителя—посредствомъ вклада, или по его смерти—посредствомъ духовной грамоты. Это вполне понятно въ обществѣ, которое, несмотря на скопленіе нѣкоторыми его членами значительныхъ капиталовъ, жило все-таки по преимуществу при натуральномъ хозяйствѣ: земля оставалась наи-

болѣе значительной и самой распространенной цѣнностью, такъ что естественно и являлась наиболее удобнымъ средствомъ стяжать себѣ молитвы монашествующей братіи для достиженія царства небеснаго. На-ряду съ этимъ монастыри, разумѣется, приобрѣтали земли и посредствомъ покупки и приѣма въ залогъ, тѣмъ болѣе, что кредитныя операціи, по всѣмъ признакамъ, достигли въ Новгородѣ значительнаго развитія. Все сказанное о монастырскомъ землевладѣніи одинаково примѣнимо и къ землевладѣнію владыки или архіепископа новгородскаго. Что касается до громаднхъ вотчинъ новгородскихъ бояръ, то покупка и приѣмъ въ залогъ, несомнѣнно, также были важнымъ средствомъ сосредоточенія въ боярскихъ рукахъ большихъ земельныхъ богатствъ: это видно изъ новгородскихъ купчихъ и закладныхъ XIV и XV вѣковъ и также изъ намековъ договорныхъ грамотъ Новгорода съ князьями, свидѣтельствующихъ, что «покупка сель» была обычнымъ въ то время явленіемъ. Наконецъ, не подлежитъ сомнѣнію, что новгородское боярство было наиболее богатымъ денежнымъ капиталомъ классомъ общества; оно приобрѣтало этотъ капиталъ различными способами: сначала торговлей, какъ свидѣтельствуется сказаніе о добромъ молодцѣ, задавшемся «къ купцу купцу богатому, ко боярину»; потомъ, когда въ XII еще вѣкѣ уставомъ о торговомъ судѣ новгородскаго князя Всеволода бояре были отодвинуты въ этомъ отношеніи на второй планъ купеческимъ классомъ, особенно выпшимъ его слоемъ, такъ называемыми «житыми людьми», боярство стало заниматься банкирской дѣятельностью, ссужать торговый классъ деньгами за проценты. Сохранилось преданіе о такомъ банкирѣ Щилѣ, который былъ посадникомъ, т. е. бояриномъ, потому что посадники всегда выбирались только изъ бояръ; имѣемъ и лѣтописное извѣстіе отъ самаго начала XIII вѣка—о разграбленіи дома посадника Дмитра Мироскинича, при чемъ народомъ были найдены «доски», на которыхъ «безъ числа» были записаны денежные суммы, ; розданныя Дмитромъ въ долгъ разнымъ лицамъ. Наконецъ, и политическая дѣятельность бояръ, занятіе ими должностей посадника, тысяцкаго, сотскихъ, кончанскихъ и улчанскихъ старость увеличивали ихъ денежные средства: помимо судебныхъ доходовъ этимъ должностнымъ лицамъ поступалъ особый поборъ съ крестьянъ, называвшійся «поральемъ посадничимъ и тысяцкаго». Сосредоточивая въ своихъ рукахъ столь значительные денежные капиталы, бояре естественно употребляли большую часть ихъ на приобрѣтеніе земли, тѣмъ болѣе, что это еще болѣе увеличивало ихъ политическій вѣсъ и вліяніе, позволяя подчинить себѣ все сельское населеніе. Но помимо покупки и приѣма въ залогъ су-

ществовалъ еще способъ приобрѣтенія земли, несомнѣнно примѣнявшійся въ нѣкоторыхъ по крайней мѣрѣ случаяхъ новгородскими боярами: это—пріемъ свободныхъ людей, владѣвшихъ землею, въ закладни. Недаромъ въ договорныхъ грамотахъ Новгорода съ князьями, съ цѣлью преградить князьямъ возможность обогатиться землею въ Новгородскомъ краѣ, постоянно запрещается князьямъ держать гдѣ бы то ни было закладней. Что такое закладни или закладники,—это превосходно выяснено въ работѣ г. Павлова-Сильванскаго «Закладничество—патронатъ»: закладни—это то же, что коммендаты въ средневѣковыхъ государствахъ Западной Европы; это лица, отдававшіяся подъ покровительство какого-либо сильнаго человѣка, подчинявшіяся ему со своими землями въ податномъ и финансовомъ отношеніяхъ и изъятыя поэтому изъ вѣдомства общихъ властей.

Такъ крестьянство было обезземелено въ пользу владыки, монастырей и бояръ, завладѣвшихъ главною массою земель въ краѣ. Въ рукахъ купцовъ и земцевъ или своеземцевъ осталось сравнительно мало владѣній: купцы отвлекались отъ земли торговлей, а земцы были недостаточно сильны экономически, чтобы противодѣйствовать росту крупной боярской и церковной вотчины. Но въ землевладѣніи своеземцевъ сохранилось наибольшее количество архаическихъ чертъ, бросающихъ свѣтъ на болѣе древнія поземельныя отношенія,—тѣ именно, которыя засвидѣтельствованы, какъ увидимъ, и Псковской судной грамотой: своеземцы въ ихъ отношеніи къ землѣ являются очень часто сябрами, совладѣльцами; иногда одной деревней владѣтъ нѣсколько человѣкъ, при чемъ доля каждого различна, мѣняется въ зависимости отъ его отношенія къ родоначальнику, положившему основаніе деревнѣ, или къ лицу, купившему извѣстную долю деревни и передавшему ее по наслѣдству. Предположимъ, на примѣръ, что какой-либо своеземецъ, владѣя деревней одинъ, имѣлъ двухъ сыновей; каждому досталось по половинѣ деревни; но у одного изъ нихъ былъ одинъ сынъ, у другого двое: очевидно, на долю перваго придется $\frac{1}{2}$ деревни, а на долю каждого изъ двухъ послѣднихъ лишь по $\frac{1}{4}$ деревни. Въ послѣдующихъ поколѣніяхъ дробленіе шло дальше, что усложнялось еще отчужденіемъ участковъ въ руки чужеродцевъ. Этимъ послѣднимъ, очевидно, объясняется и та череполосица въ землевладѣніи, которая поражаетъ всякаго при чтеніи псковскихъ писцовыхъ книгъ конца XVI вѣка: въ помѣстьяхъ часто $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$ имѣнія оказывается принадлежащей церкви или монастырю. Очевидно, еще въ то время, когда помѣстная система не утвердилась въ Псковской области, а господствовала полная собственность на землю на сябринномъ правѣ,

отдѣльные сябры путемъ дара, завѣщанія, залога или продажи передавали свои доли въ собственность церковныхъ учреждений. Итакъ, въ землевладѣнннхъ своеземцевъ сохранились сябринныя отношенія, представляющія собою вторичную форму отношенія лица къ землѣ при господствѣ добывающей промышленности. Первичной формой, какъ мы знаемъ, было вольное землепользованіе, существовавшее до тѣхъ поръ, пока населеніе было чрезвычайно рѣдкимъ. Съ ростомъ населенія увеличилась потребность въ землѣ. Поэтому отдѣльныя семьи стали прочнѣе осѣдаты на занятомъ участкѣ, размежевались между собою, а затѣмъ появился и торговый оборотъ съ землей: землю стали покупать и продавать. Первоначально члены семейнаго союза не могли отчуждать принадлежащей каждому доли безъ согласія всѣхъ, но потомъ это условіе выродилось въ право выкупа, все болѣе и болѣе слабѣвшее въ свою очередь, такъ что въ самую замѣшались и чужеродные элементы, владѣвшіе сообща съ ея членами землю. Хозяйство—и даже пахотное—велось сначала всей семьей нераздѣльно, но затѣмъ постепенно стали разверстываться поля, предназначенныя для земледѣльческой культуры, далѣе сѣнокосы, потомъ луга, выгоны, лѣса и другія угодья. Раздѣлъ не всегда былъ окончательнымъ: иногда онъ носилъ лишь временный характеръ, предполагавшій періодическіе передѣлы, часто и осуществлявшіеся; въ послѣдствіи такіе передѣлы обыкновенно уничтожались, раздѣлъ дѣлался окончательнымъ, и совершался такимъ образомъ переходъ къ подворно-наслѣдственному землевладѣнію. Этотъ окончательный результатъ—полный раздѣлъ между сябрами и самостоятельное веденіе хозяйства каждымъ изъ нихъ—констатированъ новгородскими писцовыми книгами конца XV вѣка въ тѣхъ ихъ частяхъ, въ которыхъ говорится о землевладѣннхъ земцевъ. Что же касается до всѣхъ намѣченныхъ сейчасъ подробностей процесса перехода отъ вольной формы землепользованія къ сябринному землевладѣнію и отъ сябриннаго землевладѣнія къ подворно-наслѣдственному, то источники исторіи Новгорода и Пскова не даютъ возможности съ ними ознакомиться, такъ что наше изображеніе опирается на изученіе матеріала по сѣверному и сибирскому землевладѣнію, изложенному въ работахъ г-жи Ефименко и г. Кауфмана. Только одинъ источникъ оправдываетъ возможность такой аналогіи,—это Псковская судная грамота, неопровержимо доказывающая, что среди крестьянскаго населенія областей древне-русскихъ вольныхъ городовъ въ XIII—XV вѣкахъ господствовало именно сябринное землевладѣніе: 106 статья этого юридическаго сборника прямо говоритъ о земляхъ и бортяхъ, которыми владѣютъ «многіе сябры», при чемъ связь между сябрами признается

столь тѣсной, что въ тяжбѣ о землѣ за всѣхъ сябровъ долженъ присягать лишь одинъ изъ нихъ.

Итакъ, ростъ населенія при сохранявшемся, не смотря на успѣхи земледѣлія, господствѣ добывающей промышленности, превратилъ въ области Новгорода и Пскова вольное землепользование въ землевладѣніе складниковъ, сябровъ или сосѣдей; все усиливавшійся приливъ денежныхъ капиталовъ, сосредоточивавшихся притомъ въ высшемъ слоѣ населенія и не превратившихъ натуральное хозяйство въ денежное, создалъ крупную боярскую вотчину; наконецъ, общія экономическія условія системы натурального хозяйства повели къ развитію землевладѣнія церковныхъ учреждений. Таковы были формы землевладѣнія въ вольныхъ городскихъ общинахъ древней Руси и въ такой связи стояли эти формы съ хозяйственными условіями времени.

IV.

Мы должны теперь перейти къ изображенію формъ землевладѣнія въ сѣверной и центральной Россіи въ удѣльное время. Не подлежитъ сомнѣнію, что въ началѣ этого періода и на сѣверѣ, и въ области Волги и Оки преобладающимъ было землевладѣніе крестьянское, и—по крайней мѣрѣ по отношенію къ сѣверу—доказано, что крестьяне владѣли землею на сябринномъ правѣ. Это вполнѣ понятно, такъ какъ господствующей отраслью производства все еще оставалась добывающая промышленность, хотя ей все болѣе и болѣе приходилось уступать передъ развивающимся и распространяющимся земледѣліемъ. Но въ предшествующемъ изложеніи мы достаточно останавливались на юридическихъ признакахъ, характеризующихъ землевладѣніе сѣверныхъ складниковъ, сябровъ или сосѣдей, почему и отмѣтимъ здѣсь, въ дополненіе къ сказанному, что, во-первыхъ, на сѣверѣ позднѣе, чѣмъ въ Новгородскомъ краѣ, сохранились нѣкоторыя очень древнія черты складничества, и, во-вторыхъ, новѣйшій, недавно открытый источникъ, такъ называемый Судебникъ царя Феодора Іоанновича, вполнѣ подтверждаетъ выводы изслѣдователей о юридической природѣ складническихъ союзовъ. Выше было уже замѣчено, что первоначально складники вели хозяйство нераздѣльно, что даже и пашня пахалась сообща, и потомъ уже производился раздѣлъ продукта. Въ области Новгорода и Пскова эти отношенія исчезли, повидимому, давно,—въ XIII или XIV вѣкахъ. Не то было на сѣверѣ: здѣсь

еще во второй половинѣ XVI вѣка сплошь и рядомъ встрѣчается совмѣстная эксплуатація пахотной земли всѣми складниками нераздѣльно: въ актахъ Двинскаго, Устюжскаго и Сольвычегодскаго уѣздовъ очень нерѣдки прямыя указанія въ этомъ смыслѣ ¹⁾. Такая архаичность сохранившихся на сѣверѣ даже въ столь позднее время, какъ XVI в., отношеній не должна возбуждать наше удивленіе: и въ хозяйственномъ отношеніи сѣверъ являлся отсталой областью, какою онъ остается въ значительной мѣрѣ и теперь.

Законодательный проектъ 1589 года—Судебникъ царя Феодора Иоанновича—содержитъ въ себѣ нѣсколько любопытныхъ статей о складникахъ. Сюда относятся статьи 159, 160, 162, 174 и 225. Последняя изъ этихъ статей замѣчательна, впрочемъ, лишь тѣмъ, что подтверждаетъ тождество понятій «сосѣдъ» и «складникъ», но первыя четыре характеризуютъ и поземельныя отношенія складниковъ. 159-я статья Судебника важна прежде всего въ томъ отношеніи, что констатируетъ господство передѣловъ въ складническомъ землевладѣніи конца XVI вѣка; только что было указано, что мѣстами сохранилась и болѣе древняя форма—полная нераздѣльность въ веденіи хозяйства, но, очевидно, это было уже не типично и, для этого времени, являлось исключеніемъ; повидимому, и окончательный раздѣлъ между складниками практиковался еще рѣдко. Та же статья убѣждаетъ, что передѣлъ распространялся обыкновенно на всѣ угодыя—поля, наволоки, вообще «всякія земли и угодыя», пожни и путики. Третье любопытное указаніе 159-й статьи относится къ основному условію, при которомъ производили передѣлы: для его осуществленія необходимо было появленіе въ деревнѣ новаго жильца-складника и заявленіе съ его стороны требованія «землю делити». Наконецъ, отмѣчены и основанія передѣла,—онъ долженъ производиться «по купчимъ», т. е. на основаніи тѣхъ актовъ, которые санкціонировали владѣльческія права каждого изъ складниковъ на извѣстную долю общей земли ²⁾. 160-я статья ³⁾

¹⁾ См. нашу книгу „Сельское хозяйство Московск. Руси въ XVI вѣкѣ“, стр. 166—167.

²⁾ Вотъ текстъ интересной для насъ части 159 статьи: „А приедеть въ деревню новои жилецъ и захочеть землю делити во всю землю,—и деревню въ поляхъ, наволокахъ (издатель печатаетъ „на волокахъ“, но, очевидно, надо читать оба слова за одно) і во всякихъ земляхъ и угодыа делити, земля и пожни и угодыа и путики повытно, по купчимъ“. „Судебникъ ц. Феод. Иоан.“, М., 1900, стр. 42.

³⁾ „А кои складникъ захочеть на новое место двор ставить или иную хоромину, и ему поставитъ отъ далнихъ хороминъ въ любомъ месте, где захочеть, хотя на хмельникъ. А отдать ему земля в любомъ месте, гдѣ другой полюбитъ. А на какову землю наставитце дворомъ или храниною, такова земля и отдать, а свѣрьхъ того по любье“. Тамъ же.

отмѣчаетъ право каждаго складника свободно выбирать себѣ изъ общей земли мѣсто для двора при томъ лишь ограниченіи, что если онъ для этого возьметъ землю изъ участка, которымъ пользуется другой складникъ, то обязанъ дать ему соотвѣтствующее вознагражденіе изъ своего участка. Эта свобода выбора мѣста для двора изъ всей земли служитъ доказательствомъ крѣпости складническаго союза, живо сознававшего себя единымъ цѣлымъ, и приводитъ спова на память тѣ случаи, когда всѣ складники ведутъ хозяйство нераздѣльно: очевидно, отмѣченный 160-ю статьей порядокъ является остаткомъ болѣе близкихъ древнѣйшихъ отношеній между складниками. Впрочемъ, 162-я ст. вноситъ еще одно ограничивающее условіе: при-усадебную землю другого складника можно было занимать подъ постройки лишь въ томъ случаѣ, если владѣлецъ самъ не воздвигалъ здѣсь никакой хозяйственной постройки ¹⁾). Наконецъ, въ статьѣ 174-й содержится постановленіе, въ силу котораго никто изъ складниковъ безъ раздѣла съ другими не имѣетъ права распахать «молоди», т. е. прежнія пашни, обращенныя въ перелогъ и поросшія мелкимъ молодымъ лѣсомъ ²⁾).

И здѣсь, слѣдовательно, тѣсная связь и взаимная зависимость членовъ складническаго союза выступаетъ весьма выпукло.

Итакъ, нѣтъ сомнѣнія, что крестьянское землевладѣніе на сѣверѣ въ удѣльное время и даже гораздо позднѣе было складническимъ, сябриннымъ или сосѣдскимъ, что соотвѣтствовало и господству въ этой области добывающей промышленности при сохраненіи натуральной системы хозяйства.

Но помимо перехода отъ вольнаго землепользованія къ складническому владѣнію, на сѣверѣ въ удѣльное время произошла еще одна перемѣна въ землевладѣльческомъ правѣ, перемѣна, правда, поверхностная, случайная и отчасти временная, но тѣмъ не менѣе заслуживающая того, чтобы быть отмѣченной: мы разумѣемъ образованіе во многихъ мѣстахъ сѣвернаго края крупныхъ вотчинъ новгородскихъ бояръ и владыки, или архіепископа новгородскаго. Эта перемѣна была поверхностной, потому что она не повела къ коренной перестройкѣ крестьянскаго землевладѣнія на сѣверѣ: бояре и владыка приобрѣли лишь высшее

¹⁾ „А складникъ у складника въ одной деревне наставитце хароминоу на подворную землю, и ему земля очистити, свести харомина, толко другому на то место что ставити. А будетъ ничево на то мѣсто, и ему земля противу того взяти въ любомъ мѣсте“. Тамъ же.

²⁾ „А у которыхъ сель и деревенъ есть молоди, и техъ молоди прежнихъ выпашенъ и техъ лѣсовъ складниками межъ собою безъ делу и безъ жеребья ни сетчи, ни пахати“ и т. д. Тамъ же, стр. 45.

право на землю, подобное праву удѣльныхъ князей на всю территорию ихъ княжества или такъ называемому *dominium directum* или *emipens* феодальныхъ сюзереновъ; по существу это было право, близкое къ праву государства на его территорию, хотя, конечно, съ большей примѣсью гражданско-правовыхъ элементовъ; подъ покровомъ этого высшего права собственности на землю въ боярскихъ и владѣчныхъ вотчинахъ сѣвера продолжали господствовать складническое крестьянское землевладѣніе и свободный оборотъ земли между крестьянами, прекращенный постепенно и въ черныхъ, и во владѣльческихъ земляхъ лишь гораздо позднѣе,—въ XVII вѣкѣ¹⁾. Но появленіе боярской вотчины на сѣверѣ было явленіемъ не только поверхностнымъ, но и случайнымъ въ томъ смыслѣ, что она была создана не мѣстными экономическими условіями, а хозяйственными особенностями Новгородскаго края: только пріобрѣтеніе капиталовъ путемъ новгородской торговли доставило боярамъ необходимыя для покупки и заселенія земель средства. Наконецъ, временнымъ надо признать развитіе боярской и архіепископской вотчины на сѣверѣ по той причинѣ, что съ паденіемъ новгородской вольности въ концѣ XV вѣка эта вотчина была вырвана съ корнемъ московскими государями и замѣнена такъ называемымъ чернымъ землевладѣніемъ, субъектомъ котораго является государство. Фактически перемена тутъ сводилась къ тому, кому должны были платить оброкъ крестьяне: раньше они его платили боярамъ и владыкѣ, съ конца XV вѣка стали платить московскому государю. Право свободного отчужденія и всѣ складническіе порядки отъ этого нисколько не пострадали и оставались нетронутыми до половины XVII вѣка.

V.

Въ собственно сѣверо-восточной Руси, въ области Волги и Оки съ ихъ притоками, въ началѣ удѣльнаго періода, когда до-бывающая промышленность и здѣсь еще подавляла собою всѣ другія отрасли народнаго производства, мы въ правѣ предполагать также господство крестьянскаго складническаго владѣнія земель. Лучшимъ доказательствомъ справедливости такого предположенія, кромѣ параллельныхъ явленій въ другихъ областяхъ

¹⁾ См. „Полное собр. законовъ Рос. Имперіи“, № 10; *Ивановъ*, „Къ исторіи крестьянскаго землевладѣнія на сѣверѣ“ въ „Трудахъ Археологич. Комиссіи Моск. Археологич. Общества“, т. I, вып. 5-й, столб. 420—430; ср. тамъ же, ст. 525—526.

страны, служить то обстоятельство, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ и позднѣе добывающая промышленность продолжала играть первенствующую роль въ экономической жизни, сябринное владѣніе сохранилось вполнѣ и при томъ въ видѣ нераздѣльнаго веденія хозяйства, при дѣлежѣ лишь продукта. Такъ было, напримѣръ, еще въ XVI в. въ Сольгалицкомъ уѣздѣ, гдѣ основной отраслью народнаго производства продолжало быть издревле заведенное солевареніе. До насъ дошелъ рядъ любопытныхъ актовъ о сябринномъ владѣніи варницами и соляными колодезьями. Вотъ любопытный образецъ, относящійся къ 1577—78 г. и взятый наудачу изъ множества ему подобныхъ: «Я, Иванъ Петровъ сынъ Мичуринъ, съ сыномъ Ѳеодоромъ дали въ Троицкій-Сергіевъ монастырь четверть варницы у Соли-Галицкой на посадѣ съ прѣномъ ¹⁾ и со всякой варничной порядою ²⁾, да разсолъ въ Карабкинскомъ колодезѣ половину получетверти колодезя ³⁾. А въ шабрахъ варница съ Осипомъ Киселевскимъ да съ Ѳеодоромъ Рыловымъ, а колодезь въ шабрахъ съ Осипомъ же, да съ Ѳеодоромъ, да съ Дурашемъ Успенскимъ, да съ Иваномъ Семеновымъ и съ иными товарищами ⁴⁾. Въ числѣ разныхъ предметовъ, обозначаемаыхъ общимъ именемъ «варничной поряды или порядни», значится часто и земля, при чемъ иногда прямо указывается, что она «съ шабры не въ дѣлу» ⁵⁾. Заслуживаетъ также упоминанія и то обстоятельство, что въ центральной Россіи даже въ XVII вѣкѣ были сосѣди или сябры только въ городахъ и слободахъ съ городскимъ характеромъ: такъ было, напр., въ Калугѣ, по свидѣтельству переписной книги 1645—47 гг. ⁶⁾, затѣмъ въ тоже время въ Суздаль ⁷⁾ и въ Рѣшетской слободѣ Суздальскаго уѣзда ⁸⁾ и т. д. Надо думать, что и въ центральныхъ уѣздахъ, какъ и на сѣверѣ и въ Новгородско-Псковскомъ краѣ, совершался извѣстный уже намъ процессъ разложенія складническаго землевладѣнія, но теченіе этого процесса здѣсь было ускорено важной переменной въ народнохозяйственной жизни, переменной, замѣтной уже въ XIV вѣкѣ: въ то время, какъ въ другихъ областяхъ страны господствовала еще добывающая про-

¹⁾ Прѣвъ—сковрода, употреблявшаяся при солевареніи.

²⁾ Т. е. со всѣми принадлежностями для солеваренія.

³⁾ Т. е. $\frac{1}{16}$ колодезя.

⁴⁾ Моск.-Арх. Мин. Юстиціи, грамоты коллегіи экономіи, Сольгалицкій уѣздъ, № 3.376.

⁵⁾ Моск. Арх. Мин. Юст., грамоты коллегіи экономіи, Сольгалицкій уѣздъ, 3.380, 3.386, 3.391 и т. д.

⁶⁾ Моск. Арх. Мин. Юст., писцовыя книги, кн. 162, листы 2, 4, 43 и об.

⁷⁾ Моск. Арх. Мин. Юст., писц. кн. 465, лл. 67 об., 71.

⁸⁾ Тамъ же, л. 87.

мышленность, на Волгѣ и Окѣ на первый планъ выдвинулось земледѣіе. Это первостепенное значеніе земледѣльческой промышленности явственно выступаетъ въ частныхъ актахъ ¹⁾, въ судебныхъ спискахъ или протоколахъ судебного разбирательства по гражданскимъ и уголовнымъ дѣламъ ²⁾, въ житіяхъ святыхъ, каково, напр., житіе св. Сергія Радонежскаго, наконецъ, въ такомъ любопытномъ памятникѣ, какимъ является уставная грамота митрополита Кипріана, относящаяся къ концу XIV вѣка и опредѣляющая повинности крестьянъ, жившихъ на земляхъ митрополичьихъ монастырей: пахота, посѣвъ, жатва, молотба—вотъ главныя занятія крестьянъ по этому акту. Въ теченіе XV вѣка земледѣіе сдѣлало, конечно, еще большіе успѣхи, и нѣтъ ничего удивительнаго, что, по писцовымъ книгамъ XVI столѣтія, мы наблюдаемъ въ большей части центральныхъ уѣздовъ прочно установившуюся паровую-зерновую систему съ трехпольнымъ сѣвооборотомъ и примѣненіемъ навознаго удобрения.

Экономическая природа новой достигшей господства отрасли промышленности опредѣлила тѣ существенныя перемѣны, которыя совершились въ землевладѣльческомъ правѣ. Земледѣіе требуетъ довольно значительной, сравнительно съ добывающей промышленностью затраты капитала. Первобытный звѣроловъ, рыболовъ или пчеловодъ почти совершенно не нуждаются въ капиталѣ для своихъ производительныхъ цѣлей: нетрудно и недорого устроить тенета для звѣря, обзавестись рогатиной, сплести сѣти для рыбы; чтобы собрать воскъ и медъ, стоитъ только найти въ лѣсу дуплистое дерево и сдѣлать въ немъ нехитрыя приспособленія для пчелы или даже просто отыскать дерево, гдѣ пчелы уже живутъ. Не то въ земледѣіи: при занятіи имъ въ лѣсной странѣ необходимо выжечь лѣсъ, выкорчевать пни, распахать новъ, засѣять ее, переборонить поле, сжать и вымолотить хлѣбъ, смолотъ зерно. Всѣ эти операціи требуютъ значительной затраты времени, слѣдовательно предполагаютъ уже у земледѣльца наличность извѣстнаго потребительнаго запаса; кромѣ того операціи эти настолько сложны, что вызываютъ употребленіе земледѣльческихъ орудій — плуга, сохи, бороны, косы или серпа, цѣпа и т. д.; если къ этому прибавить необходимость сѣмянъ для посѣва, рабочаго скота и хозяйственныхъ построекъ,

¹⁾ Большинство изъ нихъ хранится въ Московскомъ Архивѣ Мин. Юстиціи и описано *Мейсикомъ* въ IV книгѣ „Описанія документовъ и бумагъ архива“.

²⁾ Много издано въ „Актахъ, относящихся до гражданской расправы древней Россіи“ Федотова-Чеховскаго.

то станетъ понятной настоящая нужда земледѣльца въ капиталѣ. Между тѣмъ въ центральной Руси въ удѣльное время капиталъ былъ несравненно менѣе распространенъ въ массѣ населенія, чѣмъ это было даже въ области Новгородѣ и Пскова. Отдѣльная крестьянская семья сплошь и рядомъ не обладала поэтому достаточными для успѣшнаго веденія земледѣльческаго хозяйства средствами, а это заставляло ее нерѣдко отказываться отъ земли за ссуду инвентаремъ, получаемую отъ лицъ, болѣе состоятельныхъ, или садиться на землю, принадлежащую этимъ состоятельнымъ лицамъ. Экономически сильными, капиталистами были въ то время прежде всего князья, великіе и удѣльные, затѣмъ архіерейскія каѳедры, по преимуществу митрополичья, монастыри и, наконецъ, бояре. Въ рукахъ этихъ физическихъ и юридическихъ лицъ и сосредоточилась постепенно главная масса земельного богатства страны, произошло такъ называемое «окняженіе» и «обояреніе» земли, такъ что даже черная или тяглая земля, т.-е. собственно крестьянская, стала считаться княжеской. Это была очень важная перемѣна въ землевладѣльческомъ правѣ: сущность ея сводится къ тому, что не только владѣльческія, монастырскія, архіерейскія, но и черныя земли не могли быть отчуждаемы крестьянами, что крестьяне потеряли право свободного распоряженія землей, составившее такой отличительный признакъ складническаго землевладѣнія. Чтобы убѣдиться въ томъ, что черныя крестьяне центральной Руси въ XIII—XVI вѣкахъ уже не могли дарить, завѣщать, продавать и закладывать свои земли, стоитъ только обратить вниманіе на исторію монастырскаго землевладѣнія на сѣверѣ, гдѣ черное крестьянство, какъ мы знаемъ, сохранило право отчужденія земли, на которой оно сидѣло: тогда какъ на сѣверѣ мы постоянно встрѣчаемъ вклады, завѣщанія, продажу и залогъ земли крестьянами въ монастыри, — этого *ни разу* не встрѣчается въ исторіи монастырскихъ вотчинъ центра¹⁾; объяснить это нельзя иначе, какъ тѣмъ, что право отчужденія земли давно, въ началѣ удѣльнаго времени, было здѣсь потеряно черными крестьянами.

Но перемѣны въ землевладѣльческомъ правѣ не ограничились правоограниченіемъ крестьянъ, ихъ обезземеленіемъ и образованіемъ крупнаго землевладѣнія князей, церковныхъ учреждений и бояръ. Дѣло въ томъ, что сбытъ земледѣльческихъ продуктовъ былъ чрезвычайно слабо развитъ, находился въ зачаточномъ состояніи; натуральное хозяйство оставалось еще не-

¹⁾ Исторія монастырскихъ вотчинъ сѣвера и центра извѣстна по документамъ во всѣхъ подробностяхъ; она изложена нами въ „Сельскомъ хозяйствѣ Моск. Руси въ XVI в.“ на стр. 377—398 и 402—429.

поколебленнымъ. Вотъ почему, несмотря на господство крупнаго *землевладѣнія*, нельзя было вести крупное *земледѣльческое хозяйство*, такъ какъ для крупнаго хозяйства необходимъ обширный и свободный рынокъ, а такого рынка нѣтъ и быть не можетъ при системѣ натурального хозяйства. Притомъ вотчины были слишкомъ обширны, чтобы можно было устроить управленіе ими на началѣ централизаціи. Отсюда возникаетъ потребность въ раздачѣ крупныхъ имѣній по частямъ посредникамъ, третьимъ лицамъ, которыя занимали бы промежуточное положеніе между крестьянами, съ одной стороны, и крупными *землевладѣльцами*— съ другой. И вотъ прежде всего *князь удѣльнаго періода* начинаетъ раздавать свои земли *во временное и условное владѣніе* сначала своимъ несвободнымъ слугамъ, необходимымъ ему въ его хозяйствѣ въ качествѣ приказчиковъ или «туновъ», какъ тогда выражались. Это удобно и для этихъ слугъ, создавая имъ въ извѣстной степени обезпеченное существованіе, и для князя, такъ какъ даетъ ему возможность вознаграждать своихъ слугъ за трудъ земель, не теряя послѣдней, потому что ее всегда можно взять обратно, и не затрачивая дорогого въ то время денежнаго капитала. Такъ въ сферѣ княжескаго дворцоваго *землевладѣнія* и хозяйства зародилась и воплотилась въ дѣйствительности идея *помѣстья*, т.-е. временнаго владѣнія землей подъ условіемъ службы и съ правомъ того, кто пожаловалъ землю, отобрать ее у временнаго владѣльца или помѣщика. Слѣды *помѣстья* на княжеской землѣ наблюдаются впервые, по нашимъ источникамъ, въ завѣщаніи великаго князя Ивана Калиты, составленномъ въ 1328 году. Но *помѣстная* система настолько органически связана съ системой натурального хозяйства, что стала естественно и неудержимо расти и распространяться не на однихъ несвободныхъ хозяйственныхъ слугъ князя, но также и на его свободныхъ военныхъ слугъ, т.-е. бояръ, дворянъ и дѣтей боярскихъ. Мало того: и архіереи, и монастыри, и даже отдѣльныя лица служилаго класса, обладавшія обширными землями, стали раздавать значительную часть своихъ владѣній въ *помѣстное владѣніе*. Это можно наблюдать въ XIV, XV и XVI вѣкахъ на земляхъ митрополита московскаго, впоследствии патриарха ¹⁾, у архіереевъ, въ родѣ архіепископовъ новгородскаго и рязанскаго ²⁾, и у бояръ и другихъ служилыхъ людей по тверской писцовой книгѣ первой половины XVI вѣка ³⁾. Въ 1593 г. въ вотчинахъ Троицкаго-Сергіева монастыря въ Московскомъ

¹⁾ Сельское хозяйство Моск. Руси въ XVI в., стр. 461.

²⁾ Тамъ же.

³⁾ Лапто, „Тверской уѣздъ въ XVI в.“, М., 1893, стр. 228.

уѣздѣ болѣе 80-ти поселеній было роздано разнымъ лицамъ во временное и условное владѣніе ¹⁾ и т. д.

На-ряду съ помѣстьемъ господство земледѣлія повело къ распространенію еще одного типичнаго для этого историческаго періода вида земельного владѣнія,—монастырской вотчины. Мы уже видѣли, что одной изъ главныхъ причинъ роста монастырскихъ земель было то обстоятельство, что монастыри принадлежали къ числу крупныхъ капиталистовъ. Другая причина также была отмѣчена выше, при изученіи землевладѣнія въ Новгородскомъ краѣ: она заключалась въ томъ, что при натуральномъ хозяйствѣ земля была почти единственной значительной цѣнностью, почему ею по преимуществу и можно было дѣлать вклады въ монастыри.

Постепенно, по мѣрѣ развитія земледѣлія, при сохраненіи системы натурального хозяйства, большая часть территоріи государства перешла въ помѣстное и монастырское владѣніе. Въ XVI вѣкѣ было не мало уѣздовъ, въ которыхъ почти вся земля сплошь была монастырская или помѣстная, и безъ преувеличенія можно сказать, что не было ни одного уѣзда (кромя сѣверныхъ), въ которомъ помѣстья и монастырскія земли не занимали бы большей части территоріи. Писцовыя книги не оставляютъ въ этомъ ни малѣйшихъ сомнѣній. По нимъ видно, напримѣръ, что въ новгородскихъ пятинахъ отъ 75 до 94% всей территоріи находилось въ помѣстномъ владѣніи; въ Казанскомъ уѣздѣ помѣстья занимали 65% всей площади, въ Коломенскомъ 59%, въ Вяземскомъ 97, а въ Московскомъ хотя подъ помѣстьями значилось 34% всей территоріи уѣзда, но 35% приходилось на монастырскія вотчины, такъ что на долю всѣхъ другихъ видовъ земельного владѣнія оставалось гораздо менѣе трети всей площади.

Въ началѣ нашей статьи, когда рѣчь шла о древнѣйшихъ землевладѣльческихъ формахъ въ ихъ связи съ хозяйственнымъ строемъ, было указано, что въ этихъ отношеніяхъ Россія не представляетъ исключенія изъ общаго правила, что и другимъ странамъ свойственны тѣ же формы и отношенія. Это же надо сказать и о вторичныхъ и третичныхъ формахъ землевладѣнія, появляющихся при развитіи натурального хозяйства: о складничествѣ (вторичная форма) и о помѣстьѣ и монастырской вотчинѣ (третичныя формы). Это и понятно: если землевладѣльческое право въ своихъ существенныхъ чертахъ опредѣляется экономической природой господствующей отрасли народнаго про-

¹⁾ „Сельское хоз. М. Руси въ XVI в.“, стр. 144.

изводства, то развитіе юридическихъ отношеній лица къ землѣ должно быть вездѣ въ извѣстной мѣрѣ одинаково, потому что вездѣ смѣна господствующихъ отраслей производства совершается приблизительно въ одинаковомъ порядкѣ, что, въ свою очередь, зависитъ отъ постепеннаго увеличенія народонаселенія. То вольное землепользованіе, которое наблюдалось въ древнѣйшую эпоху у германцевъ, превратилось потомъ въ дворовое, т.-е. въ то же складническое или сябринное: всѣ эти *consorterie, façae, vicini* и т. д., съ которыми приходится постоянно встрѣчаться при чтеніи варварскихъ Правдъ, грамотъ и формулъ,—не что иное, какъ группы русскихъ сябровъ или сосѣдей¹⁾. Во Франціи парсоньеріи, вполне соотвѣтствовавшія нашимъ складническимъ союзамъ, уцѣлѣли въ нѣкоторыхъ отсталыхъ въ экономическомъ отношеніи областяхъ даже въ XVIII вѣкѣ²⁾. Сябры съ совершенно тѣмъ же значеніемъ, какъ у насъ на сѣверѣ, встрѣчаются, наконецъ, въ Литовской Руси³⁾. Что касается до помѣстья, то, благодаря работамъ ряда изслѣдователей, въ настоящее время не можетъ быть сомнѣнія, что ему соотвѣтствовали въ разныхъ европейскихъ и внѣевропейскихъ странахъ совершенно параллельныя формы землевладѣнія, ничѣмъ не отличавшіяся отъ него по своей юридической природѣ: таковы бенефиціи на западѣ Европы, икта — въ мусульманскихъ странахъ, стратіотское имѣніе—въ Византіи; подобныя же землевладѣльческія формы существовали въ Индіи и въ древне-американскихъ государствахъ.

Итакъ, на зарѣ исторіи, въ первую стадію развитія натурального хозяйства, когда населеніе чрезвычайно рѣдко и главной отраслью народнаго производства является добывающая промышленность, всюду господствуетъ вольное землепользованіе. Вторая стадія въ развитіи натурального хозяйства, отличающаяся начавшейся борьбой земледѣлія съ добывающей промышленностью, отмѣчена преобладаніемъ складническаго или сябриннаго землевладѣнія, при чемъ тамъ, гдѣ соціальныя верхи успѣваютъ сосредоточить въ своихъ рукахъ болѣе или менѣе значительный капиталъ, видную роль начинаетъ играть крупное частное землевладѣніе. Наконецъ, съ побѣдой земледѣлія наступаетъ третья и послѣдняя стадія развитія натурального хозяйства; типическими

¹⁾ Ковалевскій, „Экономич. ростъ Европы“, т. I, стр. 39, 40.

²⁾ Картьель, „Крестьяне и крестьянскій вопросъ во Франціи въ послѣдней четверти XVIII в.“, М., 1879, стр. 145, 146.

³⁾ Любавскій, „Областное дѣленіе и мѣстное управленіе Литовско-Русскаго госуд.“, стр. 448—449.

для этой стадіи формами землевладѣнія надо считать помѣстье и монастырскую вотчину.

Процессъ развитія натурального хозяйства въ Россіи заканчивается въ половинѣ XVI вѣка, и съ этого времени начинается упадокъ натурально-хозяйственной системы и постепенная замѣна ея зародившимся денежнымъ хозяйствомъ. Изъ сказаннаго видно, что исторія русскаго народнаго хозяйства и русскихъ формъ землевладѣнія въ эпоху господства натурально-хозяйственной системы во многомъ соответствовала тѣмъ же процессамъ въ другихъ странахъ. Гораздо существеннѣе были особенности, обнаружившіяся въ исторіи русскаго землевладѣнія, какъ и въ исторіи экономическаго быта, со времени зарожденія денежнаго хозяйства въ нашемъ отечествѣ. Но разсмотрѣнію этого вопроса должна быть посвящена особая статья.

Денежное хозяйство и формы землевладѣнія въ новой Россіи.

I.

Не такъ еще давно въ русской исторической литературѣ принято было начинать *новую* русскую исторію реформой Петра Великаго, началомъ XVIII вѣка. Въ глазахъ крайнихъ западниковъ Россія до этого времени даже и не жила историческою жизнью, а только подготовлялась къ тому, чтобы благодаря генію Петра сдѣлаться европейской державой. Оспаривать этотъ взглядъ теперь значило бы ломиться въ открытую дверь, — все равно, что оспаривать противоположное мнѣніе славянофильской школы, видѣвшей въ Петровской реформѣ и послѣдующей исторіи лишь печальное уклоненіе отъ коренныхъ началъ національно-русской жизни, выразившихся въ древнерусской исторіи и представлявшихся крайнимъ славянофиламъ кладеземъ всяческой премудрости и выраженіемъ необычнаго своеобразія. Не то, чтобы отголоски обихъ сейчасъ намѣченныхъ воззрѣній исчезли безъ слѣда: они пробиваются нерѣдко и теперь; но все таки это — случайныя переживанія, не болѣе. Послѣ того, какъ миновалъ пароксизмъ беспощадной борьбы славянофиловъ съ западниками, наступилъ періодъ синтеза противоположныхъ историческихъ теорій: изъ нихъ скоро выдѣлилось здоровое зерно, заключавшееся въ томъ что реформу Петра Великаго перестали признавать рѣзкимъ перерывомъ, а, напротивъ, стали связывать ее множествомъ генетическихъ нитей съ историческимъ прошлымъ. Съ тѣхъ поръ началомъ новой русской исторіи стали признавать XVII вѣкъ, эпоху подготовки преобразованій, отерывшуюся великимъ социальнымъ броженіемъ, извѣстнымъ подъ названіемъ смутнаго времени. Такой взглядъ на начало новой Россіи господствуетъ въ настоящее время. Между тѣмъ, едва ли к его можно признать

въ достаточной мѣрѣ основательнымъ. Конечно, не слѣдуетъ забывать, что каждое дѣленіе исторіи народа на періоды носить на себѣ печать условности и относительности по той простой, хотя и неустранимой, причинѣ, что развитіе общества никогда не останавливается и не прерывается, что никогда не бываетъ переломовъ, которые можно было бы отнести къ опредѣленной и совершенно безспорной хронологической датѣ; но при всемъ томъ, если положить въ основу всего построения русской исторіи развитіе народнаго хозяйства, этотъ наиболѣе простой и наименѣе подлежащій дальнѣйшему анализу социальный процессъ, то придется признать неподходящей общепринятую теперь хронологическую грань, отдѣляющую древнюю Россію отъ новой. Не смотря на смуту, въ началѣ XVII вѣка въ русскомъ народномъ хозяйствѣ не совершилось ничего новаго сравнительно съ непосредственно-предшествовавшимъ временемъ, именно со второй половиной XVI столѣтія. *Зато въ пятидесятыхъ годахъ XVI вѣка обнаруживаются дѣйствительно новыя явленія, ясно обрисовываются признаки зарожденія денежнаго хозяйства.* Но прежде чѣмъ перейти къ изученію этихъ признаковъ, ставящихъ внѣ всякаго сомнѣнія то положеніе, что началомъ новой русской исторіи надо считать именно вторую половину XVI вѣка, мы должны сдѣлать небольшое отступленіе въ область экономической терминологіи.

Что такое денежное хозяйство? Въ строгомъ смыслѣ слова это—такое хозяйство, когда *каждый* отдѣльный производитель въ странѣ вовлеченъ въ торговый оборотъ, когда каждый съ продуктомъ своего труда является на рынокъ, отчуждаетъ этотъ продуктъ въ видѣ товара, т. е. превращаетъ его въ деньги, съ тѣмъ, чтобы въ свою очередь эти деньги посредствомъ той же операціи товарнаго обмѣна превратить въ предметы собственнаго потребленія.

Если понимать денежное хозяйство въ такомъ строгомъ, исключительномъ смыслѣ, то придется согласиться съ авторами известной книги «О вліяніи урожаяевъ и хлѣбныхъ цѣнъ на нѣкоторыя стороны русскаго народнаго хозяйства», что наше отечество до сихъ поръ еще является страной по преимуществу натурального хозяйства: вѣдь нѣтъ сомнѣнія, что товарное обращеніе захватило еще далеко *не всѣхъ* производителей Россіи и многихъ изъ тѣхъ, кто даже подвергся этой участи, захватило *не цѣлкомъ*, не заставило ихъ работать *всецѣло* для рынка. Но какъ же быть? Вѣдь для всякаго ясно, что въ хозяйственномъ отношеніи Россія конца XIX вѣка—совершенно не то, чѣмъ она была 400 лѣтъ тому назадъ, когда дѣйствительно, какъ мы знаемъ, господ-

ствовало натуральное хозяйство со всеми его неизбежными последствиями в области форм землевладения. Соединить эти столь различные эпохи значить, очевидно, слить в одно целое совершенно разнородные явления, следовательно—отказаться от их исторического истолкования. Очевидно, строгое определение денежного хозяйства применимо без ограничений только к заключительной стадии развития денежно-хозяйственной системы. Чтобы тот же термин можно было применить к другим стадиям этого эволюционного процесса, надо придать ему известную растяжимость, эластичность. *Денежным* с этой точки зрения надо признать не только такое хозяйство, при котором все производители превращают целиком весь свой продукт в товар, но и такое, когда товарное обращение начинается *проникать в глубины народной жизни*, когда оно захватывает уже не одни высшие классы, а отчасти и низшие, при чем смотря по степени распространенности товарного обращения можно различить три главных стадии в развитии денежного хозяйства: первую, когда оно только еще зарождается и существует рядом с преобладающим по прежнему натуральным хозяйством; вторую, когда денежное хозяйство, развившись, становится выше натурального, подавляет его, не уничтожив еще вполне; третью, характеризующуюся полным исчезновением натурального хозяйства и безраздельным господством хозяйства денежного. Россия еще не дожила до последней, третьей стадии. Первая стадия завершилась в истории нашего отечества приблизительно в половине XIX века, начавшись, как сейчас будет доказано, в половине XVI столетия. Ее конечным хронологическим предлогом вообще удобно считать крестьянскую реформу 19 февраля 1861 года. Вторая стадия развития денежного хозяйства в России начинается освобождением крестьян и длится до настоящего момента.

II.

Доказательства того, что вторая половина XVI века была временем зарождения денежного хозяйства, делавшего первые робкие шаги вперед в течение всего XVII столетия,—довольно многочисленны и разнообразны. Прежде всего у нас нет недостатка в прямых свидетельствах об оживлении в это время внешних и внутренних торговых сношений. Известно, какую исключительную роль во внешней торговле удельной Руси играл Великий Новгород, как монополизировало эту торговлю в своих руках новгородское купечество: торговые сношения с

Западомъ Европы совершались въ то время почти только черезъ Новгородъ и лишь при посредствѣ новгородскихъ купцовъ. Съ паденіемъ новгородской самостоятельности при Иванѣ III торговое значеніе Новгорода сильно пошатнулось, хотя и далеко не исчезло. Гораздо сильнѣе былъ другой ударъ, нанесенный этому торговому центру нѣсколько десятилѣтій спустя, въ половинѣ XVI вѣка: въ это время на отдаленномъ бѣломорскомъ сѣверѣ завязались мѣновныя и политическія сношенія съ народомъ, экономическая мощь котораго стала развѣртываться какъ разъ тогда, когда поколебалась сила Ганзейскаго союза, этого виднѣйшаго торговаго контрагента новгородцевъ: въ 1553 году капитанъ англійскаго корабля, случайно занесеннаго бурей въ Бѣлое море, Ричардъ Ченслеръ, высадившись на русскомъ берегу, пріѣхалъ въ Москву, былъ ласково принятъ Иваномъ Грознымъ и заключилъ первый торговый договоръ между Англійей и Московскимъ государствомъ. Такъ, на сѣверѣ, въ Холмогорахъ, а потомъ въ Архангельскѣ и другихъ городахъ, лежавшихъ по пути къ Москвѣ, образовались новые рынки для внѣшней торговли, не уступавшіе Новгороду, скоро даже превзошедшіе его по своему значенію. Можно наблюдать довольно сильное торговое оживленіе цѣлаго ряда городовъ лежавшихъ на дорогѣ съ сѣвера въ центръ, особенно Вологды, Ярославля и самой столицы государства—Москвы. Чтобы убѣдиться въ этомъ и не сомнѣваться въ непрерывномъ почти ростѣ внѣшней торговли Московскаго государства со второй половины XVI до конца XVII вѣка, стоитъ открыть сочиненія англичанъ, посѣщавшихъ Московскую Русь,—Ченслера, Климента Адамса, Дженкинсона, Флетчера,—познакомиться съ сочиненіемъ о Россіи при царѣ Алексѣѣ, написаннымъ подъячимъ Посольскаго приказа Григоріемъ Котошихинымъ, перелистать такіе важные памятники законодательной дѣятельности московскаго правительства, какъ изданная въ сороковыхъ годахъ XVII вѣка жалованная грамота гостямъ, т. е. крупнымъ заграничнымъ торговцамъ, Уложение 1649 года или такъ называемый Новоторговый уставъ, изданный въ 1667 году и предоставившій крупному купечеству и сборъ пошлинъ съ заграничныхъ и вывозимыхъ за границу товаровъ, и торговый судъ. Но особенно драгоцѣннымъ свидѣтельствомъ о развитіи внѣшней торговли въ центрѣ и въ сѣверныхъ городахъ является, такъ называемая, Торговая книга, служившая руководствомъ для правильнаго веденія торговли съ англичанами и замѣнявшая до извѣстной степени современные биржевые бюллетени о цѣнахъ на разные товары, обращающіеся на международномъ рынкѣ. Въ Торговой книгѣ содержались свѣдѣнія о заграничныхъ и русскихъ цѣнахъ и стоимости провоза

цѣлаго ряда разныхъ продуктовъ, закупавшихся скупщиками изъ богатаго купечества на московскомъ рынкѣ въ очень значительномъ количествѣ и доставлявшихся по Бѣлому морю для сбыта за границу.

Уже это оживленіе *открытой* торговли и расширеніе охватываемаго ею района, содѣйствовавшія образованію и развитію нѣсколькихъ новыхъ крупныхъ торговыхъ центровъ, не могли не сказаться на общемъ строѣ экономической жизни Московскаго государства во второй половинѣ XVI и въ XVII вѣкѣ. Коренные устои натурального, безобмѣннаго хозяйства начали подгнивать и колебаться подъ вліяніемъ роста заграничной торговли. Но у насъ нѣтъ недостатка и въ указаніяхъ на значительное оживленіе внутренняго обмѣна, и опять-таки замѣчательно, что такія указанія начинаются со второй половины XVI вѣка, что служить очевиднымъ признакомъ зарожденія денежнаго хозяйства въ странѣ именно около этого времени. Съ этого именно хронологическаго термина въ писцовыхъ книгахъ и актахъ начинаютъ постоянно мелькать описанія отдѣльныхъ торжекъ, мѣстныхъ рынковъ и ярмарокъ, иногда охватывавшихъ своими торговыми оборотами значительную территорію. Уже на сѣверѣ въ концѣ XVI вѣка Вологда, Тотъма и Устюгъ были очень важными хлѣбными рынками. Рязанская область снабжала хлѣбомъ нижнее Поволжье, съ одной стороны, и Москву, съ другой. То же приходится повторить о Ярославлѣ и Нижнемъ-Новгородѣ съ ихъ уѣздами. Цѣлая сѣтъ торговыхъ дорогъ по всѣмъ направленіямъ покрывала страну. Она достигла особенной густоты въ центрѣ: достаточно сказать, что такихъ большихъ дорогъ, проложенныхъ къ столицѣ государства, было не менѣе семи: по крайней мѣрѣ двѣ—ярославская и углицкая—вели на сѣверъ, къ Вологдѣ, Бѣлозерску и Холмогорамъ; на сѣверо-западъ шла торговая дорога изъ Москвы въ Тверь, Вышній-Волочекъ и Новгородъ; существовала также дорога на востокъ къ Нижнему; но наибольшее количество путей вело на югъ, въ плодородные степные уѣзды: здѣсь шла дорога на Серпуховъ и Боровскъ, сближавшая столицу съ заюцкими городами; другая дорога направлялась на Тулу и далѣе къ югу, въ Сѣверскую землю и Польшу; наконецъ, третья южная дорога прошла на Коломну и Рязань по Москвѣ-рѣкѣ и Окѣ. По словамъ англичанъ, изъ одного Ярославскаго края ежедневно по дорогѣ въ Москву проѣзжало по 700—800 возовъ съ зерномъ, предназначеннымъ для продажи. Мы имѣемъ, наконецъ, рядъ указаній на существованіе во второй половинѣ XVI вѣка обширныхъ и чрезвычайно-оживленныхъ ярмарокъ въ Старомъ Холопѣ городѣ на Мологѣ въ Кирилло-Бѣлозерскомъ монастырѣ, Балахнѣ,

знаемъ о конныхъ ногайскихъ ярмаркахъ въ Москвѣ и Казани, о зарождающейся Макарьевской ярмаркѣ, двухнедѣльной Петровской ярмаркѣ въ пригородѣ Пскова Островѣ, куда съѣзжались купцы изъ Москвы, Невгорода, Пскова, Литвы и Ливоніи, и пр., и пр. Мы указываемъ здѣсь, конечно, только на болѣе яркіе примѣры, не рѣшаясь утомлять вниманіе читателя подробнымъ перечнемъ того обильнаго запаса фактовъ, который находится въ нашемъ распоряженіи. Сказаннаго, однако, достаточно, чтобы внушить убѣжденіе въ многочисленности и разнообразіи прямыхъ свидѣтельствъ источниковъ объ оживленіи торговаго оборота въ Московскомъ государствѣ второй половины XVI вѣка. Таково первое доказательство зарожденія денежнаго хозяйства въ Россіи въ это время.

Второе доказательство—иного рода: оно заключается въ наблюденіяхъ за характеромъ владѣльческаго оброка съ крестьянъ. Во второй половинѣ XVI вѣка легко замѣтить ростъ денежнаго оброка на счетъ натурального: тогда какъ до этого времени въ Вотской пятинѣ Великаго Новгорода только 6—9% всѣхъ крестьянскихъ хозяйствъ платили оброкъ деньгами, въ 1568 г. процентъ такихъ хозяйствъ повышается до 16-ти, а въ 1581 году черная волость знала здѣсь только одинъ денежный оброкъ; въ Бѣжецкой пятинѣ уже въ 1545 году болѣе 26% всѣхъ крестьянъ сидѣли на оброкѣ деньгами, а въ Обонежской въ 1565 году такихъ крестьянъ было даже около 76%; наконецъ, во всѣхъ вотчинахъ Троицкаго-Сергіева монастыря, расположенныхъ въ центральныхъ уѣздахъ, въ послѣднее десятилѣтіе XVI вѣка совсѣмъ уже не существовало натурального оброка, а всѣ монастырскіе крестьяне, сидѣвшіе на оброкѣ, вносили послѣдній деньгами. Совершенно понятно важное значеніе этихъ наблюденій: денежный оброкъ былъ бы немислимъ, если бы не зародилось денежное хозяйство, такъ какъ безъ торговаго оборота продуктовъ сельской промышленности крестьяне не были бы въ состояніи пріобрѣсти необходимую для уплаты оброка денежную сумму.

На томъ же основаніи переходъ натуральныхъ государственныхъ повинностей въ денежные налоги, ясно обозначившійся какъ разъ съ половины XVI вѣка, слѣдуетъ считать третьимъ доказательствомъ зарожденія денежнаго народнаго хозяйства. Фактъ такой серьезной перемѣны въ финансовой системѣ не подлежитъ сомнѣнію, хорошо обоснованъ въ новѣйшей литературѣ по исторіи русскаго государственнаго хозяйства и представляется въ главныхъ чертахъ въ слѣдующемъ видѣ. Въ первой половинѣ XVI вѣка на землѣ лежали слѣдующія государственныя финансовыя обязанности: 1) населеніе платило казначеи, дьячи и

подьяческія пошліны; это былъ уже тогда денежный налогъ, хотя и незначительный по размѣрамъ; 2) кормъ намѣстниковъ и волостелей, обыкновенно поступавшій натурой, въ видѣ разнаго рода припасовъ; 3) дань; 4) ямскія деньги, сдѣлавшіяся, какъ и дань, денежной податью, но не исключавшія и особой натуральной ямской новинности; сверхъ того возникли еще: 5) полонянничныя деньги, не превратившіяся пока въ регулярную подать и собиравшіяся въ различныхъ размѣрахъ въ отдѣльные годы, смотря по количеству выкупаемыхъ изъ Крыма и Казани русскихъ «полоняниковъ» или плѣнныхъ; 6) натуральныя военныя повинности—посошная и городовое дѣло, т. е. починка и постройка укрѣпленій. Во второй половинѣ XVI вѣка—съ 1551 года—въ податную систему внесены были важныя измѣненія: во-первыхъ, введены были новыя военныя денежные налоги—пищальные и ямчужныя деньги, предназначенныя на приобрѣтеніе и выдѣлку пищалей или ружей и пушекъ, и ямчуги, т. е. селитры и пороха; затѣмъ налоги за городовое и засѣчное дѣло, т. е. за починку и постройку укрѣпленій и «засѣкъ», или заставъ, образованныхъ посредствомъ вырубки лѣса и свалки его въ кучи, мѣшавшія проходу и проѣзду и укрывавшія за собой сторожевыя военныя посты; во-вторыхъ, полонянничныя деньги превращены были въ регулярную подать; наконецъ, въ-третьихъ, старыя натуральныя повинности—посошное и городовое дѣло—стали также переводиться кое-гдѣ временно на деньги. Если къ этому прибавить, что кормъ чѣмъ позднѣе, тѣмъ чаще переводился на деньги, что съ введеніемъ земскихъ учрежденій царя Ивана Грознаго онъ былъ замѣненъ денежной суммой, вносимой въ опредѣленные сроки въ государеву казну общиной, получившей земское самоуправленіе, что, наконецъ, къ концу XVI вѣка оклады прямыхъ денежныхъ податей возросли въ $3\frac{1}{2}$ раза сравнительно съ половиной столѣтія ¹⁾, то станетъ очевиднымъ, какимъ важнымъ свидѣтельствомъ въ пользу зарожденія денежнаго хозяйства въ Московской Руси является исторія государственнаго хозяйства и въ частности прямого обложенія.

Наконецъ, существуетъ еще и четвертое, не менѣе, если не болѣе, серьезное доказательство описываемой экономической перемѣны: именно—измѣненіе цѣнности денеги. Оживленное товарное обращеніе, проникающее въ народныя массы, всегда увеличиваетъ количество денегъ въ странѣ, а съ увеличеніемъ количества денегъ цѣнность послѣднихъ уменьшается. Въ этомъ отношеніи XVI вѣкъ принадлежитъ къ любопытнѣйшимъ эпохамъ русской

¹⁾ Объ этомъ повышеніи податныхъ окладовъ см. нашу книгу „Сельское хозяйство Моск. Руси въ XVI в.“, стр. 234.

исторіи. Изученіе стоимости русскаго рубля того времени по хлѣбнымъ цѣнамъ приводитъ къ убѣжденію въ быстромъ и неуклонномъ ея пониженіи: тогда какъ въ концѣ XV вѣка и въ началѣ XVI рубль стоилъ на наши деньги приблизительно 94 рубля, — въ 30-хъ и 40-хъ годахъ XVI столѣтія цѣнность его понизилась уже до 75 рублей на наши деньги, а во второй половинѣ того же вѣка даже только до 25 рублей ¹⁾. Такое быстрое удешевленіе денегъ рѣзко подчеркиваетъ совершившійся въ значительныхъ кругахъ населенія переходъ къ денежному хозяйству.

Итакъ предшествующее изложеніе ставитъ внѣ сомнѣнія тотъ фактъ первостепенной важности, что *вторая половина XVI вѣка— время зарожденія денежнаго хозяйства въ Россіи*. Но, выставляя это положеніе, мы должны сдѣлать одну совершенно необходимую оговорку: зарожденіе денежнаго хозяйства въ Россіи очень существенно отличается отъ соответственнаго процесса въ экономической жизни Западной Европы. Дѣло не въ томъ одномъ, что въ Россіи описанная перемѣна совершилась гораздо позднѣе, чѣмъ въ западно-европейскихъ странахъ, которыя уже отчасти въ XII и во всякомъ случаѣ въ XIII вѣкѣ знакомятся съ зачатками денежнаго хозяйства; гораздо болѣе замѣчательно, что самый экономическій типъ русскаго зарождающагося въ XVI вѣкѣ денежнаго хозяйства существенно отличался отъ типа западно-европейскаго денежнаго хозяйства XIII столѣтія. Превосходная схема экономического развитія странъ Западной Европы выведена изъ наблюдений надъ соответствующими фактами остроумнымъ и проницательнымъ нѣмецкимъ экономистомъ Карломъ Бюхеромъ въ его известной книгѣ «Происхожденіе народнаго хозяйства». Бюхеръ ²⁾ ставитъ, какъ известно, въ промежутокъ между періодомъ домашняго, безобмѣннаго хозяйства и періодомъ хозяйства народнаго, денежнаго, рассчитаннаго на обширный, даже міровой рынокъ, еще третій періодъ—городского хозяйства, имѣющаго въ виду узкій мѣстный рынокъ, съ ограниченнымъ кругомъ производителей и потребителей, котящихся въ городѣ и его окрестностяхъ на 10—15 верстъ во всѣ стороны. Каждый изъ такихъ изолированныхъ, обособленныхъ рынковъ, на которые раздробились съ XIII вѣка западно-европейскія страны, представлялъ изъ себя совершенно самостоятельное хозяйственное цѣлое, стоявшее внѣ какой

¹⁾ О цѣности денегъ въ XVI в. см. „Сельск. хоз. Моск. Руси въ XVI в.“, стр. 202—210, 218. Одинъ изъ критиковъ нашей книги указывалъ, что слѣдовало сравнивать цѣны на хлѣбъ XVI вѣка не съ хлѣбными цѣнами 1882 г., а со средними цѣнами за рядъ годовъ. Мы произвели такое вычисленіе, и результаты его мало разнились съ ранѣе полученными нами выводами.

²⁾ „Die Entstehung der Volkswirtschaft“, 2-е изданіе, стр. 58, 88—106.

бы то ни было экономической связи съ другими подобными ему рынками. Отсюда вытекали и важныя послѣдствія въ сферѣ юридической: главнѣйшимъ изъ нихъ было прикрѣпленіе крестьянъ къ землѣ, а не къ личности землевладѣльца, потерявшаго съ XIII вѣка право отлучать ихъ отъ земли, т. е. продавать, закладывать, дарить, завѣщать ихъ безъ земли и переводить съ одного земельного участка на другой. Причина такой формы крестьянской крѣпости понятна: при узкомъ рынкѣ всякое колебаніе въ числѣ наличныхъ производителей и потребителей нарушаетъ установившееся равновѣсіе, способно произвести цѣлый переворотъ, болѣзненную катастрофу. Этимъ обстоятельствомъ объясняется и строгая цеховая регламентація городского ремесла. Само собою разумѣется, и Россіи не была чужда изолированность рынковъ, но она, подобно многимъ другимъ явленіямъ, достигшимъ полного развитія на западѣ Европы и оставшимся лишь въ зародышѣ у насъ, не имѣла общаго значенія и не выразилась въ столь рѣзкихъ формахъ, какъ на Западѣ. Равнинность страны, обиліе рѣкъ и, главное, продолжительность снѣгового покрова создавали сравнительно-удобные пути сообщенія, которыми сглаживались мѣстные различія и ослаблялась хозяйственная изолированность отдельныхъ областей: зимой, по англійскимъ извѣстіямъ, товары могли быть доставлены на громадное разстояніе отъ Архангельска до Москвы всего въ какихъ-нибудь 14 дней. Такимъ образомъ, *русское денежное хозяйство, зародившееся во второй половинѣ XVI вѣка, отличалось тою особенностью, что оно было не городскимъ, а народнымъ, или, по крайней мѣрѣ, каждый рынокъ охватывалъ очень значительный районъ*: такъ, экономическое вліяніе московскаго рынка простиралось на 500 верстъ отъ столицы; для другихъ крупныхъ рынковъ мы въ правѣ предполагать хозяйственную территорию, по крайней мѣрѣ, верстъ въ 300 во всѣ стороны ¹⁾.

Землевладѣніе въ своихъ формахъ въ XVII вѣкѣ испытало на себѣ силу новыхъ экономическихъ условій,—прежде всего зарожденія денежнаго хозяйства.

III.

Извѣстно, что въ XVI вѣкѣ господствующими формами землевладѣнія въ Московской Руси, кромѣ Сѣвернаго края, были служилое помѣстье и монастырская вотчина ²⁾. Юридическая природа

¹⁾ „Сельское хозяйство Моск. Руси въ XVI в.“, стр. 288.

²⁾ См. вашу статью „Натуральное хозяйство и формы землевладѣнія въ древней Россіи“: выше, стр. 130.

обѣихъ этихъ формъ земельного владѣнія отличается однимъ общимъ существеннымъ признакомъ: и помѣстье и монастырская вотчина—неотчуждаемы: первое—вслѣдствіе условности и временности владѣнія, вторая—въ силу каноническаго правила о вѣчности и нерушимости церковнаго имущества, о его неприкосновенности; правило это, какъ извѣстно, принято было за основу имущественныхъ правъ церковныхъ учреждений Стоглавомъ. Неотчуждаемость помѣстья и монастырской земли стоитъ къ прямомъ противорѣчій съ зарождающимся денежнымъ хозяйствомъ, потому что денежное хозяйство, даже и въ зачаточномъ состояніи, требуетъ нѣкоторой, хотя бы очень ограниченной, свободы гражданскаго оборота земли: при новыхъ рыночныхъ условіяхъ настоятельно-необходима возможность обращенія недвижимости въ денежный капиталъ и наоборотъ — денежнаго капитала въ недвижимость, а также необходимъ и переходъ земли изъ рукъ въ руки. И вотъ, отчасти уже во второй половинѣ XVI вѣка и особенно въ XVII столѣтіи,—наблюдаются серьезные перемѣны въ относительномъ значеніи и даже юридической природѣ помѣстнаго и монастырскаго землевладѣнія: 11 мая 1551 года состоялся соборный приговоръ, которымъ былъ запрещенъ вкладъ земли въ монастыри безъ доклада государю, т.-е. безъ утвержденія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ со стороны высшаго правительства; при этомъ за нарушение вновь установленнаго запрещенія въ приговоръ включена была угроза конфискаціей земли въ пользу казны; въ 1572 году запрещеніе принимать вклады земель было выражено еще въ болѣе категорической формѣ по отношенію къ богатымъ монастырямъ; что же касается небольшихъ и бѣдныхъ монастырей, то непремѣннымъ условіемъ пріобрѣтенія ими земельныхъ имуществъ по прежнему оставался докладъ государю; въ 1581 году и бѣдные монастыри лишены были безусловно права принимать вклады земель. Впрочемъ, на дѣлѣ монастыри получали вкладныя вотчины и послѣ изложенныхъ законодательныхъ мѣръ, но лишь до выкупа ихъ родственниками вкладчика или государемъ. Уложеніе 1649 года окончательно запретило пріемъ земельныхъ вкладовъ монастырями. Параллельно такому юридическому ограниченію монастырскаго землевладѣнія шло фактическое сокращеніе его размѣровъ, медленное и постепенное, но тѣмъ не менѣе неуклонное и постоянное. Довольно многочисленныя свидѣтельства писцовыхъ книгъ конца XVI вѣка убѣждаютъ въ томъ, что неотчуждаемость монастырскихъ земель, возведенная въ принципъ Стоглавомъ, часто обращалась въ юридическую фикцію: подъ давленіемъ новыхъ экономическихъ условій, главнымъ образомъ за-

рождающагося денежнаго хозяйства, монастырскія власти нерѣдко прибѣгали къ залогу вотчинъ, превращая недвижимость въ столь необходимый при новой хозяйственной системѣ денежный капиталъ. Извѣстно, что залогъ въ древней Руси былъ въ большинствѣ случаевъ реальнымъ договоромъ, т.-е. сопровождался немедленной и обязательной при полученіи ссуды передачей закладываемаго недвижимаго имущества залогопринимателю: такъ часть монастырской земли переходила въ руки свѣтскихъ лицъ, совершалась мобилизація церковной поземельной собственности, усложнявшаяся притомъ еще внимательствомъ правительственной власти, которая, признавая незаконнымъ отчужденіе церковной земли, не возвращала однако послѣднюю церкви, а конфисковала въ пользу государства и раздавала въ помѣстья, такъ что возвратъ заложеной монастырями земли въ монастырскую собственность окончательно пресѣкался. Вотъ нѣсколько примѣровъ, иллюстрирующихъ описанный процессъ, до сихъ поръ не отмѣченный еще въ исторической литературѣ, но имѣвшій очень важное значеніе въ качествѣ симптома совершавшихся хозяйственныхъ переменъ. Въ началѣ 80-хъ годовъ XVI вѣка въ Бѣжецкой пятинѣ Великаго Новгорода была цѣлая «волостка Соружа въ Облутнѣ», состоящая изъ 30-ти деревень и включавшая въ себѣ до 775 десятинъ пахотной земли во всѣхъ трехъ поляхъ; эта волостка прежде принадлежала Спасскому Нередицкому монастырю, потомъ монастырскія власти заложили ее нѣкому Михаилу Петрову, а въ 1581 году, она, «по государеву наказу», была роздана по частямъ въ помѣстья¹⁾. Въ то же время въ Обонежской пятинѣ князь Путятинъ получилъ помѣстье изъ земель, принадлежавшихъ нѣкогда Павлову монастырю и бывшихъ затѣмъ въ закладѣ за дьякомъ Меншикомъ Дурбеневымъ, а Козодавлеву досталась въ помѣстное владѣніе земля, отписанная на государя (т.-е. конфискованная) у Василя Хлопова, получившаго ее въ свою очередь въ залогъ отъ Аркажа монастыря²⁾. Мало того: нерѣдко въ XVII вѣкѣ монастыри прямо продавали свои земли служилымъ людямъ: такъ Троицкій-Сергіевъ монастырь въ 1627 году продалъ князю А. Ю. Сицкому пустошь Клобукову въ Дмитровскомъ уѣздѣ³⁾; въ 1624 году тотъ же монастырь продалъ подъячому Овдокимову свою вотчину въ Шацкомъ уѣздѣ, село Гавриловское⁴⁾ и т. д.

¹⁾ Моск. Арх. Мин. Юст., писц. кн. 962, лл. 765—769 об.

²⁾ Моск. Арх. Мин. Юст., писц. кн. 965, лл. 12 и 76 об.

³⁾ Моск. Арх. Мин. Юст., книга записная вотчинная Помѣстнаго приказа 5969—1, л. 561.

⁴⁾ Тамъ же, л. 121.

Юридическая природа помѣстнаго землевладѣнія существенно измѣнилась въ XVII вѣкѣ сравнительно съ предшествующимъ временемъ. Взаимныя отношенія между двумя видами служилаго землевладѣнія—помѣстьемъ и вотчиной—въ XVI вѣкѣ могутъ быть характеризованы слѣдующимъ образомъ: подъ влiянiемъ развитiя временнаго и условнаго владѣнiя землей, помѣстья, исключаящаго право распоряженiя и предполагающаго обязанность службы, вотчина, прежде полная и безусловная собственность съ правами распоряженiя и безъ лежащей на землевладѣльцѣ обязанности военной службы, за единственнымъ исключенiемъ повинности «городной осады», т.-е. защиты того города, въ уѣздѣ котораго находилось имѣнiе, становится мало-по-малу условнымъ владѣнiемъ, несущимъ службу, обязывающимъ этою послѣднею самого владѣльца лично; вмѣстѣ съ тѣмъ и права распоряженiя нѣкоторыми видами вотчинъ стѣсняются: *пожалованныя* вотчины разрѣшается передавать законнымъ наслѣдникамъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда въ жалованной грамотѣ точно обозначено, что вотчина пожалована не одному только данному лицу, но и его потомству. Такимъ образомъ, можно сказать, что въ XVI вѣкѣ вотчина приближалась къ помѣстью, приобретала нѣкоторыя характеристическiя черты послѣдняго, что вполнѣ естественно при господствѣ натурального хозяйства въ послѣдней стадii его развитiя, когда преобладаетъ земледѣлие. Но съ зарожденiемъ денежнаго хозяйства картина мѣняется: въ XVII вѣкѣ помѣстье начинаетъ приближаться къ типу служилой вотчины, усваиваетъ нѣкоторые ея признаки. Это хорошо выяснено въ русской историко-юридической литературѣ¹⁾ и потому остается только повторить тѣ выводы, какiе въ этомъ отношенiи сдѣланы. Во второй половинѣ XVII вѣка помѣщики получили довольно обширныя права распоряженiя помѣстной землей,—права, прежде или совершенно имъ не принадлежавшiя, или существовавшiя только въ зародышѣ: помѣщики могъ, во-первыхъ, промѣнять свою помѣстную землю на другую, во-вторыхъ, сдать свое помѣстье другимъ лицамъ, назначить помѣстье въ приданое за своими дочерьми и вообще родственниками. Право мѣны помѣстной земли было расширено до того, что позволялось мѣнять помѣстья на вотчины, такъ что земля, бывшая прежде помѣстной, превращалась въ вотчинную со всѣми юридическими послѣдствiями этого, и, наоборотъ, бывшая вотчина становилась помѣстьемъ. Понятно, что при такихъ усло-

¹⁾ См. особенно *Неволинъ*, „Полное собранiе сочиненiй“, т. IV; Спб., 1857, стр. 212 и слѣд.

віяхъ исчезало весьма важное препятствіе къ свободному обороту земли, столь необходимому при денежномъ хозяйствѣ. Сдача помѣстій очень часто обращалась въ продажу ихъ, такъ какъ сопровождалась сплошь и рядомъ денежнымъ платежемъ. Подъ конецъ вѣка это было прямо признано закономъ за нормальное. Въ 1678 году дозволено было даже обращать помѣстья на удовлетвореніе имущественныхъ исковъ, слѣдовательно—по крайней мѣрѣ косвенно—признано было право помѣщиковъ закладывать помѣстную землю. Не надо, наконецъ, забывать, что помѣщикъ всегда могъ сдать свое помѣстье въ аренду за деньги, чѣмъ также парализовалось въ известной мѣрѣ запрещеніе отчуждать помѣстную землю: такая сдача помѣстій въ денежную аренду довольно часто практиковалась еще въ концѣ XVI вѣка, вопреки распоряженіямъ правительства, строго возбранявшаго подобный способъ хозяйственной эксплуатаціи помѣстной земли ¹⁾.

Такъ зарождающееся денежное хозяйство повліяло на самую природу помѣстнаго землевладѣнія. Та же причина повела къ сокращенію размѣровъ помѣстной земли посредствомъ обильнаго и входившаго все болѣе въ обычай пожалованія помѣстій въ вотчину въ награду за службу и заслуги. Въ царствованіе перваго царя новой династіи, Михаила Ѳеодоровича, много помѣстной земли было роздано на вотчинномъ правѣ служилымъ людямъ въ награду за участіе въ защитѣ столицы государства въ смутное время отъ нападеній Тушинскаго вора—это, такъ называемое, «осадное сидѣнье при царѣ Василии» (Шуйскомъ)—и во время похода на Москву Владислава—«осадное сидѣнье королевичева приходу». Позднѣе въ XVII вѣкѣ ни одинъ удачный походъ не обходился безъ обращенія части помѣстной земли въ вотчину его участниковъ. Установилась и обычная норма такого пожалованія: обыкновенно въ награду за службу съ каждаго 100 четвертей (=50 десятинъ) помѣстнаго оклада 20 четвертей (=10 десятинъ) обращались въ вотчинное владѣніе. Неудивительно поэтому, что въ XVII вѣкѣ,—и при томъ чѣмъ ближе къ концу столѣтія, тѣмъ рѣзче и сильнѣе, размѣры помѣстной земли сокращаются, и абсолютно и относительно, и на ея счетъ увеличивается вотчинное землевладѣніе служилыхъ людей. Вотъ нѣсколько характерныхъ примѣровъ. Въ Тульскомъ уѣздѣ конца XVI вѣка всего какихъ-нибудь 1,500 десятинъ пахотной земли находилось въ вотчинномъ владѣніи, что составляло всего 2% распахиваемой площади уѣзда, тогда какъ помѣстья занимали

¹⁾ „Сельское хозяйство Моск. Руси въ XVI в.“, стр. 458—459.

около 76,000 десятинъ во всѣхъ трехъ поляхъ, или почти 92%¹⁾); по писцовой книгѣ 1628 года, вотчины заключали въ себѣ уже около 14,000 десятинъ пахотной земли, т. е. увеличились абсолютно въ 9 разъ; чрезвычайно быстро шель ростъ и относительныхъ размѣровъ вотчиннаго владѣнія, такъ какъ оно составляло въ то время уже около 17% всей площади уѣзда; на долю помѣстій приходилось 64,000 десятинъ изъ 77% уѣздной территоріи²⁾ (остальная земля въ XVI и XVII вв. была занята монастырскими и церковными владѣніями). Въ Казанскомъ уѣздѣ въ 50-хъ годахъ XVI столѣтія совсѣмъ не было служилыхъ вотчинъ³⁾, а около ста лѣтъ спустя онѣ являлись очень виднымъ элементомъ въ составѣ земельного владѣнія⁴⁾. Въ Рязскомъ уѣздѣ, наконецъ, въ 1624—26 гг. вотчинное землевладѣніе очень немногимъ уступало по размѣрамъ помѣстному: тогда какъ на первое приходилось до 25 тысячъ десятинъ во всѣхъ трехъ поляхъ, второе занимало 26 тысячъ десятинъ⁵⁾.

Итакъ важная экономическая перемѣна, начало которой становится замѣтнымъ во второй половинѣ XVI вѣка,—именно зарожденіе денежнаго хозяйства,—оказала могущественное вліяніе на формы землевладѣнія въ Московскомъ государствѣ XVII вѣка: господствовавшія прежде неподвижныя, исключавшія право распоряженія формы земельного владѣнія—служилое помѣстье и монастырская вотчина—поколебались въ своихъ основахъ, стали постепенно мѣнять свою юридическую природу, приспособляясь къ новымъ условіямъ, повелительно предписавшимъ свободный гражданскій оборотъ земли; вмѣстѣ съ тѣмъ и размѣры монастырскаго и въ особенности помѣстнаго землевладѣнія начали сокращаться въ пользу служилой вотчины, не исключавшей права распоряженія и, слѣдовательно, соответствовавшей экономическимъ условіямъ наступившаго новаго періода—денежнаго хозяйства.

IV.

Прежде чѣмъ перейти къ изученію второго ряда послѣдствій зарождающагося денежнаго хозяйства, въ свою очередь повліявшихъ на формы землевладѣнія, мы должны прослѣдить вкратцѣ дальнѣйшую судьбу помѣстнаго и монастырскаго владѣнія, свя-

¹⁾ Сельское хозяйство Моск. Руси въ XVI в., стр. 371.

²⁾ Шенкина, „Тульскій уѣздъ въ XVII в.“, М., 1892, стр. 92 и 93.

³⁾ „Сельское хозяйство Моск. Руси въ XVI в.“, стр. 373.

⁴⁾ Перетатковичъ, „Поволжье въ XVII и началѣ XVIII в.“, Одесса, 1882, стр. 60, 140 и др.

⁵⁾ Моск. Арх. Мин. Юст., писц. кн. 425, л. 763 об.

завъ ее генетическими узами съ развивавшимся въ XVIII вѣкѣ денежнымъ хозяйствомъ, тѣмъ болѣе, что и это развитіе денежнаго хозяйства далеко небезразлично для изслѣдователя только что упомянутыхъ другихъ, вторичныхъ явленій въ сферѣ формъ хозяйства и земельного владѣнія,—тѣхъ явленій, рѣчь о которыхъ пойдетъ ниже.

Развитіе денежнаго хозяйства въ Россіи XVIII столѣтія не подлежитъ сомнѣнію. Вотъ нѣсколько взятыхъ на выборъ иллюстрацій этого процесса. Прежде всего русскій рубль XVIII столѣтія значительно понизился въ цѣнѣ сравнительно съ рублемъ XVII вѣка: тогда какъ послѣдній стоилъ на наши деньги отъ 12 до 17 рублей, первый до 50-хъ годовъ равнялся всего 9-ти или 10-ти современнымъ рублямъ ¹⁾, а во второй половинѣ XVIII вѣка пониженіе цѣнности денегъ, разумѣется, продолжалось. Затѣмъ ростъ обрабатывающей промышленности—фабричной и кустарной, столь замѣтный въ XVIII столѣтіи, принадлежитъ также къ числу очевидныхъ признаковъ развитія денежнаго хозяйства, такъ какъ указываетъ на постепенно-увеличивавшееся раздѣленіе труда, слѣдовательно и на расширеніе товарнаго производства, рассчитаннаго на сбытъ, а не на собственное потребленіе производителей. Въ концѣ царствованія Петра Великаго во всемъ государствѣ было 233 фабрики; спустя менѣе сорока лѣтъ—въ 1762 году ихъ считалось уже 984, а еще черезъ 34 года, въ 1796 году, общее число фабрикъ доходило уже до 3,161. Всего болѣе развивались, какъ извѣстно, сначала суконныя, потомъ ситценабивныя и ткацкія фабрики. Уже это обстоятельство служитъ вѣрнымъ показателемъ успѣховъ денежнаго хозяйства: въ самомъ дѣлѣ, въдѣ фабричныя сукно, ситець и миткаль вслѣдствіе своей дешевизны вытѣсняли изъ потребленія продукты домашняго производства,—грубыя суконныя издѣлія и полотна. При императрицѣ Екатеринѣ II начало сильно развиваться и кустарное производство. Бюхеръ въ своей книгѣ «Происхожденіе народнаго хозяйства» различаетъ, какъ извѣстно, кромѣ фабрично-заводской промышленности, при которой крупныя предприниматели—капиталисты берутъ въ свои руки и производство и сбытъ продуктовъ, еще слѣдующіе четыре вида обрабатывающей промышленности: 1) домашнее производство для домашняго потребленія производящей семьи, при полномъ отсутствіи обмѣна; 2) наемно-кустарное производство: рабочій получаетъ матеріаль отъ заказчика и обрабатываетъ его за опредѣленную плату—часто натурой—на дому у заказчика или у себя; 3) ремесло или мел-

¹⁾ *Ключевскій*, „Русскій рубль XVI—XVIII вв.“, М. 1884, стр. 12.

кое кустарное производство: рабочий производить на заказ для определенного потребителя; иногда он открывает и специальную небольшую лавку для случайных покупателей, круг которых невелик, так что производство рассчитано при этом на небольшой, узкий местный рынок; 4) товарно-кустарное производство: кустарь производить продукты на обширный рынок, иногда даже заграничный, но сбывает он их потребителям не самъ, а через посредство капиталиста-скупщика, так что сбытъ товаровъ организуется уже капиталистически. Домашнее, наемно-кустарное и мелкое кустарное производство или ремесло существовали еще в Киевской и удельной Руси, не говоря уже о Руси Московской; они продолжали существовать и в XVIII вѣкѣ.

Что касается до товарно-кустарнаго производства, то зародыши его становятся замѣтны лишь в XVI в. и начинают развиваться в XVII столѣтіи. Уже тогда известны были и даже сбывались за-границу деревянные издѣлія Владимірскаго, Калужскаго, Гороховецкаго, Семеновскаго и Корельскаго уѣздовъ, семеновскія рукавицы и овчинныя шубы, валяная обувь, шляпы и полотно, выдѣлывавшіяся в Лысковѣ, Ярославлѣ, Костромѣ и Архангельскѣ. Развившееся в царствованіе Екатерины II товарно-кустарное производство возникло главнымъ образомъ изъ трехъ источниковъ: во-первыхъ, оно было дальнѣйшей стадіей развитія первобытныхъ видовъ обрабатывающей промышленности (домашняго, наемно-кустарнаго и мелкаго кустарнаго производствъ); во-вторыхъ, оно явилось результатомъ прогрессивной эволюціи тѣхъ зачатковъ товарно-кустарной производительности, которые существовали раньше; въ-третьихъ,—это новый, еще не отмѣченный выше источникъ—товарно-кустарное производство Екатерининскаго времени во многихъ своихъ отрасляхъ представляетъ собою слѣдствіе разложенія нѣкоторыхъ фабрикъ XVIII вѣка: фабричныя рабочіе разносили по деревнямъ известные приемы того или другого производства, которымъ они научились на фабрикѣ; образовавшіеся такимъ образомъ кустари убивали своей конкуренціей фабрику, что было нетрудно, потому что фабрика XVIII вѣка была собственно не фабрикой, а мануфактурой, т. е. работа на ней производилась не при помощи машинъ, а руками, такъ что техническіе приемы кустарей были не ниже фабричныхъ. Были и другіе, второстепенные источники товарно-кустарнаго производства XVIII вѣка: иногда помѣщики культивировали въ средѣ своихъ крестьянъ тѣ или другія отрасли обрабатывающей промышленности, выписывая изъ-за границы мастеровъ для обученія крестьянъ или отправляя послѣднихъ на

выучку къ городскимъ ремесленникамъ. Благодаря всѣмъ этимъ обстоятельствамъ пряжа и ткань льна, деревянные и желѣзные издѣлія, скорняжный, сыромятный, кожевенный промыслы достигли расцвѣта именно во второй половинѣ XVIII вѣка. Тогда же сложилось большинство извѣстныхъ теперь центровъ товарно-кустарной промышленности, какъ Павлово, Иваново-Вознесенскъ, Кимры и т. д. Параллельно всѣмъ этимъ явленіямъ торговый оборотъ сталъ захватывать все большія массы крестьянскаго населенія, откуда произошло развитіе денежнаго крестьянскаго оброка въ ущербъ натуральному, и выдѣленіе изъ крестьянской массы отдѣльныхъ богачей, скоро ставшихъ крупными фабрикантами, какъ, на примѣръ, Морозовыхъ и фабрикантовъ села Иванова ¹⁾).

Изложенные факты убѣдительно свидѣтельствуютъ о развитіи внутренней торговли. Что касается до внѣшней торговли, то ея расширеніе также не подлежитъ сомнѣнію уже по той причинѣ, что въ теченіе изучаемаго періода открывається цѣлый рядъ портовъ для внѣшняго вывоза: достаточно указать только на важнѣйшіе изъ нихъ, какъ Петербургъ, Рига, Ревель, Нарва, Одесса, Таганрогъ, чтобы понять, какъ оживились мѣновыя сношенія съ различными рынками.

Развитіе денежнаго хозяйства въ Россіи XVIII вѣка разбило шпни, связывавшія значительную часть земельного богатства страны, тплавивія эту часть совершенно недоступной для быстрой и ничѣмъ не стпсняемой мобилизации. Знаменитымъ указомъ о единосаслѣдіи, изданнымъ въ 1714 г., Петръ Великій юридически формулировалъ то фактически уже сложившееся сближеніе служилыхъ помѣстій съ вотчинами, о которомъ мы говорили выше: и помѣстья и вотчины слились теперь въ общемъ понятіи дворянской недвижимой собственности, подлежащей уже свободному въ предѣлахъ закона отчужденію. Правда, этотъ указъ обязалъ дворянъ-землевладѣльцевъ передавать всю свою землю только одному изъ своихъ сыновей, т. е. установилъ единосаслѣдіе, но и это послѣднее ограниченіе скоро исчезло: при императрицѣ Аннѣ 1731 обязательное единосаслѣдіе было уничтожено. Идея

¹⁾ См. о развитіи обрабатывающей промышленности въ XVIII вѣкѣ слѣдующія работы: Борсакъ, „О формахъ промышленности“; Туланъ-Барановскій, „Русская фабрика“, т. I, и „Историческая роль капитала въ развитіи нашей кустарной промышленности“ („Новое Слово“, апрѣль 1897 г.); Струве, „Историческое и систематическое мѣсто русской кустарной промышленности“ („Міръ Божій“, апрѣль, 1898 г.); и „Научная исторія русской крупной промышленности“ (Научное Обзорніе“, іюнь 1898 г.); Мякотинъ, „Попытка общей исторіи русской фабрики“ („Русское Богатство“, январь, 1899 г.) и др.

же полной неотчуждаемости дворянской земли не была осуществлена въ указѣ 1714 г., такъ какъ онъ разрѣшилъ въ случаѣ необходимости продажу земли ¹⁾. Съ тѣхъ поръ дворянскія населенныя имѣнія—съ нѣкоторыми лишь ограниченіями для родовыхъ—сдѣлались предметомъ свободнаго гражданскаго оборота между дворянами; что же касается ненаселенныхъ земель, то онѣ могли свободно приобрѣтаться и отчуждаться лицами всѣхъ состояній. Такъ исчезла господствовавшая прежде помѣстная система. Въ 1764 г. Екатерина II подвергла секуляризаціи архіерейскія и монастырскія земли, передавъ ихъ въ вѣдѣніе особаго учрежденія, такъ называемой коллегіи экономіи. Вмѣстѣ съ этимъ прекратила свое существованіе вторая несвободная форма земельной собственности, не соотвѣтствовавшая болѣе новымъ экономическимъ условіямъ.

V.

Зародившееся во второй половинѣ XVI вѣка денежное хозяйство сопровождалось послѣдствіями второго порядка, обнаружившимися въ сферѣ социальныхъ отношеній и черезъ посредство этихъ отношеній отразившимися на поземельныхъ порядкахъ: мы говоримъ объ образованіи крѣпостнаго права на крестьянъ.

Вопросъ о происхожденіи крестьянскаго прикрѣпленія принадлежитъ, какъ извѣстно, къ числу спорныхъ, раздѣляющихъ изслѣдователей на два главныхъ лагеря. Здѣсь не мѣсто излагать доводы обѣихъ сторонъ и вдаваться въ подробный критическій разборъ этихъ доводовъ. Замѣтимъ лишь, что центръ тяжести спора лежитъ въ двухъ вопросахъ: 1) о томъ, когда и какъ было установлено *юридически* крѣпостное право на крестьянъ: одни думаютъ, что оно было установлено закономъ въ концѣ XVI вѣка; по мнѣнію другихъ, съ конца XVI вѣка и въ началѣ XVII крѣпостное право постепенно утверждалось путемъ частныхъ, гражданскихъ договоровъ крестьянъ съ землевладѣльцами, а закономъ оно было сформулировано впервые только въ Уложеніи 1649 года; 2) въ вопросѣ о томъ, каковы были ближайшія причины прикрѣпленія; по мнѣнію изслѣдователей одной школы, онѣ коренились въ государственныхъ условіяхъ, въ потребности правильно организовать сборъ податей; по взгляду изслѣдователей другого направленія, причина лежала въ условіяхъ народно-хозяйствен-

¹⁾ См. пунктъ 12-й этого указа: „Полное Собраніе Законовъ Россійской Имперіи, № 2789.

ныхъ,—по преимуществу, въ задолженности крестьянъ землевладѣльцамъ. Такъ какъ доводы перваго направленія заключаются въ ссылкахъ на указы конца XVI и начала XVII вѣка, говорящіе о срокѣ давности для исковъ о возвращеніи бѣглыхъ крестьянъ, такъ какъ даже эти указы имѣютъ въ виду не прикрѣпленіе всѣхъ крестьянъ, а только судебное преслѣдованіе тѣхъ крестьянъ, которые бѣжали отъ землевладѣльцевъ безъ уплаты имъ долговъ и такъ какъ кромѣ того предполагаемаго указа конца XVI вѣка о прикрѣпленіи крестьянъ совершенно нѣтъ, то мы считаемъ себя въ правѣ примкнуть ко второму взгляду, виднѣйшими представителями котораго въ наше время являются профессора Ключевскій и Дьяконовъ. Г. Дьяконовъ убѣдительно показалъ, какъ постепенно и медленно складывались традиціи крестьянской крѣпости¹⁾, но для насъ въ данномъ случаѣ важное значеніе имѣетъ изображеніе тѣхъ конкретныхъ условій, благодаря которымъ уже въ концѣ XVI вѣка сталъ туго затягиваться узелъ крѣпостной неволи. Эти конкретныя условія выяснены проф. Ключевскимъ, и намъ остается только, изложивъ ихъ вкратцѣ, связать частныя явленія съ общими хозяйственными условіями времени, чего до сихъ поръ въ литературѣ сдѣлано не было.

Садясь на чужую землю по особому всякій разъ договору съ землевладѣльцемъ, крестьянинъ почти всегда получалъ отъ владѣльца имѣнія ссуду или подмогу; ссуда выдавалась деньгами для хозяйственнаго обзаведенія или зерномъ—для посѣва и пропитанія. Какъ велика была задолженность крестьянъ, видно изъ того, что изъ крестьянъ Кириллова-Бѣлозерскаго монастыря въ концѣ XVI в. 70% были обременены долгами монастырю и только 30% обоплись безъ ссуды. Уходя отъ одного землевладѣльца къ другому, свободный крестьянинъ-арендаторъ чужой земли долженъ былъ расплатиться, возвратитъ ссуду и сверхъ того заплатить еще «пожилое»—опредѣленную въ законѣ сумму денегъ за пользованіе дворомъ и хозяйственными строеніями, въ немъ находящимися. Но русскій крестьянинъ конца XVI вѣка въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ былъ маломощнымъ, не могъ самъ расплатиться съ землевладѣльцемъ. За него платилъ тотъ землевладѣлецъ, къ которому онъ переходилъ. Въ то время очень многіе землевладѣльцы чувствовали потребность въ рабочихъ рукахъ для обработки своихъ земель, и потому занимались

¹⁾ См. его: „Очерки изъ исторіи сельскаго населенія въ Московскомъ государствѣ“.

²⁾ „Происхожденіе крѣпостнаго права въ Россіи“, „Русская Мысль“. 1885 г., №№ 8 и 10.

подыскиваніемъ крестьянъ, готовыхъ перейти къ нимъ съ чужой земли, расплачивались съ кредиторами этихъ крестьянъ и вывозили ихъ за себя. Отъ этого, конечно, положеніе крестьянина по существу не измѣнялось: онъ мѣнялъ только одного кредитора на другого. Правительство въ интересахъ порядка съ конца XVI вѣка стало запрещать такой вывозъ крестьянъ, особенно оградя интересы мелкихъ, небогатыхъ землевладѣльцевъ отъ посягательствъ со стороны людей богатыхъ. Такимъ образомъ, не будучи въ состояніи уплатить свои долги землевладѣльцамъ, крестьяне именно по этой причинѣ фактически не пользовались правомъ перехода, признававшимся за ними по закону. Для полнаго прикрѣпленія недоставало только одного: упрочить въ обществѣ мысль, что долгъ дѣлаетъ крестьянъ крѣпостными. Этому упроченію мысли о крѣпостномъ состояніи задолжавшихъ крестьянъ содѣйствовало развитіе въ XVI вѣкѣ особаго состоянія несвободныхъ людей, извѣстнаго подъ названіемъ кабальнаго холопства. Кабальнымъ назывался человекъ, занявшій у кого-либо извѣстную денежную сумму и обязавшійся служить на дворѣ кредитора и работать на него за проценты до уплаты долга. Первоначально кабальные люди не считались холопами. Но въ концѣ XVI вѣка въ ихъ положеніи произошла важная перемена: были изданы два указа, по которымъ кабальные люди получали свободу со смертью господина, но зато потеряли право уплачивать долгъ при жизни кредитора и, слѣдовательно, не могли по своей волѣ прекратить зависимость. Такимъ образомъ, заемъ дѣлалъ кабальныхъ людей холопами, крѣпостными людьми. Такъ какъ кабальное холопство и крестьянская аренда съ помощью имѣли одинъ общій признакъ,—зависимость лица, вслѣдствіе займа, отъ землевладѣльца,—то землевладѣльцы, наблюдая фактическую невозможность для крестьянина заплатить долгъ, соответствующую потерѣ кабальными людьми права такой же уплаты долга по закону, стали юридически сближать крестьянъ съ кабальными холопами: въ договоры съ крестьянами начали вносить условіе, которымъ крестьянинъ обязывался не уходить отъ землевладѣльца, жить за нимъ безвыходно. Такъ произошло крѣпостное право на крестьянъ, выразившееся сначала не въ законѣ, а въ частныхъ договорахъ. Оно было создано, значить, слѣдующими тремя конкретными условіями: 1) нуждою крестьянъ въ ссудѣ для хозяйственнаго обзаведенія, соединенною съ невозможностью расплатиться; 2) потребностью землевладѣльцевъ въ постоянномъ, осѣломъ рабочемъ контингентѣ; 3) воздѣйствіемъ кабальнаго холопства.

Спрашивается теперь: въ какой же связи находились эти

конкретныя явленія съ *общими* условіями изучаемаго момента исторіи русскаго народнаго хозяйства?

Извѣстно, чѣмъ была создана нужда крестьянъ въ ссудѣ для хозяйственнаго обзаведенія: она была результатомъ перехода отъ добывающей промышленности къ земледѣлію, такъ какъ земледѣліе по своей экономической природѣ требуетъ приложенія значительнаго капитала, необходимаго для приобрѣтенія орудій, построекъ, рабочаго скота и отсутствующаго у крестьянина, прежде занимавшагося добывающей промышленностью¹⁾. Подъ влияніемъ господства земледѣлія, при сохраненіи натурального хозяйства, сложились и развились служилое помѣстье и монастырская вотчина, подавившая своей массой другія формы земельного владѣнія, а это господство помѣстной системы и монастырскаго землевладѣнія, державшагося прочно въ XVI вѣкѣ и лишь нѣсколько уменьшившееся, какъ было нами выше доказано, въ XVII столѣтіи, привело не къ обогащенію крестьянъ, не къ скопленію въ ихъ рукахъ капиталовъ, а, напротивъ, къ разоренію крестьянскаго населенія. Дѣло въ томъ, что помѣстье, по своей юридической природѣ, было явленіемъ непрочнымъ, которое всегда могло быть отнято высшимъ собственникомъ, государемъ, и потому помѣщику не было расчета относиться къ землѣ бережливо; напротивъ, въ его интересѣ было использовать возможно скорѣе и въ полной мѣрѣ всѣ производительные ресурсы имѣнія, потомъ бросить его и выпросить себѣ другое. Что касается монастырскаго хозяйства, то оно страдало отъ чрезвычайной обширности и разбросанности монастырскихъ имѣній, исключавшей возможность правильнаго и постояннаго надзора за приказчиками и контроля ихъ дѣйствій и приводившей къ тому, что много монастырскаго земли раздавалось за вкладъ, за службу монастырю свѣтскимъ лицамъ во временное и условное владѣніе, подобное помѣстному и потому сопровождавшееся такими же невыгодными хозяйственными послѣдствіями, какъ и помѣстье²⁾. Такимъ образомъ, и съ переходомъ къ земледѣлію крестьянинъ продолжаетъ нуждаться въ ссудѣ и, разоряемый хищническими приемами хозяйства на помѣстной и монастырскаго землѣ, сплошь и рядомъ оказывался безнадежнымъ должникомъ, не былъ въ состояніи возратить ссуду. Зарожденіе денежнаго хозяйства, какъ явленіе совершенно новое, потрясшее весь хозяйственный

¹⁾ См. нашу статью „Натуральное хозяйство и формы землевладѣнія въ древней Россіи“, выше стр. 127.

²⁾ См. объ этомъ подробнѣе въ „Сельскомъ хозяйствѣ М. Руси въ XVI в.“ и выше въ нашей статьѣ на эту тему.

организмъ страны до основанія, болѣзненно отзывалось на экономическомъ благосостояніи крестьянства и еще туже завязывало узелъ безнадежной задолженности. Такимъ образомъ, нужда крестьянъ въ подмогъ и невозможность для нихъ расплатиться сводятся къ двумъ болѣе общимъ экономическимъ условіямъ конца XVI вѣка: господству земледѣлія, со всеми его необходимыми послѣдствіями въ области формъ землевладѣнія и техники полевого хозяйства, и зарожденію денежнаго хозяйства. Такимъ же послѣдствіемъ перехода къ земледѣлію является, въ концѣ концовъ, и настоящая, острая потребность землевладѣльцевъ XVI вѣка въ постоянномъ рабочемъ контингентѣ: когда, подъ влияніемъ земледѣлія, восторжествовали помѣстье и монастырская вотчина, то разорительные приемы помѣстнаго и монастырскаго хозяйства вызвали усиленный отливъ населенія изъ центра къ окраинамъ¹⁾, а это принудило землевладѣльцевъ употребить всѣ усилія для закрѣпленія за собой необходимыхъ имъ земледѣльческихъ рабочихъ. Потребность въ рабочей силѣ обострилась еще и благодаря зарожденію денежнаго хозяйства: какъ только денежное хозяйство зародилось, на рынкѣ появился спросъ на продажный хлѣбъ и другіе продукты земледѣлія, особенно на ленъ и коноплю. Поэтому землевладѣльцы живо почувствовали потребность въ расширеніи собственной барской папши; этой потребности они удовлетворили прежде всего тѣмъ, что посадили на папшу своихъ несвободныхъ слугъ, холоповъ: къ концу XVI вѣка холопы на папшѣ нерѣдко составляли 12, 15, 20 и болѣе процентовъ земледѣльческаго населенія. Въ числѣ такихъ холоповъ были и кабальные люди, количество которыхъ увеличилось какъ разъ къ тому времени, параллельно чему окончательно опредѣлилась въ законодательствѣ и юридическая природа кабальнаго холопства. Наконецъ, соотвѣтственно описаннымъ хозяйственнымъ условіямъ, стала развиваться къ концу XVI вѣка и крестьянская барщина; на примѣръ, въ имѣніяхъ Троицкаго-Сергіева монастыря, описанныхъ въ 1590-хъ годахъ, нерѣдко половина, даже двѣ трети крестьянъ были обязаны барщиной.

Итакъ, говоря вообще, крѣпостное право на крестьянъ, фактически сложившееся во второй половинѣ XVI и въ первой половинѣ XVII вѣка, юридически закрѣпленное сначала договорами (порядными) крестьянъ съ землевладѣльцами, а потомъ Уложеніемъ 1649 года, и затѣмъ тяготѣвшее надъ Россіей еще болѣе 200 лѣтъ, образовалось подъ влияніемъ двухъ основныхъ

¹⁾ „Сельское хозяйство Моск. Руси въ XVI в.“, стр. 291—361.

общихъ экономическихъ причинъ: господства земледѣлія и зарожденія денежнаго хозяйства. *Крѣпостное право — естественный продуктъ первой стадіи развитія денежнаго хозяйства, когда почти вообще господствуетъ далеко еще не интенсивное земледѣліе.*

Но юридическая природа крѣпостныхъ отношеній крестьянина къ землевладѣльцу въ нашемъ отечествѣ существенно отличалась отъ природы крѣпости западно-европейскихъ виллановъ, какъ она сложилась въ XIII вѣкѣ, при зарожденіи денежнаго хозяйства на Западѣ. Западно-европейскій вилланъ, какъ мы имѣли уже случай замѣтить, былъ крѣпокъ *земль* въ слѣдствіе господства *городского* денежнаго хозяйства, разсчитаннаго на мѣстный небольшой рынокъ. Русскій крестьянинъ былъ прикрѣпленъ *къ личности землевладѣльца*, потому что зародившееся въ Московской Руси съ половины XVI вѣка денежное хозяйство отличалось несравненно большей, чѣмъ на Западѣ, обширностью рынковъ для сбыта продуктовъ, обширный же рынокъ всегда требуетъ свободы передвиженія рабочей силы по волѣ ея владѣльца. Доказательства личнаго прикрѣпленія крестьянъ въ Россіи многочисленны. Они сводятся къ тому, что въ эпоху развитія крѣпостныхъ отношеній землевладѣльцамъ принадлежали слѣдующія права: право переводить крестьянъ въ дворовые и, наоборотъ, дворовыхъ людей на пашню, право переселять крестьянъ порознь или цѣлыми селеніями съ однѣхъ земель на другія и, наконецъ, право продавать и закладывать крѣпостныхъ людей по одиночкѣ и безъ земли ¹⁾. Ограничимся указаніемъ на немногіе конкретные примѣры, подтверждающіе справедливость этого заключенія и для XVII вѣка. Отъ 1675 года до насъ дошла «память» ²⁾ изъ Холопя приказъ къ Помѣстный, изъ которой видно, что крестьяне въ это время уже были предметомъ гражданскихъ сдѣлокъ между владѣльцами: ихъ уже продавали и мѣняли отдѣльно отъ земли. Въ томъ же году, по просьбѣ боярина Матвѣева, ему дозволено было записать за собою крестьянъ по сдѣлочнымъ записямъ безъ земли въ Помѣстномъ приказѣ ³⁾. Памятники статистики народонаселенія, — переписныя книги, составленныя, какъ извѣстно, въ 40-хъ и 70-хъ годахъ XVII вѣка, переполнены примѣрами такого же свободнаго отчужденія крестьянъ безъ земли и перевода ихъ съ одного земельного участка на

¹⁾ *Ключевскій*, „Происхожденіе крѣпостного права въ Россіи, „Русская Мысль“ за 1885 г., № 8, стр. 7.

²⁾ Такъ назывались бумаги, какими сносились между собою центральныя учрежденія Московскаго государства, — приказы.

³⁾ *Билльеръ*, „Крестьяне на Руси“. М., 1860 г., стр. 164—165.

другой ¹⁾). Наконецъ, много указаній въ этомъ же смыслѣ можно найти въ такъ называемыхъ отказныхъ книгахъ, которыя велись въ Помѣстномъ приказѣ, центральномъ учрежденіи, вѣдавшемъ землевладѣніе, и содержали въ себѣ записи о ввѣдѣ во владѣніе землей тѣхъ или другихъ служилыхъ людей, получавшихъ имѣнія по наслѣдству, пожалованію или покупкѣ ²⁾).

VI.

Образовавшееся вслѣдствіе господства земледѣлія и зарожденія денежнаго хозяйства съ обширнымъ рынкомъ крѣпостное право на крестьянъ вызвало къ жизни новыя формы крестьянскаго землепользованія, превратившіяся послѣ освобожденія крестьянъ въ крестьянское мірское или общинное землевладѣніе, которое, какъ извѣстно, сохранилось до нашихъ дней въ Вѣликороссіи. Таково дальнѣйшее положеніе, которое мы должны доказать.

Съ легкой руки Хомякова и нѣмецкаго путешественника барона Гакстгаузена, посѣтившаго наше отечество въ самомъ началѣ 40-хъ годовъ XIX столѣтія, славянофилы провозгласили мірское землевладѣніе исконной русской формой отношенія земледѣльца къ землѣ и видѣли въ немъ отраженіе того мистическаго славянскаго «общиннаго духа», который приводилъ ихъ въ такое трогательное, хотя съ нашей точки зрѣнія и нѣсколько комичное, умиленіе. Новѣйшія изслѣдованія показали, однако, что въ древней Руси не было ни малѣйшихъ слѣдовъ современной крестьянской земельной общины. Слѣдовательно, убѣжденіе славянофиловъ въ исконности общиннаго землевладѣнія въ томъ видѣ, въ какомъ оно существуетъ сейчасъ, отпадаетъ само собою. Честь перваго опроверженія славянофильскихъ взглядовъ на исторію земельной общины принадлежитъ одному изъ самыхъ выдающихся и наиболѣе разностороннихъ русскихъ ученыхъ, Б. Н. Чичерину. Показавъ, на основаніи всего имѣвшагося въ обращеніи болѣе сорока лѣтъ тому назадъ печатнаго матеріала, всю неосновательность славянофильской теоріи, г. Чичеринъ выставилъ положеніе, по которому періодическіе передѣлы съ цѣлью земельного поравненія и неотчуждаемость крестьянскихъ участковъ—эти наиболѣе характеристическія черты земельной общины нашего

¹⁾ См. *Замисловскій*, примѣчанія къ изданнымъ имъ въ „Иѣтописяхъ вѣнскихъ Археографической комиссіи“, вып. VIII, отрывкамъ изъ переписныхъ книгъ.

²⁾ Отказныя книги не изданы и были предметомъ нашего изученія въ Московскомъ архивѣ Министерства Юстиціи.

времени—произошли вслѣдствіе прикрѣпленія крестьянъ и введенія подушной подати. Б. Н. Чичеринъ попытался затѣмъ изобразить въ конкретныхъ фактахъ происхожденіе передѣловъ на черныхъ земляхъ сѣвера Россіи и установить, что передѣлы были введены здѣсь межевыми инструкціями 1754 и 1766 годовъ, т. е. распоряженіями правительства ¹⁾). Нѣсколько десятилѣтій спустя г-жа Ефименко, давъ яркое и совершенно новое изображеніе формы крестьянскаго землевладѣнія на сѣверѣ, извѣстной подъ именемъ землевладѣнія долевого, складническаго, сябринаго или сосѣдскаго ²⁾), констатировала въ изслѣдованной ею области въ XVIII вѣкѣ полное разложеніе сябринаго владѣнія и обращеніе его въ подворно-участковое и затѣмъ показала, что, хотя межевыя инструкціи второй половины XVIII вѣка были первыми рѣшительными шагами къ утвержденію періодическихъ передѣловъ земли на сѣверѣ, но эта цѣль была достигнута здѣсь только въ 30-хъ годахъ XIX вѣка. вмѣстѣ съ тѣмъ, не отрицая прямого воздѣйствія правительства на образованіе передѣловъ, г-жа Ефименко высказала мысль о возможности и даже неизбежности ихъ утвержденія и безъ правительственнаго вмѣшательства; эта мысль и основывается на томъ соображеніи, что для превращенія сябринаго землевладѣнія въ общинное стоило только лишить крестьянъ права распоряженія (продажи, залога, завѣщанія) принадлежащими имъ долями сябринаго земли, что, по мнѣнію г-жи Ефименко, и сдѣлали всѣ землевладѣльцы въ древней Руси; что касается идеи передѣла, то она не была новостью, такъ какъ передѣлы существовали и при сябринаго землевладѣнія ³⁾). На нашъ взглядъ, несмотря на нѣкоторое несогласіе наше съ г-жей Ефименко въ этомъ пунктѣ (о чемъ ниже), ея мнѣніе представляетъ собою значительный шагъ впередъ сравнительно съ мнѣніемъ г. Чичерина: г. Чичеринъ съ особеннымъ удареніемъ говоритъ о роли *правительства* въ установленіи общинныхъ поземельныхъ порядковъ, тогда какъ г-жа Ефименко справедливо отмѣчаетъ вліяніе *владельцевъ*; едва ли только можно выводить современные мірскіе передѣлы земли изъ древнихъ сябринаго: при послѣднихъ имѣлась въ виду опредѣленная, неизмѣнная доля земли, независимая отъ количественнаго состава

¹⁾ Чичеринъ, „Опыты по исторіи русскаго права“, М., 1858 г., стр. 44—45, 46, 53—54.

²⁾ См. объ этомъ землевладѣніи въ нашей статьѣ „Натуральное хозяйство и формы землевладѣнія въ древней Россіи“, выше въ этой же книгѣ.

³⁾ Ефименко, „Изслѣдованія народной жизни“, т. I, М., 1884 г., стр. 293—294, 324—347.

земли, тогда как мірскіе передѣлы отличаются уравнительнымъ характеромъ, сообразно рабочей и платежной способности отдѣльныхъ хозяйственныхъ единицъ. Послѣ г-жи Ефименко о происхожденіи общинно-уравнительнаго землепользованія стали говорить изслѣдователи сибирскаго землевладѣнія. Главный выводъ, къ которому они пришли, изучая порядки крестьянскаго пользования государственной землей въ Сибири, заключается въ томъ, что отъ сабриннаго владѣнія къ общинно-уравнительному сибирскіе крестьяне перешли вслѣдствіе двухъ причинъ: 1) подушной подати, предполагавшей разверстку платежей по душамъ рабочаго возраста; 2) земельного утѣсненія, вслѣдствіе котораго бѣдные лишены были возможности исправно уплачивать подушную подать и потому потребовали передѣла ¹⁾. Это заключеніе въ послѣднее время принято было и г. Качоровскимъ, который лишь нѣсколько измѣнилъ перспективу, въ какой располагаются два указанныхъ вліянія: по его мнѣнію, уравнительные передѣлы—слѣдствіе, главнымъ образомъ, «внутри-общинной борьбы за землю, вызываемой сокращеніемъ ея (т. е. земли) размѣровъ»; что же касается фискально-политической причины (т. е. подушной подати), то она была только *однимъ* изъ условій развитія передѣловъ ²⁾. Кромѣ того, г. Качоровскій отмѣчаетъ еще одну причину изучаемаго нами процесса, заключающуюся въ перемѣнѣ техники земледѣльческаго хозяйства, въ переходѣ къ трехполью, при которомъ необходимъ общій правильный сѣвооборотъ съ пастьбой скота на поляхъ ³⁾. Этимъ собственно закончилась *теоретическая* разработка вопроса о происхожденіи мірскаго землевладѣнія: послѣднія работы гг. В. В. ⁴⁾ и В. Семевского ⁵⁾ не вносятъ ничего новаго въ теоретическомъ отношеніи и только разъясняютъ и обставляютъ фактическими данными положеніе, что передѣлы, осуществившіеся у сѣверныхъ крестьянъ въ XIX вѣкѣ, были подготовлены въ значительной мѣрѣ ходатайствами самихъ крестьянъ, вызванными въ свою очередь хозяйственными условіями—по преимуществу недостаточнымъ земельнымъ обезпеченіемъ большинства крестьянства.

Въ предшествовавшемъ обзорѣ мы не имѣли въ виду представить библиографическій обзоръ литературы объ исторіи кре-

¹⁾ См. сводную работу г. А. Кауфмана, „Крестьянская община въ Сибири“, Спб., 1897 г., стр. 64—66.

²⁾ Качоровскій, „Русская община“, т. I, Спб., 1900 г., стр. 238—239.

³⁾ Тамъ же, стр. 225.

⁴⁾ См. его статьи въ „Русской Мысли“, особенно за 1897 г., №№ 11 и 12 („Начало передѣловъ земли на сѣверѣ Россіи“).

⁵⁾ „Очерки изъ исторіи крестьянскаго землевладѣнія на сѣверѣ Россіи въ XVIII в.“, въ „Русскомъ Богатствѣ“ за 1901 г., №№ 1 и 2.

стьянской поземельной общины въ Россіи; наша цѣль заключалась лишь въ томъ, чтобы указать типическія, оригинальныя въ этой литературѣ явленія, игравшія роль поворотныхъ пунктовъ въ разработкѣ вопроса. Изъ сказаннаго видно, что новѣйшее теченіе въ литературѣ этого вопроса имѣетъ тенденцію объяснить происхожденіе уравнительно-душевого владѣнія внѣ непосредственнаго вліянія крѣпостного права, а главнымъ образомъ—если не исключительно—изъ увеличивавшейся земельной тѣсноты. Едва ли, однако, можно признать вѣрнымъ такой взглядъ. Нельзя объяснить переходъ къ уравнительно-душевому владѣнію изъ одного лишь утѣсненія, являющагося неизбѣжнымъ послѣдствіемъ роста населенія и влекущаго за собою переходъ къ трехполью; это невозможно по той причинѣ, что необходимая для трехполья плотность населенія была достигнута въ области Оки и верхней Волги, а равно и въ Новгородской области, уже въ XVI вѣкѣ, такъ что уже тогда названныя области знали трехпольную систему земледѣлія ¹⁾, и однако мірскаго или общиннаго землевладѣнія въ современномъ смыслѣ слова въ то время совершенно не было. Съ другой стороны, нельзя, конечно, объяснить изучаемый процессъ однимъ только правительственнымъ воздѣйствіемъ или фискально-политическимъ вліяніемъ: вѣдь достаточно извѣстно, что Малороссія не знала и не знаетъ общиннаго землевладѣнія и въ то же время подлежала подушной подати; притомъ же подушная подать лежала и на сибирскихъ крестьянахъ, и однако у нихъ долго не было уравнительно-душевого землепользованія. Но само собой разумѣется, что въ виду изложенныхъ соображеній не подлежитъ сомнѣнію ни вліяніе земельной тѣсноты, ни воздѣйствіе подушной подати; необходимо только признать, во-первыхъ, совокупность дѣйствія этихъ двухъ факторовъ какъ единственно—достаточное объясненіе образованія современнаго мірскаго землевладѣнія; во-вторыхъ, надо расширить содержаніе второго фактора: подушная подать являлась вѣдь только частью одного цѣлаго—крѣпостного хозяйства; можно даже замѣтить, что не государственная подать въ собственномъ смыслѣ слова, а причитавшійся къ подушнымъ оброчный сборъ съ черныхъ (потомъ государственныхъ) крестьянъ, превосходившій впоследствии размѣрами собственно-государственную подать, послужилъ главнымъ мотивомъ, вызвавшимъ энергичное содѣйствіе правительства введенію уравнительныхъ передѣловъ земли. Не надо забывать также, что на государственныхъ земляхъ, какъ было выше указано, передѣлы были позднимъ явленіемъ, утвер-

¹⁾ Сельское хозяйство Моск. Руси въ XVI в., стр. 60—70, 104—109.

дившимся лишь въ XIX вѣкѣ, тогда какъ во владѣльческихъ имѣніяхъ то же явленіе можно наблюдать, какъ распространенное, уже въ XVIII столѣтіи. По всѣмъ этимъ соображеніямъ, вторымъ равноправнымъ съ первымъ факторомъ образованія мірскаго землевладѣнія нужно считать крѣпостное право на крестьянъ, происхожденіе котораго изъ общихъ экономическихъ условій времени было выяснено въ предыдущей главѣ.

Необходимо сказать еще нѣсколько словъ о Малороссіи. Цѣлымъ рядомъ изслѣдованій установленъ въ настоящее время съ несомнѣнностью тотъ фактъ, что въ XVIII вѣкѣ въ Малороссіи господствовало то самое сябринное или «дворищное» (какъ иногда оно здѣсь называлось) землевладѣніе, которое наблюдается въ Великороссіи въ началѣ удѣльнаго періода и на сѣверѣ въ XVI вѣкѣ и даже позднѣе ¹⁾. Между тѣмъ, закономъ 3 мая 1783 года крѣпостное право было распространено и на Малороссію, такъ что болѣе милліона такъ называемыхъ «посполитыхъ» крестьянъ, пользовавшихся прежде свободой перехода, сдѣлались крѣпостными. Любопытно вмѣстѣ съ тѣмъ, что несмотря на утвержденіе крѣпостнаго права, въ Малороссіи не появилось въ сколько-нибудь значительномъ количествѣ общинныхъ, мірскихъ земель, періодически передѣлявшихся по душамъ. Спрашивается: какъ же, при свѣтѣ полученныхъ выше общихъ выводовъ, можно объяснить, съ одной стороны, образованіе крѣпостнаго права въ Малороссіи, съ другой—отсутствіе общиннаго землевладѣнія? Отвѣтъ на первый вопросъ заключается въ томъ, что въ Малороссіи, подвергшейся экономическому вліянію Великой Россіи, уже въ XVIII вѣкѣ сдѣлало значительные шаги впередъ по пути развитія денежнаго хозяйства ²⁾, землевладѣльцы поэтому были заинтересованы въ увеличеніи своей барской запашки и барщины и, не имѣя достаточныхъ денежныхъ средствъ для эксплуатаціи вольнонаемнаго труда, нуждались въ крѣпостныхъ земледѣльческихъ рабочихъ. Что же касается второго вопроса, то намъ уже приходилось освѣщать его выше, и мы видѣли, что основной причиной отсутствія мірскаго землевладѣнія въ Малороссіи служило то обстоятельство, что,

¹⁾ См. *Ефименко*, «Дворищное землевладѣніе въ южной Руси» («Русск. Мысль», за 1891 г.); *Лущицкій*, «Сябринное землевладѣніе въ Малороссіи» («Сѣв. Вѣстникъ» за 1889 г., №№ 1 и 2); *Филимоновъ*, «Румянцевская генеральная опись Суражскаго уѣзда», *Филимоновъ* «Матеріалы по вопросу объ эволюціи землевладѣнія», вып. II, Пермь, 1895; *Лазаревскій*, «Описаніе старой Малороссіи» и пр.

²⁾ См. объ этомъ, напр., изслѣдованіе *И. Аксакова* о малороссійскихъ ярмаркахъ.

хотя и былъ налицо одинъ элементъ, необходимый для установленія уравнительно-душевыхъ передѣловъ—крѣпостное право,—но въ XVIII вѣкѣ не было еще другого элемента,—земельной тѣсноты: слабо заселенная территория, изобилующая притомъ плодородной почвой, исключала необходимость круговой поруки, обязательнаго сѣвооборота, быстрого торжества болѣе интенсивныхъ стадій въ развитіи трехполья и т. д. А когда въ XIX в. населеніе выросло, и тѣснота обнаружилась, развившееся денежное хозяйство помѣшало наложенію новыхъ стѣсненій. Притомъ же было уже поздно: скоро пробилъ послѣдній часъ крѣпостной неволи.

VII.

Остается сдѣлать нѣсколько замѣчаній о томъ вліяніи, какое оказала на формы землевладѣнія въ Россіи та реформа, которою начинается новѣйшая русская исторія,—освобожденіе крестьянъ, узаконенное Положеніемъ 19 февраля 1861 года. Крестьянская реформа, сама бывшая слѣдствіемъ и вмѣстѣ признакомъ перехода денежнаго хозяйства во вторую стадію его развитія, когда большая часть населенія втягивается въ торговый оборотъ, когда на ряду съ земледѣліемъ занимаетъ видное и самостоятельное положеніе обрабатывающая, въ особенности фабрично-заводская промышленность, повела вмѣстѣ съ тѣмъ къ скорѣйшему развитію денежно-хозяйственной системы. Эта система во второй стадіи своего развитія еще больше, чѣмъ въ первой, требуетъ освобожденія земли, свободнаго перехода ея изъ рукъ въ руки и возможности постояннаго и безпрепятственнаго обращенія недвижимости въ денежный капиталъ. Вотъ почему актомъ 19 февраля 1861 года нанесенъ былъ сильнѣйшій ударъ господствовавшему въ XVIII и въ первой половинѣ XIX вѣка принципу *сословной* поземельной собственности, согласно которому населенной землей могли владѣть только одни дворяне. *Полная безусловная и безусловная земельная собственность—вотъ важнѣйшее въ области формъ землевладѣнія пріобрѣтеніе новѣйшей Россіи.* Но какъ бы радикальна ни была реформа, она всегда носитъ на себѣ печать историческаго прошлаго, потому что прошлое не цѣликомъ исчезаетъ изъ жизни, а живетъ въ видѣ болѣе или менѣе значительныхъ остатковъ въ отсталыхъ мѣстностяхъ въ зависимости отъ мѣстныхъ условій. Поэтому и у насъ сохранилось въ сильной степени мірское землевладѣніе, этотъ историческій обломокъ крѣпостной эпохи. Нѣтъ сомнѣнія, въ нѣкоторыхъ частяхъ страны оно соотвѣтствуетъ еще мѣстнымъ экономическимъ условіямъ и потому должно сохраниться еще долго.

Но проявляются уже довольно ясные признаки разложения крестьянского мирского землевладения на большей части территории, имъ охватываемой, и притомъ, какъ сейчасъ будетъ разъяснено, эти признаки сказываются даже въ фактахъ, толкуемыхъ нѣкоторыми изслѣдователями въ смыслѣ, благопріятномъ для земельной общины. Извѣстно, что изданъ законъ объ уничтоженіи круговой поруки въ уплатѣ податей: этимъ прекращается существованіе одного изъ важнѣйшихъ обломковъ крѣпостного строя, и вмѣстѣ уничтожается одна изъ опоръ общиннаго землевладенія. Извѣстенъ далѣе и даже отмѣченъ отчасти въ литературѣ¹⁾ начинающійся въ крестьянской массѣ процессъ дифференціаціи, — выдѣленіе трехъ слоевъ крестьянства 1) высшаго, болѣе богатого; 2) средняго по достатку, и 3) деревенскаго пролетаріата. Послѣдній, не имѣя права продать общинную землю, замѣняетъ эту продажу сдачей своихъ надѣловъ въ долгосрочную аренду за ничтожную плату богатымъ крестьянамъ, а самъ направляется на фабрику, въ городъ или въ помѣщичью экономію для работы по найму; что касается средняго крестьянскаго слоя, то онъ ищетъ спасенія въ переселеніи. Такъ, на дѣлѣ масса мирской земли мѣстами сосредоточивается въ рукахъ богатаго крестьянства, и община такимъ образомъ колеблется. Но едва ли не еще болѣе грознымъ признакомъ будущаго паденія крестьянскаго мирского землевладенія является, съ нашей точки зрѣнія, замѣчающійся въ послѣднее время процессъ технического улучшенія крестьянскаго земледѣльческаго хозяйства, считаемый — по нашему мнѣнію, ошибочно — нѣкоторыми изслѣдователями²⁾ признакомъ растяжимости, эластичности, живучести земельной общины. Несомнѣнно, что въ центральныхъ губерніяхъ многіе крестьяне, оставаясь при формѣ мирского землевладенія съ передѣлами и черезполосицей, заводятъ плодосмѣну³⁾. *Но не надо упускать изъ виду, что это плодосмѣнъ первоначальный, не интенсивный, не многопольный, а лишь трехпольный. И многопольный плодосмѣнъ не можетъ даже и существовать при мирскомъ землевладѣніи, потому что каждую полосу въ каждомъ кону пришлось бы въ такомъ случаѣ разбить на такія карликовыя поля, на которыхъ негдѣ было бы даже и повернуться. Очевидно, при переходѣ къ настоящему многополью, неизбѣжномъ въ болѣе или менѣе*

¹⁾ См. напр., *Гурвичъ*. „Экономическое положеніе русской деревни“.

²⁾ См. напр. статью *П. Б. Струве* о книгѣ г. Бажаева въ „Научномъ Обозрѣніи“ за 1901 г., ноябрь.

³⁾ *Бажаевъ*, „Крестьянское травопольное хозяйство“.

отдаленномъ будущемъ, разъ заведенъ плодосмѣнь,—должны существеннымъ образомъ измѣниться и порядки мірскаго землевладѣнія, тѣ его особенности, которыя его отличаютъ отъ другихъ формъ владѣнія землей.

Мы должны теперь вкратцѣ рассмотретьъ тѣ важныя заключенія, къ которымъ приводитъ предшествующее изложеніе.

Основнымъ элементомъ всего хозяйственнаго развитія новой, какъ и древней, Россіи оставался *ростъ населенія*. Непосредственными проявленіями этого роста населенія были постепенное *распространеніе земледѣлія* на всю почти территорию страны и зарожденіе и медленное *развитіе денежнаго хозяйства*, разсчитаннаго притомъ на болѣе или менѣе обширныя рынки. Подъ вліяніемъ господства земледѣлія и развитія денежнаго хозяйства обнаружались два параллельныхъ ряда послѣдствій въ области формъ землевладѣнія и организаціи народнаго труда. Первый рядъ состоитъ въ *смыслѣ несвободныхъ формъ земельнаго владѣнія*—служилаго помѣстья и монастырской вотчины—*полусвободными*, дворянскою недвижимою собственностью и государственнымъ землевладѣніемъ. Второй рядъ послѣдствій основныхъ хозяйственныхъ явленій времени съ половины XIX вѣка слагается, во-первыхъ, изъ *крѣпостнаго права на крестьянъ*, усвоившаго при этомъ характеръ личной, а не поземельной крѣпости; во-вторыхъ, изъ *мірскаго общиннаго или уравнительно-душевого крестьянскаго землемользованія*. Наконецъ, съ половины XIX вѣка денежное хозяйство въ Россіи вступило во вторую стадію своего развитія, что повело, съ одной стороны, къ паденію *крѣпостнаго права*, съ другой, къ *торжеству свободной, безсословной земельной собственности и началу разложенія мірскаго землевладѣнія*. Такова въ самомъ сжатомъ изложеніи основная схема нашей статьи.

Сопоставляя эту схему съ процессомъ развитія народнаго хозяйства и формъ землевладѣнія въ западноевропейскихъ странахъ при зарожденіи и первоначальномъ развитіи тамъ денежнаго хозяйства, мы неоднократно убѣждались въ томъ, что въ изучаемый періодъ между востокомъ и западомъ Европы наблюдается гораздо большее различіе, чѣмъ то было въ періодъ господства натурального хозяйства. Причины этого различія заключаются, во-первыхъ, въ непомѣрной обширности восточно-европейской равнины—обширности, позволившей крестьянству отхлынуть на окраины въ критическую эпоху борьбы боярства съ государемъ, что повело къ ослабленію боярства и къ крѣпостной организаціи служилаго землевладѣнія, въ противоположность западному феодальному владѣнію; во-вторыхъ, въ

сравнительномъ удобствѣ въ Россіи путей сообщенія—многочисленныхъ судоходныхъ рѣкъ и, главное, долго держащагося саннаго пути,—создавшихъ возможность производства на болѣе или менѣе обширный рынокъ, вслѣдствіе чего и необходимо было прикрѣпленіе крестьянъ къ личности землевладѣльца и образование мірскаго землепользованія. Теперь ясно, въ чемъ состоятъ необходимыя поправки въ теоріи М. М. Ковалевскаго о перво-степенномъ значеніи роста населенія въ процессѣ экономическаго развитія той или другой страны: не отрицая этого перво-степеннаго значенія роста населенія, мы думаемъ однако, что многія важныя особенности хозяйственнаго развитія отдѣльныхъ странъ необъяснимы безъ вниманія къ нѣкоторымъ условіямъ природы той или другой страны. Важными съ указанной точки зрѣнія условіями внѣшней природы являются не почвенныя особенности той или другой области, а рельефъ страны, ея орошеніе, климатъ, обусловливающий степень продолжительности снѣгового покрова, и степень обширности территоріи. Мы согласны, что эти естественныя факторы сами по себѣ не въ силахъ ничего создать, что они только отклоняютъ въ ту или другую сторону результатъ дѣйствія другихъ факторовъ, роста населенія и хозяйственныхъ явленій, съ нимъ непосредственно связанныхъ, что росту населенія и хозяйственнымъ явленіямъ принадлежитъ именно *дѣятельная, творческая* роль въ историческомъ процессѣ; но игнорировать вліяніе внѣшней природы все-таки нельзя.

Психологія характера и соціологія.

СТАТЯ ПЕРВАЯ.

Психологическая школа въ соціологіи.

Сорокъ лѣтъ тому назадъ Бокль въ своей знаменитой «Исторіи цивилизаціи въ Англіи» отмѣтилъ поразившее его противорѣчіе между количествомъ труда, затраченнаго на изученіе исторіи, и результатами этого труда: ни одна наука не имѣетъ такой обширной литературы, какъ исторія, и между тѣмъ эта послѣдняя чуть ли не самая отсталая изъ всѣхъ наукъ, по мнѣнію Бокля. За то время, которое протекло съ появленія книги Бокля, историческая литература, конечно, еще болѣе возрасла количественно; спрашивается: соотвѣтствовало ли этому ея качественное улучшение, какъ далеко ушла исторія по желанному пути приближенія къ идеалу точной науки и въ какомъ направленіи пойдетъ дальше? Употребляя старое слово «исторія», Бокль имѣетъ въ виду собственно не одну только эту, выражаясь въ терминахъ Спенсера, конкретную науку о прошлой жизни человѣческихъ обществъ, но также и абстрактную науку объ обществѣ, вообще, то, что Контомъ названо соціологіей. Поэтому для разрѣшенія вопроса о современныхъ направленіяхъ въ исторіи и ихъ вѣроятной будущности важны не столько спеціальныя пріобрѣтенія исторической науки, сколько тѣ соціологическіе выводы, къ которымъ она теперь приводитъ, и тѣ соціологическіе принципы, которые принимаются въ основу историческихъ изслѣдованій; а эти выводы и принципы стоятъ въ свою очередь въ тѣсной связи со спеціальной соціологической литературой, обойти которую такимъ образомъ совершенно невозможно. Тео-

ретическая важность соціологическихъ основъ исторіи усугубляется еще тѣмъ обстоятельствомъ, что онѣ неизбѣжно вліяютъ и на жизнь и на практическую дѣятельность; понятіе о томъ, подъ какими основными вліяніями слагается жизнь человѣчества, неизбѣжно отражается на выработкѣ общественныхъ идеаловъ и выборѣ средствъ, какими эти идеалы могутъ быть осуществлены въ дѣйствительности.

Какъ понимается теперь *предметъ* историческаго изученія, иначе, что собственно изучаетъ исторія? Вотъ основной вопросъ, и надо сознаться, что онѣ не всегда и не всѣми разрѣшается одинаково. Пожалуй, всѣ еще согласятся, что исторія изучаетъ «общественныя явленія», но при разясненіи смысла и содержанія этого понятія начинаются уже разногласія. Въ трудахъ г. Карѣва, Лакомба, даже Лампрехта понятіе «общественное явленіе» двбится и расширяется далеко за предѣлы своего естественнаго смысла. Проф. Карѣвъ въ своемъ сочиненіи «Сущность историческаго процесса и роль личности въ исторіи» признаетъ два разряда явленій, подлежащихъ историческому изученію, явленія прагматическія (дѣянія лицъ) и явленія культурныя. Подобное же различіе подмѣчаетъ Лакомбъ («Объ исторіи какъ наукѣ»), говорящій о «событіяхъ» (événements) и «учрежденіяхъ» (institutions) и, наконецъ, Лампрехтъ, по мнѣнію котораго слѣдуетъ также строго различать два ряда изучаемыхъ исторіей фактовъ: одинъ рядъ входитъ въ понятіе «исторія лицъ» (Personengeschichte), другой составляетъ содержаніе «исторіи состояній» (Geschichte der Zustände). Нельзя не признать, что это отдѣленіе прагматической исторіи отъ культурной способно внести только путаницу въ умы, нисколько не разясняя дѣла. Отдѣльное событіе, взятое внѣ связи съ другими, ему подобными, тѣмъ болѣе поступокъ лица, не можетъ быть предметомъ историческаго изученія: событіе тогда только пріобрѣтаетъ интересъ для историка, когда сближается съ другими звеньями цѣпи, въ составъ которой входитъ; другими словами: исторія есть всегда наука о «культурныхъ явленіяхъ», «учрежденіяхъ», «состояніяхъ», а вовсе не объ отрывочныхъ событіяхъ или личныхъ поступкахъ; такъ называемая «исторія лицъ» интересна для психолога и біографа, но для историка имѣетъ смыслъ только въ мѣру своей связи съ «исторіей состояній»; отдѣльныя событія имѣютъ научное историческое значеніе лишь постольку, поскольку они служатъ проявленіемъ извѣстнаго историческаго процесса. Мысль отдѣлить прагматическія явленія отъ культурныхъ не что иное, какъ простой осадокъ юношескихъ впечатлѣній отъ преподаванія исторіи въ средней

школѣ: вмѣсто исторіи тамъ сплошь и рядомъ даютъ груду разрозненныхъ событій; они беспорядочно укладываются въ свѣжей памяти, а затѣмъ, когда специалистъ-историкъ или просто образованный человѣкъ займется дѣйствительной исторической наукой, даже у него не можетъ изгладиться изъ памяти та мнимая противоположность между прагматическимъ и культурнымъ фактомъ, которая искусственно создана была системой или, вѣрнѣе, безсистемностью гимназическаго обученія. Немыслимость такой противоположности всего проще можно обнаружить слѣдующимъ образомъ: возьмемъ какое-нибудь историческое культурное явленіе, напримѣръ, древнерусскую Боярскую Думу; для историка Дума интересна съ точки зрѣнія того, каковы были въ разныя времена ея составъ и вѣдомство, ея вліяніе на ходъ правительственныхъ дѣлъ, какимъ воздѣйствіямъ со стороны общественной среды подвергалось это учрежденіе и т. п.; чтобы изучить все это, историкъ наблюдаетъ множество отдѣльныхъ прагматическихъ фактовъ и ставитъ ихъ въ связь; только черезъ посредство этихъ послѣднихъ можно изучить и самый интересующій историка культурный фактъ, самое учрежденіе; уничтожьте прагматическіе факты, не будетъ и культурнаго. Почему? Очевидно, потому, что одни отъ другого неотдѣлимы. Совершенно правильной, такимъ образомъ, является точка зрѣнія Бурдо («Исторія и историка»), по мнѣнію котораго научному изученію подлежатъ не «событія», а, какъ онъ выражается, «функціи» (fonctions), т.-е., по терминологіи г. Карѣва, явленія культурныя, а не прагматическія. И справедливость требуетъ признать, что на практикѣ, въ своей ученой работѣ историка въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ слѣдуютъ этой вполнѣ правильной точкѣ зрѣнія. Давно миновали времена простого историческаго разсказа, и въ этомъ немадоважный научный успѣхъ.

Итакъ, предметъ исторіи — историческій процессъ, связанная цѣль фактовъ. Но на чемъ же основывается эта связь? Въ теченіи очень долгаго времени краеугольнымъ камнемъ исторической философіи и науки служила исключительно *причинная* связь явленій. Понятіе о причинѣ, съ метафизической точки зрѣнія, представляетъ, какъ извѣстно, непреоборимыя трудности: одно явленіе можетъ производиться другимъ только въ томъ случаѣ, если это послѣднее уже заключаетъ въ себѣ первое, т.-е. тождественно съ нимъ по природѣ; такимъ образомъ, съ метафизической точки зрѣнія, причина и слѣдствіе какъ бы сливаются, представляютъ неразличимое цѣлое, а это ведетъ къ смутности и спутанности мысли. Съ положительной точки зрѣнія, которая хорошо выяснена Миллемъ въ его «Системѣ ло-

тики», причинность сводится только къ неизбежной и необходимой послѣдовательности двухъ явленій. Становясь на эту почву, изслѣдователи выдвигали въ качествѣ основной причины тотъ или другой элементъ общезжитія, и имъ помогли въ этомъ социологи и отчасти естествоиспытатели. Чистая теорія причинности въ примѣненіи къ исторіи выразилась въ двухъ направленіяхъ: одно можно назвать историко-географическимъ, другое—индивидуалистическимъ. Общественное вліяніе внѣшней природы было указано еще въ XVII вѣкѣ Боденомъ, говорившимъ о воздѣйствіи климата на общественную жизнь человѣчества. Но съ особенной силой принялись настаивать на этомъ вліяніи уже въ истекающемъ столѣтіи, съ развитіемъ физической географіи въ трудахъ Риттера и Гумбольдта. Эти изслѣдователи положили начало такъ называемой антропогеографіи, т.-е. изученію вліянія природы на человѣка. Какъ и всякая новая идея, эта теорія приобрѣла себѣ горячихъ приверженцевъ, слишкомъ преувеличившихъ ея значеніе: всю исторію человѣчества и отдѣльныхъ народовъ стали разсматривать, какъ результатъ дѣйствія одного только естественнаго фактора, одной внѣшней природы. «Дайте мнѣ карту страны, ея очертанія, ея воды, ея вѣтры и всю ея физическую географію, дайте мнѣ ея естественныя произведенія, ея флору, ея геологію и проч., и я берусь сказать вамъ а ргіогі, каковъ будетъ человѣкъ въ этой странѣ, и какова роль ея въ исторіи». Въ этихъ словахъ Кузена какъ нельзя ярче выражены всѣ преувеличенія разсматриваемой теоріи. И русская ученая литература не осталась чужда вліянію такого взгляда: еще недавно Левъ Мечниковъ («Цивилизація и великія историческія рѣки») объяснялъ происхожденіе всѣхъ древнихъ цивилизацій вліяніемъ рѣкъ — Нила въ Египтѣ, Тигра и Евфрата въ Ассиріи и Вавилоніи, Инда и Ганга въ Индіи и пр., а Соловьевъ открылъ свой извѣстный трудъ объ исторіи Россіи главой о «природѣ русской государственной области и ея вліяніи на исторію». При желаніи, можно легко увеличить число подобныхъ примѣровъ.

Однако въ настоящее время едва ли найдется кто-либо, кто сталъ бы всю исторію строить на основѣ одного только естественнаго фактора. И въ самомъ дѣлѣ: самое большее, что даетъ природа, это такія естественныя условія, которыя дѣлаютъ болѣе легкимъ то, а не другое направленіе общественнаго развитія: она не обуславливаетъ *съ необходимостью* этого направленія, а только создаетъ извѣстную *возможность*, осуществленіе которой въ дѣйствительности зависитъ отъ другихъ условій. Ограничимся однимъ примѣромъ: Соловьевъ справедливо указалъ, что

однообразіе и равнинность Восточной Европы дѣлали возможнымъ и весьма вѣроятнымъ соединеніе ея въ одинъ государственный организмъ; но можно ли считать эти условія единственными факторами, создавшими политическое тѣло Россіи? Отрицательный отвѣтъ на этотъ вопросъ напрашивается самъ собою, если припомнить, какой длинный процессъ объединительной работы совершился въ исторіи нашего отечества. Если бы внѣшняя природа страны была единственнымъ необходимымъ условіемъ ея политической дѣльности, наша равнина всегда представляла бы изъ себя единое государство: мы между тѣмъ знаемъ, что, не говоря о временахъ болѣе раннихъ, еще въ прошломъ вѣкѣ на этой равнинѣ существовали другіе политическіе организмы: Польша, Крымъ, Курляндія, Финляндія.

Къ тому же, для правильнаго пониманія значенія естественнаго фактора надо замѣтить, что его сила, напряженность его дѣйствія уменьшается съ теченіемъ времени, по мѣрѣ увеличенія господства человѣка надъ природой. Въ XVIII вѣкѣ вѣрили въ зависимость формы правленія отъ пространства страны, такой взглядъ встрѣчаемъ, напримѣръ, у Монтескье. Это однако же простое отраженіе недостаточности техническихъ успѣховъ въ прошломъ столѣтіи. Мы, обладающіе желѣзными дорогами, пароходствомъ, телеграфомъ и телефономъ, знаемъ, что теперь почти нѣтъ пространства. Даже въ такой, казалось бы, близко соприкасающейся съ природой области, какъ хозяйственный бытъ, замѣчается то же постепенное ослабленіе естественнаго вліянія: Германія XVIII вѣка совершенно не походила въ промышленномъ отношеніи на современную ей Англію; въ наши дни первая, несмотря на всѣ свои природныя отличія отъ второй, является почти такой же представительницей крупнаго фабричнаго хозяйства.

Такимъ образомъ, причинное воздѣйствіе природы на общественную жизнь имѣетъ второстепенное значеніе и съ теченіемъ времени постепенно ослабѣваетъ.

Сущность индивидуалистическаго направленія въ объясненіи исторической причинности заключается въ признаніи высокой роли личности въ исторіи. Это—старое явленіе. Личность ставилась на первый планъ, болѣе того—заполняла всю историческую картину съ тѣхъ поръ, какъ явилось историческое повѣствованіе, даже гораздо раньше—въ то время, какъ зарождались въ глубинѣ народного сознанія и народной фантазіи сказаніе, былина, сага. И это ученіе часто и теперь даже не теряетъ первобытной, наивной формы. Исторію человѣчества все еще очень часто превращаютъ въ исторію государей и великихъ лю-

дей: эти «великаны», по выражению Карлейля, давшего наиболее яркой образец увлечения крайним индивидуализмом, как будто творять все в истории, несколько не зависять от окружающих условий и вовсе не являются типическими выразителями потребностей времени, а напротив, сами создают эти потребности. Приведем два-три примѣра: Устряловъ в своей «Исторіи Петра Великаго» склоненъ былъ объяснять всѣ реформы начала прошлаго столѣтія только гениемъ преобразователя и вырылъ этимъ пропасть между Русью древней и новой Россіей; в наши дни г. Шильдеръ, авторъ двухъ работъ объ императорѣ Александрѣ I, очень интересныхъ и живыхъ, благодаря богатому материалу, которымъ онъ пользовался, склоненъ до крайности преувеличивать личное вліяніе Александра I на ходъ современныхъ ему историческихъ событій. Между тѣмъ достаточно извѣстно—и рассказъ г. Шильдера в тѣхъ частяхъ, гдѣ передаются факты, только подтверждаетъ это,—что, напримѣръ, во внѣшней политикѣ результаты опредѣлялись все время не личными планами императора и его совѣтниковъ, а традиционными задачами русской внѣшней политики—стремленіемъ къ національному объединенію и къ расширенію территоріи до естественныхъ предѣловъ равнины,—а также и условіями обще-европейскими, особенно в концѣ царствованія, когда европейская реакція сдѣлала Александра своимъ послушнымъ орудіемъ. Последнимъ убѣжищемъ теоріи о важности исторической роли личности является извѣстное уже намъ дѣленіе историческихъ явленій на прагматическія и культурныя: в первыхъ личность играетъ будто бы важную роль, во-вторыхъ, этого нѣтъ; но мы уже видѣли, что самое отдѣленіе прагматическихъ явленій отъ культурныхъ не выдерживаетъ критики. Нѣтъ сомнѣнія, что признаніе всеопредѣляющей и даже просто важной роли личности в исторіи,—личности, отдѣльно взятой, героя,—ведетъ къ безнадежному выводу о невозможности исторіи, какъ точной до извѣстной хотя бы степени науки, и къ совершенной немислимости построения социологіи: вѣдь появленіе на свѣтъ той или другой личности и ея дальнѣйшая судьба есть нѣчто такое случайное, что научно объяснить необходимость этого появленія невозможно, не впадая в фатализмъ, а фатализмъ и случайность—двѣ крайности, которыя дѣлаютъ одинаково невозможной плодотворную научную работу. Нельзя не согласиться, что историческій результатъ дѣятельности личности, взятой изолированно, ничтоженъ и безъ вреда для дѣла можетъ не идти въ счетъ.

Такой взглядъ на незначительность личнаго вліянія суще-

ствуется не со вчерашняго дня, онъ возникъ или, по крайней мѣрѣ, сталъ замѣтнымъ послѣ французской революціи. Подъ вліяніемъ неудачъ, понесенныхъ на практикѣ демократической и либеральной политической идеологіей прошлаго вѣка, разочаровались въ возможности перестроить общество по шаблону, составляющему продуктъ головной работы философа-утописта, убѣдились, что историческое прошлое создаетъ ту среду, въ которой преломляются личные стремленія и выходитъ на историческую арену въ новомъ, неузнаваемомъ видѣ, томъ именно, который соотвѣтствуетъ потребностямъ данного историческаго момента и кореннымъ устоямъ жизни извѣстнаго народа. Это ведетъ къ теоріи безличнаго развитія, самопроизвольной эволюціи общественнаго явленія: личность—даже самая геніальная—даетъ только толчекъ, создаетъ механическое движеніе, направленіе и смыслъ котораго зависитъ не отъ ея воли, а опредѣляются историческими условіями прошедшаго и вытекающими изъ нихъ потребностями настоящаго момента. Эта эволюціонная теорія въ примѣненіи къ общественнымъ явленіямъ нашла себѣ прежде всего выраженіе въ ученіи такъ называемой исторической школы юристовъ, основателемъ которой былъ Савиньи; по мнѣнію Савиньи и его послѣдователей, право творится не личностью, а «народнымъ духомъ», подъ которымъ они разумѣли всю совокупность историческихъ явленій въ жизни народа. Другими словами, развитіе права есть самопроизвольная эволюція традиціи. На помощь этому ученію скоро пришли двѣ вліятельнѣйшія доктрины нашего вѣка — гегелианство и дарвинизмъ. Эволюціонный принципъ одинаково свойственъ и тому, и другому: онъ выражается и въ ученіи Гегеля объ исторіи, какъ процессѣ постепеннаго приведенія абсолютнаго духа къ самопознанію, и въ теоріи Дарвина о борьбѣ за существованіе и естественномъ подборѣ какъ основахъ органической эволюціи. Впрочемъ совершенно независимо отъ этихъ двухъ доктринъ эволюціонный принципъ въ общественныя науки былъ проведенъ основателемъ позитивизма Контомъ: послѣдній употребляетъ и самый терминъ «самопроизвольное развитіе» (*évolution spontanée*), а его теорія процесса, проходящаго три стадіи: теологическую, метафизическую и положительную — есть чистый типъ эволюціонной формы.

Такимъ образомъ, эволюціонный принципъ проникъ въ общественныя науки и въ частности въ исторію подъ вліяніемъ новыхъ идей и теченій въ области философской мысли, въ наукѣ права и въ естествознаніи. И въ самомъ дѣлѣ: если, наблюдая за жизнью растенія и животнаго, мы замѣчаемъ, что она про-

ходить известный ряд фазисовъ въ неизбѣжной и необходимой послѣдовательности, что, напримѣръ, плоды не могутъ явиться раньше листьевъ, то какое же право имѣемъ мы отрицать, что общественныя явленія также въ значительной мѣрѣ развиваются въ силу присущихъ имъ внутреннихъ свойствъ? Понятно поэтому, что эволюціонное начало приобрѣло себѣ права гражданства въ социологіи. Даже болѣе того: до сихъ поръ появляются книги, отрицающія всякую причинность въ явленіяхъ общественной жизни, и принимающія только одну эволюціонную связь; такова, напримѣръ, упомянутая выше книга Бурдо «Исторія и историки»; по мнѣнію автора ея, задача науки исчерпывается опредѣленіемъ необходимаго порядка фазисовъ, который прошли и должны пройти въ своемъ развитіи учрежденія, искусства, науки и пр. Но самымъ яркимъ примѣромъ чисто-эволюціонной социологической теории можетъ служить такъ называемая органическая школа въ социологіи. Ея основатель и наиболѣе талантливый представитель—Спенсеръ. Исходя изъ положенія, что общество есть организмъ, Спенсеръ вполнѣ и послѣдовательно прилагаетъ къ явленіямъ общежитія свою формулу эволюціоннаго процесса, составляющую основу всей его синтетической философіи и примѣненную имъ еще раньше къ явленіямъ биологическимъ: если общество—организмъ, то, значить, и законы его развитія не отличаются отъ законовъ развитія органической жизни: и здѣсь и тамъ мы одинаково должны встрѣтиться съ тѣмъ же переходомъ отъ простаго къ сложному, отъ неопредѣленнаго къ опредѣленному, однимъ словомъ, съ процессомъ дифференціаціи отдѣльныхъ частей на ряду съ интеграціей цѣлаго: общество становится стройнѣе и сплоченнѣе, солидарнѣе, сказали бы мы, если бы это слово не приняло нѣсколько иного значенія,—по мѣрѣ увеличенія различій между отдѣльными его членами, вслѣдствіе успѣховъ общественнаго раздѣленія труда. Аналогія съ биологическимъ организмомъ, очевидно, понадобилась Спенсеру именно для того, чтобы связать одной всеобъемлющей формулой всѣ науки, входящія въ составъ его философской системы. Нѣкоторые послѣдователи Спенсера пошли еще дальше учителя и занялись остроумной, но уже совершенно—безцѣльной игрой сравненіями: въ общественномъ организмѣ стали отыскивать тѣ же части, какія свойственны организму животному: голову, руки, ноги и пр. Не такъ давно появившаяся книжка Вормса «Общественный организмъ» представляетъ образецъ подобнаго рода злоупотребленія аналогіями; впрочемъ Вормсъ и нѣкоторые другіе ему подобные социологи имѣютъ здѣсь и одного русскаго предшественника, Стронина, автора двухъ книгъ «Исторія и методъ» и «Политика какъ наука».

Органическая школа въ социологіи несомнѣнно содѣйствовала большому укрѣпленію эволюціоннаго принципа въ исторіи, но нельзя признать значительнымъ ея непосредственное вліяніе на историческую науку. Во всякомъ случаѣ историки совершенно правильно отвергли исключительное господство эволюціонной связи въ общественныхъ явленіяхъ и на ряду съ этой связью признали и существованіе зависимости причинной.

Если мы на нѣсколькихъ типическихъ примѣрахъ попробуемъ присмотрѣться къ техникѣ современной исторической работы, то легко замѣтимъ это постоянное стремленіе историковъ соединить причинную связь съ эволюціонной. Принимаясь за изученіе какого-либо историческаго вопроса, современный изслѣдователь старательно подбираетъ прежде всего извѣстные историческіе antecedentes изучаемаго явленія, тѣ факты въ прошломъ, которые содержатъ это послѣднее явленіе въ зародышѣ, сходны съ нимъ, представляютъ въ зачаточномъ состояніи тотъ процессъ, который яснѣе выразился впослѣдствіи. Такъ проводится непрерывная нить между рядомъ эпохъ, устанавливается процессъ развитія, эволюціонная связь. На ряду съ этимъ обращаютъ вниманіе на сосѣдніе процессы, совершающіеся параллельно изучаемому; подъ ихъ вліяніемъ изучаемый процессъ можетъ отклониться въ ту или другую сторону: это будетъ уже причинная зависимость. Возьмемъ, на примѣръ, такой многими изслѣдуемый теперь вопросъ, какъ происхожденіе феодальныхъ отношеній въ средне-вѣковой Европѣ. Какіе приемы употребляютъ лучшіе современные историки для его разрѣшенія? Сущность феодализма въ *со-словной* сферѣ заключается, какъ извѣстно, въ несвободномъ состояніи главной массы населенія—крестьянства: юридически вся *собственность* крестьянина («виллана») принадлежала сеньеру; на *личность* перваго второй также имѣлъ право: на примѣръ регулировалъ брачные союзы между крестьянами и пр.; цѣлый рядъ повинностей и оброковъ лежалъ на крестьянахъ въ силу ихъ феодальнаго подчиненія сеньеру. Такъ было тогда, когда феодализмъ былъ уже въ развитомъ состояніи. Историки и стараются прослѣдить корни этого явленія или, точнѣе, комплекса явленій,—въ прошедшемъ, начиная съ ранняго средне-вѣковья или даже съ римской имперіи. Такъ, на примѣръ, авторитетный изслѣдователь феодализаціи въ Англии, проф. Виноградовъ слѣдитъ за двумя параллельными процессами, совершавшимися въ Англии сначала въ IX и X—XI вѣкахъ: первый процессъ—постепенное паденіе класса свободныхъ, второй—возвышеніе аристократіи; затѣмъ развитіе тѣхъ же явленій наблюдается въ XII в.: число свободныхъ все уменьшается, они лишаются земли, бѣд-

нѣютъ, подчиняются въ судебномъ отношеніи аристократіи, отдаются подъ патронатъ сильныхъ и богатыхъ землевладѣльцевъ; въ результатѣ получается внушительная и богатая фактами картина непрерывной эволюціи сословныхъ феодальныхъ отношеній. И какого бы направленія ни держался изслѣдователь въ рѣшеніи историческихъ проблемъ,—его методъ одинаковъ съ приемами его противниковъ. Между изслѣдователями, занимающимися исторіей феодализма, существуютъ два крайнихъ направленія,—одни возводятъ феодальный порядокъ почти во всѣхъ его частностяхъ къ германцамъ,—это такъ называемые «германисты»; другіе главное вліяніе приписываютъ римскому элементу: это «романисты». Несмотря на діаметральную противоположность взглядовъ, и тѣ и другіе одинаково стараются прослѣдить эволюціонную связь интересующихъ ихъ явленій съ германскимъ бытомъ или римскими учрежденіями. Вотъ, на примѣръ, какъ смотритъ на дѣло «романистъ», Фюстель-де-Куланжъ, изучая происхожденіе феодальнаго землевладѣнія: онъ изслѣдуетъ римскіе поземельные порядки и старается доказать, что они сохранились почти неизмѣнными и въ средніе вѣка, что *условная* поземельная собственность, обязанная службой и продолжающаяся только до смерти владѣльца, не имѣющаго правъ распоряженія землей, существовала еще во времена римской имперіи и вошла главнымъ элементомъ въ землевладѣльческое право феодальной эпохи. Техника работы та же, какую мы видѣли у проф. Виноградова, вовсе не принадлежащаго къ «романистамъ». Чтобы не утомлять вниманіе читателя, ограничимся еще однимъ только примѣромъ, относящимся къ очень недавнему времени: возьмемъ сочиненіе г. Милюкова «Государственное хозяйство Россіи въ первой четверти XVIII вѣка» и посмотримъ, какъ авторъ объясняетъ происхожденіе Петровскихъ губерній. Представляя себѣ губернію того времени военно-финансовой единицей, во главѣ которой поставлено лицо съ властью, соотвѣтствовавшей компетенціи стараго центрального московскаго приказа, авторъ находитъ ей историческій антецедентъ въ провинціальномъ «разрядѣ» XVII в.: «разряды» имѣли такую же территоріальную непрерывность, какъ и губерніи, и чтобы превратиться въ послѣднія, этимъ старымъ военнымъ округамъ необходимо было получить только финансовую компетенцію и мѣстный органъ съ значеніемъ стараго приказа; первое, по наблюденіямъ г. Милюкова, осуществилось въ значительной мѣрѣ уже въ XVII вѣкѣ: уже тогда финансовая компетенція была въ рукахъ начальниковъ мѣстныхъ разрядовъ, поскольку это необходимо было для содержанія войска; во время военныхъ дѣйствій финансовыя полномочія разряднаго воеводы

расширялись еще болѣе, а въ нѣкоторыхъ разрядахъ воеводы всегда обладали обширной финансовой компетенціей. Съ другой стороны, готовилось и перенесеніе центральныхъ учреждений (приказовъ) въ провинцію: въ нѣсколькихъ главныхъ городахъ приказныя избы были переименованы въ приказныя палаты, что, по мнѣнію г. Милюкова, готовило эти города къ роли губернскихъ центровъ; кромѣ того къ концу XVII в. начальники многихъ приказовъ сдѣлались самостоятельными областными начальниками, путемъ приписки къ подвѣдомственнымъ имъ приказамъ финансовыхъ округовъ. Таковъ эволюціонный процессъ, способствовавшій появленію Петровскихъ губерній. Г. Милюковъ указываетъ кромѣ того и тѣ причины, благодаря которымъ совершилось окончательное превращеніе разрядовъ въ губерніи: причины эти—военныя событія начала XVIII вѣка, необходимость созданія флота и нашествіе Карла XII. Итакъ, по мнѣнію г. Милюкова, первыя русскія губерніи явились результатомъ взаимодѣйствія двухъ силъ: естественнаго роста военныхъ округовъ второй половины XVII вѣка—провинциальныхъ разрядовъ и великой сѣверной войны.

Приведенныхъ примѣровъ, кажется, достаточно, чтобы уяснить технику современной исторической работы. Они важны еще въ одномъ отношеніи: изъ нихъ видно, какими эволюціонными процессами по преимуществу заняты современные историки. Наблюдая пеструю массу историческихъ фактовъ и разбираясь въ ней, можно классифицировать факты, распредѣлить ихъ на нѣсколько большихъ группъ; мы не погрѣшимъ противъ истины, если скажемъ, что такихъ группъ теперь считается пять: естественные факты или явленія внѣшней природы составляютъ одну группу, экономическія явленія—другую, третья заключаетъ въ себѣ факты социальныя, четвертая—политическія, наконецъ, къ пятой принадлежатъ психологическія явленія. Рассмотрѣнные нами только что типическія примѣры убѣждаютъ насъ, что современная исторія изучаетъ по преимуществу, если не исключительно, явленія экономического, социального и политического порядковъ. При желаніи, это можно бы подтвердить и рядомъ другихъ фактовъ и наблюденій.

Историки обыкновенно стремятся установить *взаимодѣйствіе* разныхъ группъ изучаемыхъ ими явленій, не выдвигая ни одной группы какъ основной,—по крайней мѣрѣ большинство въ теоріи не отдаетъ преимущества какой бы то ни было изъ нихъ, хотя на практикѣ, въ отдѣльныхъ случаяхъ дѣло сводится всегда къ преобладанію одного какого-нибудь порядка явленій. Человѣчскій умъ неудержимо стремится къ обобщенію, къ сведенію всего

на одно начало, и потому понятно, что, на ряду съ подобными опытами въ области отдѣльныхъ историческихъ вопросовъ, появляются и общія теоретическія ученія, имѣющія цѣлью обосновать историческій монизмъ, объяснить всю исторію изъ одного принципа, указать между отдѣльными эволюціонными историческими процессами одинъ основной, сильнѣе всѣхъ и даже исключительно воздѣйствующій причинно на всѣ остальные процессы. Наиболѣе популярнымъ изъ такихъ ученій является такъ называемый экономическій или діалектическій матеріализмъ иначе—марксизмъ. Экономическій матеріализмъ, основанный Марксомъ, находится въ періодъ развитія, не представляетъ еще пока цѣльной и законченной системы; поэтому между его приверженцами существуютъ немаловажныя разногласія: по мысли Маркса и Энгельса, основной причинный элементъ историческаго процесса есть экономическій бытъ, именно организація производства; большинство марксистовъ принимаютъ эту мысль, признавая производственные отношенія за главную опредѣляющую историческую силу во всѣ эпохи; такое воззрѣніе можно встрѣтить, на примѣръ, у Каутскаго, Штаммлера, изъ русскихъ—у гг. Струве и Бельтова. Нѣтъ сомнѣнія, что марксизмъ долженъ еще развиться въ будущемъ, и что практическіе результаты этого ученія для исторической науки не исчерпываются указаніемъ на исключительную важность экономическихъ явленій въ историческомъ процессѣ: у марксизма есть одна еще сторона, подкрѣпляющая свѣжую струю въ пониманіи *психологическаго* процесса, происходящаго въ исторіи: исторически важной марксисты признаютъ не психологію отдѣльнаго лица, равно какъ и не психологію «человѣка вообще», а психологію соціальной группы, члены которой связаны между собою одинаковыми хозяйственными интересами. На такую же необходимость изученія соціальныхъ группъ, хотя впрочемъ покоящихся не на экономическомъ базисѣ, еще раньше указалъ Гумпловичъ («Основанія соціологіи» и др. соч.).

Эти психологическіе выводы Гумпловича и экономическихъ матеріалистовъ приводятъ насъ къ наблюденіямъ надъ другимъ важнымъ теченіемъ въ сторону историческаго и соціологическаго монизма: существуетъ цѣлый рядъ соціологовъ и историковъ, признающихъ главнымъ причиннымъ элементомъ въ жизни общества психологическій процессъ; они высказываютъ ту мысль, что исторія есть въ сущности психологическая задача, какъ физика—задача механическая. Этотъ взглядъ прямо и рѣшительно выраженъ Тэномъ въ предисловіи къ его «Исторіи англійской литературы»; недавно у Тэна въ этомъ вопросѣ оказался цѣлый рядъ послѣдователей: Лакомъ («Объ исторіи какъ наукѣ»), Уордъ («Динамическая соціологія», «Психическіе факторы цивилизаціи»),

Лебонъ («Психологическіе законы и эволюція народовъ»), Гиддингсъ («Основанія соціологіи»), Лампрехтъ («Старое и новое направленіе въ исторіи»), Вейзенгрунъ. Лакомбъ и Уордъ выдвигаютъ въ пользу защищаемаго ими воззрѣнія аргументъ, заслуживающій того, чтобы быть отмѣченнымъ: они ссылаются на положеніе соціологіи въ іерархіи абстрактныхъ наукъ, установленной Контомъ и Миллемъ. Извѣстно, что Конту принадлежитъ плодотворнѣйшая классификація наукъ, одно изъ величайшихъ философскихъ приобретеній XIX вѣка; въ основу ея положены принципы убывающей общности изучаемыхъ явленій и возрастающей ихъ сложности: самыя общія и самыя простыя явленія,—именно явленія движенія,—изучаются въ астрономіи; эту науку Контъ и поставилъ первой въ своей классификаціи; соціологія, какъ наука о наименѣе общихъ и наиболѣе сложныхъ явленіяхъ, занимаетъ послѣднее мѣсто въ іерархіи наукъ; въ промежуткѣ между астрономіей и соціологіей Контъ поставилъ физику, химию и физиологію. Въ этой системѣ не нашла себѣ мѣста психологія, потому что основатель положительной философіи сливалъ эту науку съ физиологіей. Въ настоящее время никто, не исключая и сторонниковъ экспериментальной психологіи, не отрицаетъ права науки о духѣ на самостоятельное положеніе. Это право нашло себѣ блестящаго защитника въ лицѣ Джона-Стюарта Милля, который и внесъ въ классификацію Конта единственную поправку, въ какой она нуждалась: между физиологіей и соціологіей поставилъ психологію. Изложенная классификація наукъ занимаетъ центральное мѣсто въ философской системѣ позитивизма, Контъ дѣлаетъ изъ нея цѣлый рядъ важныхъ выводовъ, изъ которыхъ для насъ важнѣе всего теперь одинъ: согласно принципу, на которомъ построена классификація, явленія, изучаемыя каждой наукой, слагаются изъ совокупнаго дѣйствія явленій, разсматриваемыхъ всѣми науками, предшествующими ей іерархически, при чемъ наибольшій матеріалъ для разъясненія возникающихъ вопросовъ даютъ выводы *ближайшей* высшей науки. Такимъ образомъ, соціологическія явленія должны объясняться суммой всѣхъ другихъ фактовъ, подлежащихъ научному изслѣдованію, но главнымъ образомъ тутъ имѣютъ значеніе явленія психологическія, такъ какъ психологія—наука, занимающая ближайшее высшее мѣсто въ классификаціи. На эти соображенія и опираются Лакомбъ и Уордъ, когда говорятъ объ исключительной важности психологическаго элемента въ исторіи.

Перечисленные выше изслѣдователи и нѣкоторые другіе, о которыхъ рѣчь будетъ ниже, пытаются построить психологію ис-

торического процесса, при чемъ можно различить два главныхъ типа такихъ построений: одни остаются на чисто-отвлеченной точкѣ зрѣнія, въ основу своей теоріи полагаютъ идею «человѣка вообще», абстрактнаго, типическаго человѣка, другіе, не отрицая вліянія общечеловѣческихъ духовныхъ свойствъ на процессъ развитія общественныхъ явленій, выдвигаютъ на первый планъ психическія различія между людьми. Необходимо познакомиться ближе и обстоятельнѣе съ взглядами важнѣйшихъ представителей того и другого направленія.

При построении отвлеченной, общечеловѣческой психологіи историческаго процесса, основной подлежащій изученію вопросъ заключается въ томъ, въ какихъ именно психическихъ силахъ надо искать двигателей явленій общезитія? Характерно, что рѣдко такимъ двигателемъ считаютъ непосредственно волю: такъ Лебонъ («Психологическіе законы и эволюція народовъ»), повидимому, считаетъ главной чертой народнаго духа, опредѣляющей, по его теоріи, національныя учрежденія и нравы, — народную волю, степень энергіи извѣстной націи: чѣмъ выше народъ, тѣмъ онъ энергичнѣе, выдержаннѣе. Нетрудно однако замѣтить, что анализъ Лебона слишкомъ элементаренъ: энергія, воля, даже отдѣльное дѣйствіе есть послѣднее звено въ цѣпи психологическихъ причинъ и слѣдствій, такъ что всякое психологическое изслѣдованіе должно идти дальше и глубже, къ элементамъ дѣйствія, къ источникамъ, отъ которыхъ зависятъ волевые акты. Это же замѣчаніе приходится сдѣлать и по поводу теоріи Гиддингса, который также волевымъ процессамъ приписываетъ первостепенную общественную важность; психологическія основы общества, съ точки зрѣнія Гиддингса, — пониманіе, симпатія и интересъ, являющіеся результатомъ «сознанія рода», т.-е. признанія другихъ существъ принадлежащими къ одному съ нами роду; съ развитіемъ сознанія рода, общественная дѣятельность, вначалѣ безсвязная, становится связнѣе и обдуманнѣе. И у Лебона и у Гиддингса психологическій элементъ въ исторіи понимается вообще довольно узко и односторонне: въ смыслѣ *сознательнаго волевого* акта. Односторонность и ошибочность такой точки зрѣнія хорошо понята нѣсколькими талантливыми изслѣдователями, какъ Фуллеръ, Киддъ, Уордъ, Гардъ. Первымъ очень хорошо выяснена та вѣрная мысль, что всякая идея, разъ она сдѣлается достояніемъ человѣческаго ума, есть непремѣнно сила; идея всегда едина съ дѣйствіемъ и неотдѣлима отъ него; въ самомъ дѣлѣ: сущность мыслительнаго акта заключается *въ различіи*, въ томъ, что мы разбираемся въ полученныхъ впечат-

тлѣніяхъ, отличаемо одни изъ нихъ отъ другихъ и различаемо ихъ элементы; различіе ведетъ къ ощущенію пріятнаго или непріятнаго; а отсюда возникаетъ и дѣйствіе, которое бываетъ двухъ родовъ—положительное, «акція», и отрицательное «реакція», смотря по природѣ возбуждаемаго различіемъ ощущенія: если ощущеніе было пріятно, мы стараемо его продлить, т.-е. дѣйствуемо въ положительномъ смыслѣ; въ противномъ случаѣ, т.-е. при непріятномъ ощущеніи, мы стремимся къ противодѣйствію, реагируемо (см. А. Фулье «Психологія идей-силъ»). Понятно, что при такой постановкѣ вопроса изученіе запаса и распространенія идей въ обществѣ пріобрѣтаетъ особенный интересъ. Другіе названные изслѣдователи занимаемо выясненіемъ общественнаго вліянія чувствъ, эмоцій. Слабѣ всего работа Кидда «Соціальная эволюція». По его мнѣнію, общественная эволюція зависитъ вовсе не отъ развитія ума, а отъ развитія альтруистическихъ чувствъ, постепенно уничтожающихъ соціальныя, расовыя и инныя перегородки и проводящихъ начало всеобщаго равенства; альтруистическія чувства—думаетъ Киддъ—не оправдываются разумомъ, который будто бы внушаетъ человѣку только чувства эгоистическія; единственнымъ основаніемъ альтруизма является, по Кидду, религія. Все это построеніе имѣетъ очень существенныя недостатки: несправедливо отрицается общественное вліяніе дѣятельности ума и слишкомъ односторонне понимается то направленіе, какое придается эмоціо-нальной жизни интеллектомъ; слишкомъ узко обоснованъ и альтруизмъ—на однихъ только религіозныхъ воззрѣніяхъ; наконецъ вліяніе чувствъ на общественную эволюцію проявляется, вопреки Кидду, далеко не въ однихъ моральныхъ чувствахъ, но также и черезъ посредство эмоцій другихъ порядковъ. Немногомъ дальше Кидда пошелъ Уордъ. Онъ различаетъ, правда, два психическихъ фактора цивилизаціи: субъективный—чувство и объективный—разумъ или интуитивную способность, но разумъ онъ считаетъ только направляющей, а не двигающей силой и, ожидая отъ него въ будущемъ большаго вліянія, все-таки истинной соціальной силой признаетъ только чувство. Уорду, очевидно, чуждо въ высшей степени плодотворное понятіе идей-силъ, съ какимъ мы встрѣтились у Фулье. Гораздо замѣчательнѣе книгъ Кидда и Уорда работы Тарда «Законы подражанія» и «Соціальная логика». По теоріи этого изслѣдователя, общество есть подражаніе, при чемъ психологическая сущность подражанія близка къ сомнамбулизму: какъ и люди, подвергшіеся гипнотическому внушенію, мы всѣ имѣемо внушенныя идеи, только считая ихъ само-

стоятельными; въ связи съ этимъ объясняются и соціальныя перемѣны или «инноваци», являющіяся на первый взглядъ плодомъ личной инициативы; всякая инновация есть въ сущности не что иное, какъ встрѣча и взаимодействіе двухъ подражаній, существовавшихъ раньше раздѣльно; общественный прогрессъ является слѣдствіемъ двухъ основныхъ причинъ: первая изъ нихъ та, что всѣ хорошія свойства заразительнѣе дурныхъ, вторая можетъ быть формулирована слѣдующимъ образомъ: хотѣніе, подкрѣпляемое чувствомъ и убѣжденностью, изъ всѣхъ психическихъ состояній обладаетъ наибольшею заразительностью. Общественный строй въ значительной степени основывается на системахъ или аккордахъ чувствъ; чѣмъ устойчивѣе эти системы, тѣмъ прочнѣе и строй общества; такъ какъ системы симпатическихъ чувствъ отличаются большею связностью, нежели системы чувствъ антипатіи, то и общество, въ основу котораго положены аккорды симпатическихъ эмоцій, достигаетъ значительной устойчивости. Эта теорія Тарда важна во многихъ отношеніяхъ: помимо того, что въ ней указано надлежащее и вѣрное мѣсто соціальной роли чувствъ, здѣсь также правильно отмѣчены и различія между разными чувствами въ степени ихъ связности и заразительности; наконецъ, подобно тому, какъ Фуллье указалъ на органическую, необходимую связь между сознательными духовными процессами и дѣйствіемъ, Тардъ чрезвычайно удачно подчеркнул влияние безсознательнаго подражанія на явленія общественной жизни. Въ сущности для того, чтобы составить себѣ ясное понятіе о приобрѣтеніяхъ, достигнутыхъ теоріей отвлеченнаго психологическаго обоснованія историческаго процесса, достаточно прочесть только книги Фуллье и Тарда; все остальное имѣетъ второстепенное значеніе и мало оправдываетъ возбуждаемыя надежды и ожиданія. Изъ представленнаго сейчасъ краткаго обзора видно, что точка зрѣнія отвлеченной психологіи, имѣющей въ виду только «человѣка вообще», не можетъ удовлетворительно разрѣшить задачу психологическаго объясненія общественной жизни. Цѣнность абстрактно-психологическихъ объясненій совершенно соответствуетъ соціологической цѣнности всякаго *общаго* психологическаго изслѣдованія: въ обоихъ случаяхъ — и въ общемъ изслѣдованіи и при абстрактно-психологическомъ объясненіи — намѣчаются только тѣ направленія, въ какихъ нужно искать психическихъ факторовъ цивилизаціи. Сумма и сочетанія идей и чувствъ — вотъ эти направленія, какъ убѣдительно свидѣлствуютъ труды Тарда и Фуллье.

Совершенно понятно, такимъ образомъ, что не всѣ удовле-

творяются отвлеченной постановкой вопроса, — у нѣкоторыхъ замѣтно стремленіе прибѣгнуть къ болѣе точному и, такъ сказать, конкретному психологическому анализу общественныхъ явленій, только замѣчательно, что попытки въ этомъ направленіи какъ будто чуждаются результатовъ отвлеченнаго анализа и не всегда стоятъ близко къ выводамъ современной психологіи, вслѣдствіе чего неизбѣжны ошибки и, главное, произволь въ приѣмахъ работы и выводахъ изъ нея. Мы уже видѣли, что Гумпловичъ и марксисты настаиваютъ на изученіи психологіи не «человѣка вообще» и не отдѣльной человѣческой личности, а социальной группы. Лакомбъ сначала пытается объяснить исторію изъ самыхъ общихъ, свойственныхъ «человѣку вообще» психическихъ мотивовъ, которыхъ и насчитываетъ до шести: мотивъ экономическій, затѣмъ половой, симпатическій, мотивъ чести, художественный и, наконецъ, научный; каждому изъ этихъ мотивовъ соответствуетъ, по мнѣнію Лакомба, особый родъ учрежденій, такъ что можно различить шесть родовъ учрежденій: экономическія, семейственныя, нравственныя и юридическія, свѣтскія, политическія, художественныя и литературныя, научныя. Но на ряду съ «человѣкомъ вообще» Лакомбъ уже считаетъ необходимымъ изученіе человѣка извѣстнаго времени или человѣка историческаго (*homme temporaire ou historique*): въ немъ надо изучать извѣстную степень его цивилизаціи, т.-е. богатства, нравственности и умственнаго развитія, и особенности его учрежденій. Но, говоря вообще, книга Лакомба мало удовлетворяетъ читателя: его соображенія объ общихъ психическихъ мотивахъ — не имѣющій никакого значенія трюизмъ, наглядно показывающій неудовлетворительность отвлеченной точки зрѣнія при изученіи психологическаго элемента въ исторіи; все прочее — не изслѣдованіе и даже не программа будущихъ изслѣдованій, а только намекъ на путь, по которому они пойдутъ.

Мы должны теперь остановиться на самомъ блестящемъ и талантливомъ представителѣ психологическаго объясненія исторіи, — Тэнѣ. О немъ такъ много писано и говорено, что, несомнѣнно, всѣмъ болѣе или менѣе извѣстны приемы и результаты его работы. Въ русской литературѣ есть двѣ очень любопытныя статьи о Тэнѣ — диаметрально - противоположнаго направленія: одна принадлежитъ г. Герье («Ипполитъ Тэнъ въ исторіи якобинцевъ» въ «Вѣстникѣ Европы» за 1894 годъ; ср. его же «Демократическій цезаризмъ во Франціи» въ томъ же журналѣ за 1895 г.) и отличается, можно сказать, панегирическимъ характеромъ, другая написана г. Ивановымъ («Тэнъ» въ «Рус-

скомъ Богатствѣ» за 1896 годъ) и представляет собою попытку совершенно развѣнчать Тэна. При наличности такихъ противоположныхъ взглядовъ нелишнимъ будетъ напомнить вкратцѣ о методѣ Тэна и возможно безпристрастнѣе рѣшить вопросъ, что внесено въ науку этимъ выдающимся изслѣдователемъ. Принимаясь за характеристику какого-либо лица или типа, Тэнь разлагаетъ прежде всего личность на отдѣльныя ея элементы, поступки и впечатлѣнія, и накопляетъ такихъ мелкихъ наблюдений возможно-большее количество; въ результатѣ этой подготовительной работы является, по выраженію Тэна, «нить событій» (*une file d'événements*), при чемъ и сложныя «событія» Тэнь старается разложить на простѣйшіе факты. Полученный, такимъ образомъ, рядъ фактовъ соединяется въ «естественныя группы», принципъ составленія которыхъ не ясенъ, точнѣе одинаго принципа у Тэна тутъ нѣтъ, и надо согласиться съ г. Ивановымъ, что здѣсь у Тэна дѣло сводится къ дедукціи изъ заранѣе принятой мысли, такъ что это несомнѣнно самый слабый пунктъ всей методологической теоріи историка-психолога: нельзя вводить въ методическіе приемы элементъ случайности и произвола. Въ естественной группѣ фактовъ Тэнь подмѣчаетъ затѣмъ господствующій фактъ, который и принимаетъ за ихъ причину. Путемъ послѣдовательнаго обобщенія выводовъ, полученныхъ, такимъ образомъ, для ряда естественныхъ группъ фактовъ, изслѣдователь формулируетъ творческій законъ цѣлаго, опредѣляетъ господствующую въ данной личности или данномъ типѣ способность (*faculté-maitresse*). На этой господствующей способности и строится характеристика лица или типа, а слѣдовательно и извѣстнаго историческаго момента, выразителемъ котораго является, по мнѣнію Тэна, тотъ или другой типъ. Но дѣло въ томъ, что и въ свое опредѣленіе господствующей способности Тэнь вноситъ также элементъ произвола: по справедливому замѣчанію г. Иванова, «ораторскій талантъ», напримѣръ, опредѣляется самимъ Тэномъ иначе по поводу Ливія, чѣмъ по поводу Кузена или Маколея.

Итакъ, повидимому, изъ двухъ русскихъ критиковъ знаменитаго французскаго ученаго ближе къ истинѣ стоитъ г. Ивановъ: методъ Тэна, при всей видимой стройности и положительности, имѣетъ нѣкоторыя особенности, лишающія его научнаго значенія. Казалось бы, на этомъ и надо кончить: если средства такъ ненадежны,—и результаты не могутъ оправдать ожиданій. Но здѣсь мы встрѣчаемся съ однимъ чрезвычайно любопытнымъ явленіемъ: даже убѣдившись въ ненаучности метода, читатель,

знакомясь съ блестящими характеристиками Тэна въ его «Ливіи», «Чтеніяхъ объ искусствѣ», «Исторіи англійской литературы», «Происхожденіи современной Франціи», невольно поддается ихъ обаянію; тому, кто читалъ характеристики древнихъ грековъ, Ливіа, Маколея, Наполеона, пуританъ, якобинцевъ, — ясно, что въ нихъ есть элементы истины, заставляющіе насъ предчувствовать, провидѣть ее, если не познать вполне. Революціонный духъ XVIII вѣка Тэнъ, на примѣръ, характеризуетъ какъ соединеніе научнаго духа съ «классическимъ», т.-е. какъ комбинацію взгляда на человѣка и человѣческое общество съ точки зрѣнія чисто-научной—общество и человѣкъ—продукты природы—съ привычкой «отвлеченнаго резонирования», абсолютнаго разрѣшенія всѣхъ научныхъ и практическихъ вопросовъ безъ всякаго вниманія къ конкретнымъ условіямъ дѣйствительности, къ традиціямъ. Отъ этого объясненія одинъ только шагъ до психологическаго опредѣленія якобинизма: отвлеченное резонерство было тѣмъ сильнѣе развито у якобинцевъ, что ихъ умъ мало воспринималъ умственной пищи вслѣдствіе деспотическихъ условій стараго порядка во Франціи, старавшагося побороть всякую умственную и политическую самостоятельность: идея, попавшая въ пустую голову, естественно принимаетъ уродливыя размѣры, заполняетъ эту голову цѣликомъ, не встрѣчая себѣ противобѣса въ ранѣе приобрѣтенномъ идейномъ запасѣ. Нельзя сказать, чтобы въ основѣ этой характеристики и другихъ, ей подобныхъ, не лежала обширная эрудиція, глубокое, специальное изученіе, но изображеніе все таки остается лишь художественнымъ: рисуются яркія картины, заставляющія предчувствовать истину. Поэтому хотя критика Тэновскаго метода у г. Иванова во многомъ вѣрна, — онъ все таки не правъ въ томъ, что не признаетъ Тэна художникомъ; художественныя достоинства сочиненій Тэна именно и придаютъ имъ ту цѣнность, которая отмѣчена г. Герье, только напрасно послѣдній считаетъ методъ Тэна строго-научнымъ.

Тэнъ не одинокъ въ своихъ попыткахъ объясненія историческаго процесса путемъ характеристики психическихъ типовъ. Время отъ времени — иногда и подъ прямымъ его влияніемъ — появляются историческія работы подобнаго же направленія: для примѣра укажемъ на вышедшую въ прошломъ году въ Парижѣ книгу Валишевскаго о Петрѣ Великомъ, на извѣстный трудъ Шахова «Пете и его время» и блестящій очеркъ г. Ключевскаго «Евгеній Онѣгинъ и его предки» («Русская Мысль» за 1886 г.). Всѣ эти сочиненія оставляютъ также рядъ яркихъ впечатлѣній,

картинъ, образовъ: въ основѣ ихъ лежитъ научное изученіе, но результатъ его—художественная картина.

Очевидно, что это несоотвѣтствіе результатовъ поставленнымъ задачамъ простирается именно изъ несовершенства метода: въ немъ и надо сдѣлать извѣстныя поправки.

И психологическая школа въ социологіи, и марксизмъ даютъ намъ основанія для такихъ поправокъ. Марксизмъ учитъ, что психологія извѣстной общественной группы опредѣляется ея классовымъ положеніемъ, и приложеніе этого принципа къ изученію конкретной дѣйствительности давало и даетъ до сихъ поръ блестящіе результаты. Но для полноты пониманія дѣла не надо забывать, что внутри этихъ классовыхъ группъ происходитъ мало-по-малу психическая дифференціація (подъ вліяніемъ реальныхъ, въ конечномъ счетѣ всегда хозяйственныхъ) условий, и для изученія этой дифференціаціи необходимо пользоваться психологическимъ методомъ. Въ результатѣ ея получается психическое перерожденіе класса съ переходомъ его въ другую историческую эпоху: содержаніе классовой психологіи мѣняется съ переходомъ въ новый періодъ, къ новымъ условіямъ реальной жизни. Если раньше люди руководились, напр., грубыми инстинктами стяжанія и страха, то потомъ ихъ потомки по классовому положенію начинаютъ дѣйствовать подъ вліяніемъ властолюбія и жажды неизвѣданныхъ впечатлѣній. Классовая психологія является, такимъ образомъ, также эволюціоннымъ понятіемъ.

Предлагаемые ниже очерки психологіи характера не рѣшаютъ указанной сейчасъ проблемы во всей полнотѣ: это будетъ сдѣлано авторомъ въ особомъ большомъ историко-соціологическомъ трудѣ ¹⁾. Цѣль очерковъ психологіи характера—намѣтить основные приемы изслѣдованія социальной психологіи и установить основные психологическіе типы, образующіеся постепенно внутри классовыхъ группъ.

¹⁾ См. начавшій уже выходить въ свѣтъ „Обзоръ русской исторіи съ социологической точки зрѣнія“.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

Этические и эстетические характеры.

I.

Джонъ Стюартъ Милль въ своей «Системѣ логики» впервые ясно и опредѣленно выставилъ въ качествѣ очередной задачи психологической науки разработку этологіи или ученія о характерѣ. И въ самомъ дѣлѣ: общая, абстрактная психологія имѣетъ дѣло съ *человѣкомъ вообще*, съ отвлеченной человѣческой личностью, воплощающей въ себѣ духовныя свойства, въ одинаковой мѣрѣ присущія всѣмъ людямъ. Между тѣмъ всѣ мы въ практической жизни непрерывно убѣждаемся въ удивительномъ разнообразіи духовнаго склада отдѣльныхъ лицъ, съ которыми встрѣчаемся. Безъ преувеличенія можно сказать, что нѣтъ двухъ человѣкъ, психическая природа которыхъ была бы совершенно одинакова, хотя бы то были даже и близкіе родственники, выросшіе и воспитанные притомъ въ одной и той же средѣ. При всей многочисленности и сложности индивидуальныхъ психическихъ отличій, едва ли можетъ существовать однако сомнѣніе въ возможности подмѣтить въ этихъ отличіяхъ пункты сходства, свести индивидуальное многообразіе къ нѣсколькимъ болѣе крупнымъ категориямъ, разгруппировать отдѣльныя лица по ихъ типическимъ признакамъ, другими словами, отвлекая общія духовныя свойства, отличающія извѣстную группу людей, объединить эту группу въ одно цѣлое, въ типъ или характеръ. Въ этомъ и заключается основная задача этологіи. Этологія служитъ такимъ образомъ соединительнымъ звеномъ между психологіей и конкретной дѣйствительностью. Отношеніе этологіи къ психологіи приблизительно таково же, каково отношеніе исторіи къ социологіи: и исторія и этологія даютъ эмпирическія обобщенія явленій дѣйствительной жизни, а социологія и психологія дѣлаютъ уже абстрактные, рациональные выводы, опираясь на конкретный матеріалъ, обработанный исторіей и этологіей. Отсюда ясно, что, подобно тому, какъ социологія не можетъ обойтись безъ исторіи, — и психологія невозможна безъ надлежащей разработки этологіи. Несомнѣнно также, что правильное разрѣшеніе основныхъ этологическихъ проблемъ способно принести громадную пользу общественнымъ наукамъ, т. е. тѣмъ же исторіи и социологіи. Въ самомъ дѣлѣ: представимъ себѣ, что намъ уда-

лось выработать классификацію психическихъ типовъ или характеровъ; руководясь ею, мы могли бы, пользуясь историческими данными, установить для каждаго народа въ каждый періодъ его исторической жизни извѣстное соотношеніе различныхъ типовъ или характеровъ, въ то время существовавшихъ; быть можетъ, намъ удалось бы тогда изобразить эволюцію типовъ, установить ея законы, подобно тому, какъ современная наука до извѣстной степени опредѣлила законы эволюціи хозяйственныхъ формъ, словныхъ связей, политическихъ отношеній. Нетрудно представить себѣ, какіе громадныя научныя результаты дала бы такая ученая работа: не говоря о многомъ другомъ, достаточно замѣтить, что послѣ нея получилъ бы правильное освѣщеніе коренной соціологической вопросъ—о взаимныхъ отношеніяхъ и значеніи отдѣльныхъ факторовъ общественной жизни.

Совершенно понятно поэтому, что призывъ Милля къ построенію этиологии не остался безъ отклика. Не имѣя даже въ виду полнаго перечня существующихъ въ настоящее время этиологическихъ трудовъ, можно все-таки указать на цѣлый рядъ изслѣдователей, занимавшихся и занимающихся психологіей характера: таковы, на примѣръ, Бэнъ, Пере, Полянъ, Рибо, Фуллеръ, Кейра или даже у насъ гг. Лесгафтъ, Дриль, Викторовъ. Въ ихъ работахъ, какъ и въ трудахъ другихъ ученыхъ, можно найти много блестящихъ мыслей, тонкихъ психологическихъ замѣчаній, даже интересныхъ попытокъ охватить вопросъ въ цѣломъ и теперь же окончательно разрѣшить его. Всякій, кто знакомъ съ этой во всякомъ случаѣ поучительной литературой, долженъ, однако, признать, что попытки общаго рѣшенія вопроса такъ и остаются пока попытками да и, какъ это съ перваго взгляда очевидно, надолго еще обречены на неудачу. Безъ кропотливыхъ наблюдений и даже опытовъ въ умножающихся въ настоящее время психологическихъ лабораторіяхъ невозможны общіе выводы, сколько-нибудь обоснованные, а не висящіе въ воздухѣ. Большинство изслѣдователей, работая въ области этиологии, отправляется въ своихъ разсужденіяхъ отъ какого-либо одного заранее выбраннаго психологическаго принципа и съ этой довольно произвольной точки зрѣнія классифицируетъ характеры. Такъ, на примѣръ, Бэнъ, Фуллеръ и Кейра берутъ за основу извѣстное дѣленіе психическихъ явленій на умъ, чувство и волю и различаютъ три основныхъ типа—умственный, эмоціональный и волевой; Полянъ исходитъ въ своихъ построеніяхъ изъ явленій умственной жизни, изъ законовъ ассоціаціи; у Рибо первую роль играетъ чувствованіе, и т. д. Но, кажется, правильнѣе было бы отказаться отъ такихъ предвзятыхъ точекъ зрѣнія и поискать

руководящихъ—при классификаціи характеровъ—нитей въ самой дѣйствительности, не стараясь при этомъ сразу охватить весь вопросъ и дать на него исчерпывающій отвѣтъ, избравъ монографическій способъ изслѣдованія. Слабую попытку подойти къ вопросу именно съ этой стороны—детальнаго изученія дѣйствительности—и представляетъ собою настоящая статья.

Но вѣдь дѣйствительность безконечно разнообразна и необъятна; притомъ кругъ наблюденій отдѣльнаго лица случаенъ и ограниченъ; наконецъ,—и это главное—вѣрность наблюденій ничѣмъ не гарантирована и недоступна повѣркѣ. Какъ же быть? Намъ кажется, что есть прекрасное средство избѣжать всѣхъ этихъ неудобствъ и затрудненій. Есть люди, которые много наблюдаютъ и наблюдаютъ, по общему признанію, точно и вѣрно; обладая способностью отмѣтить характерное и важное въ данномъ обществѣ: эти люди—великіе художники слова, романисты. Наблюденія талантливаго романиста всегда будутъ служить надежной опорой для этологическихъ выводовъ. Ихъ мы и примемъ за основаніе нашей работы, при чемъ предупредимъ читателя, что предлагаемый опытъ изслѣдованія этическихъ и эстетическихъ характеровъ вовсе не исключаетъ существованія множества другихъ психическихъ типовъ, что этическіе и эстетическіе характеры—не единственныя категоріи, къ которымъ должно быть сведено все сложное многообразіе индивидуальныхъ характеровъ. Несомнѣнно, однако, что обѣ указанныя категоріи очень важны, что въ общественной и частной жизни нерѣдко приходится имѣть дѣло съ людьми, для которыхъ вопросъ долга, совѣсти, идеала имѣетъ совершенно исключительное, первостепенное, даже подавляющее значеніе, и съ другой стороны встрѣчаются люди, всецѣло преданные красотѣ, не по убѣжденію, а по внутреннему, присущему имъ отъ рожденія влеченію. Достаточно назвать графа Л. Н. Толстого, съ одной стороны, и Джона Рескина—съ другой, чтобы уничтожить всякое сомнѣніе въ реальности этическихъ и эстетическихъ характеровъ.

Чтобы закончить предварительныя замѣчанія, остается только добавить, что основная задача этологической классификаціи и описанія того или другого характера заключается не только въ томъ, чтобы подмѣтить главную характеристическую черту типа, но и въ томъ также, чтобы изъ этой главной черты вывести, объяснить всѣ остальные. Эту послѣднюю цѣль мало и рѣдко, во всякомъ случаѣ недостаточно часто принимаютъ во вниманіе при этологическихъ изслѣдованіяхъ.

II.

Читатель, конечно, не удивится, если первым образцом этического характера мы выберем бессмертного героя Сервантеса,—донъ-Кихота. Достаточно назвать это имя, чтобы каждый согласился, что основная черта героя, его носившаго,—это *чувство долга*, нравственной обязанности, то самое чувство, которое, несмотря на весь комизм Рыцаря Печального Образа, дѣлаетъ его личность столь трогательной и привлекательной. Въдъ вся жизнь донъ-Кихота была хотя и безтолковымъ, непрактичнымъ, смѣшнымъ, но чистымъ по источнику и постояннымъ нравственнымъ подвигомъ. Всѣ его приключенія и тревоги вытекали изъ живой, присущей его натурѣ потребности исполнить то, что онъ считалъ своимъ долгомъ, изъ потребности дѣятельнаго добра, неукротимой и всеподчиняющей. Будучи носителемъ нравственнаго идеала и дѣятельно осуществляя его по мѣрѣ силъ и способностей, донъ-Кихотъ именно по этой причинѣ отличался сильно развитыми этическими чувствами разныхъ порядковъ. Посмотрите, напримѣръ, какой нравственный, цѣломудренный характеръ носитъ его любовь къ женщинѣ; ошибочно было бы считать донъ-Кихота безстрастнымъ, холоднымъ человѣкомъ, чуждымъ страстей, но, несмотря на это, его колебанія въ минуту искушенія непродолжительны, ничто не можетъ заставить его измѣнить его дамѣ Дульцинеѣ. Его любовь связана неразрывными узами съ его нравственнымъ идеаломъ, освящаетъ его и имъ освящается: во имя Дульцинеи онъ чувствуетъ себя обязаннымъ совершать свои подвиги, а вѣрность и преданность Дульцинеѣ непосредственно вытекаетъ изъ необходимости приближаться къ идеалу съ чистыми руками. Также тѣсно переплетается въ душѣ нашего рыцаря съ возвышеннымъ нравственнымъ идеаломъ и другое этическое чувство—дружба: донъ-Кихотъ—олицетворенная доброжелательность и дружелюбіе, горячо и искренно привязывается ко всѣмъ, съ кѣмъ сводитъ его судьба, болѣе всего къ своему неразлучному оруженосцу Санчо-Пансѣ, несмотря на то, что послѣдній—совершенный его нравственный антиподъ: онъ называетъ Пансу «другомъ», «братомъ», изливаетъ на него всѣ доступныя для него милости и благодѣянія, болѣетъ его несчастіями и живетъ его радостью. Но любящее сердце донъ-Кихота расширяется далеко за предѣлы того круга, который составляютъ люди къ нему близкіе, и доброжелательныя чувства его распространяются на всѣхъ людей, на всѣхъ униженныхъ и страдающихъ; и его состраданіе не носитъ пассивнаго характера, напротивъ—оно всегда

дѣлательно, какъ и любовь и дружба: достаточно вспомнить его помощь мальчику, котораго за его проступокъ билъ крестьянинъ, его готовность принести пользу Доротеѣ и т. д.

Такимъ же непосредственнымъ отраженіемъ нравственныхъ запросовъ, волнующихъ донъ-Кихота, являются его *общественныя* чувства. Въ область политическихъ отношеній и общественныхъ связей донъ-Кихоть вноситъ абсолютныя нравственныя начала, не считаясь съ дѣйствительностью и не задаваясь вопросомъ объ осуществимости своихъ цѣлей; онъ—чистый утопистъ, беспочвенный политическій мечтатель: нисколько не смущаясь и не сомнѣваясь, увѣряетъ онъ, что «самую сильную надобность міръ ощущаетъ въ странствующихъ рыцаряхъ», въ рыцарствѣ видитъ единственное, исключительное средство утвердить социальную справедливость, подобно всѣмъ утопистамъ не нахвалится первобытными временами, идеализируя ихъ, представляя ихъ себѣ періодомъ полного равенства, отсутствія собственности, періодомъ близости къ природѣ, справедливости. Идеализація далекаго прошлаго и увлеченіе отжившими общественными формами и средствами идутъ здѣсь такимъ образомъ рука объ руку съ крайнимъ отрицаніемъ современнаго героя социальнаго строя. Трудно характеризовать политическія чувства донъ-Кихота иначе, какъ назвавъ ихъ реакціоннымъ радикализмомъ.

Тотъ, кто въ своей жизни ставитъ на первый планъ осуществленіе нравственнаго идеала,—всегда рано или поздно почувствуетъ потребность въ *религіозной* санкціи. Онъ не будетъ углубляться въ метафизическую сторону религіи, въ догматику, но этическая ея сторона привлекаетъ и волнуетъ его, вѣра въ Бога, какъ Высшее Существо, которая блюдетъ міровой нравственный порядокъ, составляетъ для такого человѣка насущную потребность. И донъ-Кихоть съ глубокимъ спокойствіемъ, съ несокрушимой увѣренностью и съ искренней простотой глубокаго религіознаго чувства говоритъ Санчо-Пансѣ, что Богъ выручитъ изъ всякихъ несчастій.

Итакъ, наиболѣе сложныя чувства—этическія, общественныя и религіозныя—отличаются у донъ-Кихота сильнымъ развитіемъ, значительной напряженностью. Этого нельзя сказать о другихъ порядкахъ эмоціональной жизни—о чувствахъ *эгоистическихъ* и *эстетическихъ*. Сравнительная слабость эгоистическихъ и эстетическихъ чувствъ совершенно понятна при господствѣ чувствъ нравственныхъ: постоянно имѣя предъ своимъ умственнымъ взоромъ нравственный идеалъ, дѣлательно осуществляя его, заботясь о другихъ, этической человѣкъ забываетъ о себѣ и не замѣчаетъ красоты, заслоняемой отъ него присущимъ ему, всецѣло погло-

щающимъ его, понятіемъ добра. Матеріальныя блага и утонченныя физическія наслажденія не имѣютъ въ его глазахъ никакой цѣнности. Для донъ-Кихота деньги—ничто, онъ щедро по своимъ средствамъ одаряетъ Санчо-Пансу, со всякимъ готовъ подѣлиться своимъ достояніемъ. Едва ли найдется кто-либо непритязательнѣе донъ-Кихота: ужинъ его на постояломъ дворѣ во время перваго выѣзда состоялъ изъ сушеной рыбы и чернаго хлѣба; лукъ, сыръ и черныи хлѣбъ были обычной пищей рыцаря и его оруженосца; рыцари, по словамъ донъ-Кихота, «когда ѣдятъ, то довольствуются тѣмъ, что найдутъ подъ рукой». Страхъ во всѣхъ его видахъ былъ совершенно чуждъ донъ-Кихоту: напрасно мы стали бы искать у него какихъ-либо проявленій страха смерти, склонности предчувствовать несчастія, суевѣрнаго страха, наконецъ, простой трусости передъ опасностью или силой. Достаточно припомнить такіе факты, какъ его одиночная борьба съ погонщиками муловъ, дотронувшимися до его оружія, съ мельницами-великанами, съ 20-ю янгуэзцами, нападеніе на конвойныхъ, сопровождавшихъ каторжниковъ и т. д. и т. д.,—чтобы убѣдиться въ безразсудной храбрости рыцаря Печальнаго образа. Тѣсно связанную между собою группу представляютъ, по своей психологической природѣ, такія чувства, какъ склонность къ гнѣву, самоуваженіе и честолюбіе. Всѣ они сильнѣе развиты у донъ-Кихота, чѣмъ низшія эгоистическія чувства. Уже неукротимая вснѣмъливость и страстность его вызываютъ нѣкоторую напряженность высшихъ эгоистическихъ чувствъ. И въ самомъ дѣлѣ: гнѣвъ донъ-Кихота нетрудно возбудить: онъ разсердился на женинѣ, смѣявшихся надъ нимъ въ началѣ его перваго путешествія, побилъ Пансу за порицаніе имъ Дульциней, разгнѣвался на лиценціата, когда тотъ сталъ порицать его за освобожденіе каторжниковъ. Но уже въ этихъ случаяхъ, какъ и въ другихъ, имъ подобныхъ, замѣтенъ особый отбѣнокъ въ его чувствѣ гнѣва: въ немъ преобладаетъ не эгоистическій, а этический элементъ, это не столько личное раздраженіе, сколько справедливое негодованіе по поводу униженія нравственнаго идеала, недостойной насмѣшки надъ послѣднимъ и его проявленіями. На эту же этическую основу опирается и самоуваженіе донъ-Кихота: онъ считаетъ себя могучимъ именно потому, что онъ носитель нравственнаго идеала; поэтому онъ увѣренъ, что всегда найдетъ и накажетъ крестьянина, который билъ мальчика, и что тотъ его боится. Воображаемый блескъ своей личности донъ-Кихотъ переноситъ и на своего оруженосца: на ужинѣ у пастуховъ онъ усаживаетъ его съ собою; и когда тотъ все-таки отказывается, сентенціозно замѣчаетъ: «Богъ возноситъ смиряющаго». Нако-

нець, слабость эстетическихъ чувствъ донъ-Кихота видна какъ изъ того, что нигдѣ не видно у него стремленія получить какое-либо художественное впечатлѣніе, такъ и изъ того, что онъ увлекался въ области изящной литературы единственно рыцарскими романами: очевидно, и здѣсь интересъ, руководившій героемъ Сервантеса, опирался не на чувство красоты, а на этическое чувство, его занимала не художественная сторона этихъ романовъ, вообще ничтожная, а ихъ содержаніе, отвѣчавшее стремленію донъ-Кихота къ рыцарскимъ подвигамъ. Тенденціозность — вотъ что цѣнили донъ-Кихотъ въ поэзіи.

Въ совершенной гармоніи съ господствующимъ чувствомъ находились у донъ-Кихота и умственные свойства. Основнымъ свойствомъ ума является то, что Вундтъ называетъ «активной апперцепціей», общее направленіе ума, степень его широты и воспримчивости къ тѣмъ или инымъ идеямъ. Вообще говоря, можно раздѣлить всѣ умы въ этомъ отношеніи на два разряда: умы субъективные и умы объективные. Первые вращаются въ узкой сферѣ идей, свойственныхъ мыслящему субъекту или лицамъ, психологически - родственнымъ ему; вторые отличаются способностью понимать какъ нельзя болѣе точно все сложное разнообразіе чужихъ, даже прямо противоположныхъ умственныхъ движеній и чувствъ. И тѣ и другіе умы, не смотря на различіе въ широтѣ, могутъ быть и глубокими, и, наоборотъ, мелкими, ограниченными, но это — уже количественное, а не качественное различіе, имѣющее значеніе въ характеристикѣ личности, а не въ изображеніи типа. Умъ донъ-Кихота былъ чисто-субъективный; внѣ обычнаго круга идей донъ-Кихотъ впадалъ постоянно въ грубыя ошибки и недоразумѣнія, онъ не понималъ умовъ другого склада. Этотъ субъективизмъ естественно вытекаетъ изъ господства стремленія къ нравственному идеалу надъ всеми другими сторонами душевной природы донъ-Кихота: всѣ умственные силы его были поглощены этическими запросами опредѣленнаго характера, подавлялись ими. Но будучи генетически связанъ съ основнымъ психическимъ свойствомъ донъ-Кихота, его умственный субъективизмъ въ свою очередь неизбежно опредѣлялъ собою и всѣ остальные особенности ума. «Я болѣе склоненъ носить оружіе, чѣмъ заниматься науками», говоритъ донъ-Кихотъ, и это равнодушіе къ теоретическому знанію находитъ себѣ соотвѣтствіе въ полной философской индифферентности рыцаря Печальнаго Образа. Его умъ занятъ исключительно практическими нравственными задачами; тенденціозная наука, практическое знаніе, служащее его нравственному идеалу, еще могли бы заинтересовать его, но отвлеченная научная или философская теорія — ни въ какомъ случаѣ.

Чтобы заключить краткую характеристику типа донь-Кихота, остается указать лишь на его *волю*, констатировать фактъ необыкновенной, крайней рѣшительности его дѣйствій, полного отсутствія разлада, конфликта между чувствомъ и умомъ; парализъ воли—явленіе невозможное для донь-Кихота, что опять таки объясняется цѣльностью его характера, подавляющей силой нравственнаго чувства. Едва ли нужно доказывать фактами эту рѣшительность донь-Кихота: для этого пришлось бы переписать всѣ два тома, описывающіе его жизнь. Къ тому же въ русской литературѣ есть превосходная статья, трагующая какъ разъ объ этой сторонѣ характера рыцаря Печальнаго Образа: мы разумѣемъ блестящій очеркъ Тургенева «Гамлетъ и донь-Кихотъ».

III.

Всякому хорошо извѣстно, что художественное произведеніе отличается отъ научнаго труда тѣмъ, что цѣль перваго конкретное изображеніе дѣйствительности, тогда какъ задача втораго—абстракція, выводъ общихъ отвлеченныхъ идей, воплощенныхъ въ реальной жизни. Для ученаго всѣмъ является идея, для художника—образъ. Первый обезличиваетъ дѣйствительность, объясняетъ ее, сводя частности на общее, второй, напротивъ, индивидуализируетъ ее и, хотя и изображаетъ общее, но именно при посредствѣ частныхъ. Вотъ почему художественные типы—не ходячія общія идеи, а изображенія живыхъ личностей, съ ихъ индивидуальными особенностями, съ ихъ плотью и кровью. Такимъ образомъ, подвергая художественные типы научному анализу, мы должны быть особенно осторожными въ томъ отношеніи, чтобы не принять этихъ индивидуальныхъ особенностей за общіе типическіе признаки. Отсюда вытекаетъ необходимость не ограничиваться изученіемъ *одного* художественнаго типа опредѣленной категоріи, а взять *нѣсколько* однородныхъ изображеній.

Во всемірной литературѣ нѣтъ недостатка въ превосходныхъ художественныхъ изображеніяхъ этическихъ характеровъ. Особенно много ихъ въ нашей родной литературѣ. Прежде всего, не задумываясь и не колеблясь, можно поставить наряду съ образомъ донь-Кихота и по психологической природѣ, и по художественной высотѣ работы типъ Константина Левина изъ романа гр. Л. Н. Толстого «Анна Каренина»; затѣмъ сюда же слѣдуетъ отнести Алексѣя Карамазова изъ извѣстнаго романа Достоевскаго и, наконецъ, въ значительной, во всякомъ случаѣ,

мѣръ героя Тургеневскихъ «Отцовъ и дѣтей», — Базарова. По-пытаемся изобразить общія черты всѣхъ этихъ характеровъ. Никто не удивится, конечно, что мы ставимъ на одну доску Левина и Алешу Карамазова и обоихъ признаемъ этическими типами. Въ самомъ дѣлѣ: вѣдь первостепенное значеніе нравственнаго идеала для Левина не подлежитъ сомнѣнію. Всегда и вездѣ нравственные запросы и интересы первенствовали у него надъ всѣми другими: обѣдая въ ресторанѣ съ Облонскимъ, Левинъ «боялся запачкать то, что переполняло его душу»; «онъ всегда чувствовалъ несправедливость своего избытка въ сравненіи съ бѣдностью народа», постоянно мечталъ о «трудоу, чистой и общей, прелестной жизни», ему всегда было свойственно «не-оставляющее его желаніе быть лучше». А Алеша Карамазовъ? Въ чемъ заключалось его основное свойство, своего рода Тэновская *faculté-maitresse* (господствующая способность)? «Былъ онъ просто ранній человѣколюбецъ, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что въ то время она одна поразила его и представила ему, такъ сказать, идеаль исхода рвавшейся изъ мрака людской злобы къ свѣту любви души его»; «онъ былъ юноша... честный по природѣ своей, требующій правды, ищущій ея и вѣрующій въ нее, а увѣровавъ, требующій немедленнаго участія въ ней всею силой души своей, требующій скорого подвига, съ непремѣннымъ желаніемъ хотя бы всѣмъ пожертвовать для этого подвига, даже жизнью». Но если никто не будетъ спорить съ нами, когда мы причислимъ Левина и Алексѣя Карамазова къ этическимъ характерамъ, то сопоставленіе съ ними Базарова можетъ вызвать у поверхностнаго наблюдателя протестъ или по крайней мѣрѣ сомнѣніе. Мы думаемъ однако, что различіе между Базаровымъ и названными типами чисто-индивидуальное, и что по существу своему Базаровъ не менѣе этическій человѣкъ, чѣмъ донъ-Кихоть, Левинъ или Карамазовъ. Что составляетъ смыслъ жизни для Базарова? Несомнѣнно, отрицаніе, — отрицаніе всѣхъ условностей, устарѣвшихъ, по его убѣжденію, узъ, обветшалыхъ понятій. Это своего рода нравственный идеаль, сводящійся къ торжеству простоты, искренности, здраваго смысла, разумности, — однимъ словомъ, это идеаль «мыслящаго реалиста»: не даромъ тотъ, кому принадлежитъ честь изобрѣтенія этого послѣдняго термина, — Писаревъ, — такъ восхищался героемъ Тургеневского романа. Въ честности Базарова, въ совершенной искренности его убѣжденій и во всегдашней готовности запечатлѣть эту искренность дѣйствіемъ, активнымъ осуществленіемъ своего своеобразнаго идеала, навѣрное, никто не будетъ сомнѣваться. А если все это

вѣрно, то какъ же не причислить Базарова къ этическимъ характерамъ?

Дальнѣйшій анализъ только оправдываетъ сопоставленіе его съ Левинымъ и Карамазовымъ. У всѣхъ троихъ этическія чувства являются наиболѣе развитой стороной ихъ психической природы. Всѣхъ ихъ объединяетъ прежде всего любовь къ дѣтямъ: какъ любилъ дѣтей Левинъ, и какой искренней привязанностью съ ихъ стороны онъ пользовался, — это лучше всего видно изъ его игръ въ деревнѣ съ дѣтьми Облонскихъ; отношенія Алеши Карамазова къ дѣтямъ дали возможность Достоевскому написать нѣсколько чрезвычайно трогательныхъ главъ; наконецъ, Базаровъ живо сошелся съ крестьянскими ребятами, водившими его ловить лягушекъ; Митя, маленький сынъ Николая Петровича Кирсанова, сразу, безъ всякой боязни пошелъ къ нему на руки: дѣти всегда чувствуютъ расположеніе къ тѣмъ, кто ихъ любитъ. Не менѣе важное значеніе въ жизни всѣхъ троихъ имѣло чувство искренней привязанности къ родителямъ. Для Левина воспоминаніе о рано потерянной матери «было священнымъ». Алексѣй Карамазовъ, оставшись послѣ матери 3-хъ лѣтъ, запомнилъ однако ее и искренно любилъ отца. Когда Аркадій Кирсановъ, познакомившись съ родителями Базарова, спросилъ послѣдняго: «ты ихъ любишь, Евгенийъ?» тотъ просто, но сильно отвѣчалъ: «люблю, Аркадій», а позднѣе, въ разговорѣ съ Одинцовой, замѣтилъ о своихъ отцѣ и матери: «такихъ людей, какъ они, въ вашемъ большомъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыскать». Чувство дружбы было въ одинаковой мѣрѣ свойственно и Левину, и Карамазову, и Базарову. У Левина было много людей, къ которымъ онъ былъ искренно расположенъ: извѣстна его дружба съ Щербацкимъ, Стивой Облонскимъ, Свяжскимъ и др. Относительно Алеши Карамазова достаточно напомнить о его глубокой привязанности къ старцу Зосимѣ. Базаровъ былъ не на словахъ только друженъ съ Аркадіемъ Кирсановымъ, и когда пріѣхалъ въ имѣніе его отца, то всѣ въ домѣ очень скоро привыкли и привязались къ нему. Чтобы закончить рѣчь объ этическихъ чувствахъ, остается сказать о главномъ изъ нихъ, — любви. Любовь, конечно, очень сложное и разнообразное, мѣняющееся сообразно натурѣ чело-вѣка, чувство, почему нельзя не признать характернымъ взаимную психологическую близость всѣхъ трехъ разбираемыхъ типовъ въ отношеніи любви. Начать съ того, что страстность—отличительная черта всѣхъ ихъ, что физиологическій элементъ любви у нихъ сильно развитъ. «Базаровъ былъ великій охотникъ до женщинъ и до женской красоты». Во время объясненія съ

Одинцовой «страсть въ немъ билась, сильная и тяжелая страсть, походящая на злобу и, быть можетъ, сродни ей». «Дикая, изступленная стыдливость и цѣломудренность» Алексѣя Карамазова — признакъ необыкновенно-страстной природы: не даромъ, выслушавъ разсказъ развратника, брата своего Дмитрія, онъ покраснѣлъ и сказалъ: «я то же самое, что и ты». Мечты о семейной жизни, неудержимые порывы къ ней у Левина имѣютъ своимъ источникомъ между прочимъ и напряженный физиологическій инстинктъ. Но его любовь — не голая чувственность, въ ней силенъ духовный, этический элементъ: «только одни на свѣтѣ были эти глаза, только одно на свѣтѣ существо, способное сосредоточить для него весь свѣтъ и смыслъ жизни». То же самое надо сказать и о Базаровѣ: не безъ причины обычное, презрительное выраженіе — «романтизмъ, чепуха» застыло у него на губахъ, когда онъ полюбилъ Одинцову; духовное богатство его чувства выразилось съ особенной силой во время послѣдняго, предсмертнаго свиданія съ ней. Въ жизни Алексѣя Карамазова, поскольку она изображена въ романѣ Достоевскаго, еще не наступилъ моментъ настоящаго увлеченія, оно наблюдается только въ зародышѣ, въ его отношеніяхъ къ Лизе, но едва ли кто-либо будетъ сомнѣваться, что въ его чувствѣ этическая, духовная сторона должна быть сильно развита.

Мы видѣли, какимъ утопистомъ былъ въ своихъ общественныхъ чувствахъ и политическихъ убѣжденіяхъ донъ-Кихоть, мечтавшій перестроить міръ при помощи странствующихъ рыцарей. Въ сущности, какъ было уже замѣчено, общественныя чувства донъ-Кихота отличались не социальнымъ, а этическимъ характеромъ. Безусловный этический характеръ общественныхъ чувствъ ведетъ въ сущности къ отсутствію политическихъ убѣжденій, къ невозможности иного отношенія къ существующему социальному строю, кромѣ отрицательнаго, къ утопіи, потому что этическія требованія въ чистомъ своемъ видѣ — абсолютны и не считаются съ обстоятельствами, не терпятъ поправокъ и ограниченій. Вотъ почему у Алексѣя Карамазова совѣмъ нѣтъ политическихъ взглядовъ, и онъ вмѣстѣ съ Базаровымъ могъ бы сказать: «аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы, — подумайшь, сколько иностранныхъ и... бесполезныхъ словъ! Русскому человѣку они даромъ не нужны». И Левинъ, презиравшій земство, не признававшій смысла во всѣхъ общественныхъ учрежденіяхъ, въ сущности не далеко ушелъ отъ того же Базарова, рѣзко и категорически заявлявшаго: «мы отрицаемъ все». Голое и огульное отрицаніе — вотъ обычный результатъ преобладанія этическаго элемента въ общественныхъ

чувствахъ. И въ тѣхъ случаяхъ, когда люди этического склада пытаются создать что-либо положительное въ сферѣ социальныхъ отношеній, — получается нѣчто уродливое и неосуществимое, разрушающееся, какъ картонный домикъ, отъ перваго грубаго соприкосновенія съ дѣйствительностью. Припомните социальные мечтанія Левина и ихъ судьбу: онъ задумалъ преобразовать хозяйство, сдѣлавъ рабочихъ пайщиками, но ничего изъ этого не вышло; онъ былъ убѣжденъ, что его сочиненіе о сельскомъ хозяйствѣ «должно было не только произвести переворотъ въ политической экономіи, но совершенно уничтожить эту науку и положить начало новой наукѣ — объ отношеніяхъ народа къ землѣ»; нужно ли прибавлять, что и эти планы уничтоженія политической экономіи кончились неудачей?

Далѣе, отличительной чертой этическихъ характеровъ слѣдуетъ признать религіозность, живую потребность вѣры внѣ метафизическихъ умствованій, а по преимуществу опять-таки на нравственной основѣ. Левинъ кончаетъ вѣрой, Карамазовъ «поразиленъ убѣжденіемъ, что безсмертіе и Богъ существуютъ» и умилялся молитвами, а Базаровъ, хотя по общему, вульгарному представленію является и въ религіозной сферѣ отрицателемъ, — но въ немъ живетъ искреннее преклоненіе передъ природой, естественностью, матеріей, онъ не позитивистъ, а вѣрующій догматикъ, въ сущности онъ признаетъ существованіе высшей силы и даетъ лишь ей особое названіе «природа». Пусть это не ортодоксальная вѣра, но все-таки это-вѣра.

Достаточно припомнить сцену обѣда Левина съ Облонскимъ въ ресторанѣ, чтобы ярко намѣтить одну изъ отличительныхъ чертъ Левина—его неприхотливость: онъ не любитъ и не ищетъ тонкихъ гастрономическихъ и вообще физическихъ наслажденій, для него они второстепенны: «мнѣ лучше всего щи и каша», замѣчаетъ онъ въ отвѣтъ на гастрономическіе планы Облонскаго; «Левинъ ѣлъ и устрицы, хотя бѣлый хлѣбъ съ сыромъ былъ ему пріятнѣе». Такъ же мало прихотливы и Карамазовъ и Базаровъ. Всѣ трое, подобно допъ - Кихоту, совсѣмъ недоступны такому эгоистическому чувству, какъ страхъ: Базаровъ, напримѣръ, нимало не теряетъ передъ неожиданной дуэлью съ Павломъ Кирсановымъ; Алексѣй Карамазовъ «никогда и никого не боялся», смѣлость Левина не подлежитъ сомнѣнію. Безрербенничество, равнодушіе къ деньгамъ, полное отсутствіе корыстолюбія—объединяло всѣ три разбираемые характера. Карамазовъ «никогда не заботился, на чьи средства живетъ»; «попади вдругъ хотя бы даже цѣлый капиталъ, онъ не затруднится отдать его по первому даже спросу»; «онъ какъ бы вовсе не зналъ цѣны

деньгамъ». Едва ли кто-нибудь станетъ спорить, что въ извѣстной мѣрѣ то же можно сказать и о Базаровѣ съ Левинымъ. Всѣ три разбираемыхъ лица не чужды были чувства собственнаго достоинства и не лишены честолюбія, но этический оттѣнокъ былъ очень силенъ въ этихъ чувствахъ: извѣстныя нравственныя задачи были основой ихъ самоуваженія. Всего ярче, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ и всего грубѣе, это выражается въ самоуверенности и развязности Базарова, проистекающихъ изъ твердаго его убѣжденія, что онъ обрѣлъ истинный житейскій маякъ: «всякій человекъ самъ себя воспитать долженъ», говоритъ Базаровъ «а что касается до времени, отчего я отъ него зависѣть буду? Пускай же лучше оно зависить отъ меня». Левинъ и особенно Карамазовъ выразились бы мягче, но отъ этого существо дѣла не измѣнилось бы.

Такой же и даже большей слабостью и примѣсью этического элемента отличаются эстетическія чувства Левина, Базарова и Алексѣя Карамазова. Послѣдняго не интересовало ни одно искусство; это же, хотя, быть можетъ, съ нѣкоторымъ ограниченіемъ, слѣдуетъ сказать о первомъ, а что касается до второго, то хорошо извѣстны его рѣзкіе отзывы объ искусствѣ: «романтизмъ, чепуха, гниль, художество!» «порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта»; «Рафаэль гроша мѣднаго не стоитъ»; «пора бросить эту ерунду», потому что «природа не храмъ, а мастерская, и человекъ въ ней работникъ». Эта *этическая* мотивировка отрицательнаго отношенія къ искусству какъ нельзя болѣе характерна.

Преобладаніе этического начала въ психической природѣ человека ведетъ къ крайнему умственному субъективизму, къ односторонности ума. Левинъ пріѣзжалъ въ Москву «большою частью съ совершенно-новымъ, неожиданнымъ взглядомъ на вещи», смотрѣлъ на все сквозь призму своихъ исключительныхъ воззрѣній и клеймилъ презрѣніемъ то, что нельзя было подъ нихъ подвести. Такое же пренебреженіе къ чужимъ взглядамъ замѣтно у Базарова. Умственная прямолинейность, безпощадное доктринерство своего рода, безусловность мысли—отличительная черта этическихъ характеровъ. Такіе характеры не чужды интереса къ наукѣ и философіи, но лишь постольку, поскольку наука и философія связаны съ ихъ нравственными идеалами. Почему Базаровъ интересуется и дѣятельно занимается естествознаніемъ? Потому что, по его мнѣнію, оно оправдываетъ его отрицаніе въ практической жизни. Къ метафизикѣ онъ питаетъ недлицемѣрное презрѣніе: по его словамъ, «наука *вообще* не существуетъ вовсе», а существуютъ только отдѣльныя науки. У Ле-

вина какъ будто больше интереса къ философіи, но опять-таки не метафизическія тонкости его занимаютъ, а первостепенные нравственной точки зрѣнія «вопросы о значеніи жизни и смерти». Такимъ же нравственнымъ мѣриломъ опредѣлялось и отношеніе Левина къ наукѣ: занятіе книгой казалось ему второстепеннымъ сравнительно съ жизнью; онъ не понимаетъ, почему Свіязскій интересуется вопросомъ о паденіи Польши, и ждетъ практическаго вывода, спрашивая: «Ну, такъ что же?» Слѣдя теоретическій разговоръ Кознышева съ профессоромъ, онъ пришелъ къ выводу, что «они, подойдя къ самому главному, опять отходятъ», и не сталъ въ концѣ концовъ ихъ слушать.

И господство всеподавляющаго этическаго элемента, и субъективизмъ ума въ высшей степени способствуютъ рѣшительности дѣйствія, большой волевой энергіи человѣка, уничтожаютъ всякія колебанія. Базаровъ умѣлъ твердо и рѣзко принимать рѣшенія въ самыхъ тяжелыхъ обстоятельствахъ и выполнять ихъ безъ колебаній: припомнимъ, напримѣръ, его отъѣздъ отъ Одинцовой послѣ объясненія. По словамъ Левина, «съ собой сдѣлать все возможно»; онъ быстро и безповоротно мѣняетъ свое отношеніе къ тѣмъ или инымъ житейскимъ условіямъ, разъ они его не удовлетворяютъ: бросаетъ земство, напримѣръ, разочаровавшись въ немъ. А мягкій Алеша Карамазовъ вдругъ становится настойчивымъ и умѣетъ повліять на другихъ въ такихъ обстоятельствахъ, когда другіе теряются: «Не сердитесь на брата! перестаньте его обижать», вдругъ настойчиво произнесъ Алеша, когда отецъ его, Ѳедоръ Павловичъ, пьяный началъ придирааться къ своему сыну, Ивану. Когда Дмитрій Карамазовъ ворвался въ домъ и сталъ бить пьянаго отца, — «Дмитрій, иди отсюда вонъ сейчас! властно вскрикнулъ Алеша».

Теперь, анализируя четыре замѣчательныхъ изображенія этическихъ характеровъ, принадлежащія перу столь первостепенныхъ писателей-художниковъ, какъ Сервантесъ, Достоевскій, Толстой и Тургеневъ, мы можемъ—уже безъ опасенія впасть въ ошибку—сдѣлать общіе выводы о томъ, что слѣдуетъ считать типическими чертами этическихъ индивидуальностей?

Несомнѣнно, основной чертой является преобладающее значеніе нравственнаго чувства, непреоборимая потребность выработать нравственный идеаль, который могъ бы быть надежнымъ руководителемъ человѣка въ жизни. Эта черта проникаетъ и питаетъ собою не только всю эмоціональную сторону психической природы этическихъ характеровъ, но и дѣятельность ума, и волю. Вотъ почему воля отличается крайней напряженностью

и энергіей, какъ и всѣ этическія чувства, тогда какъ чувства эгоистическія и особенно эстетическія, если выдѣлить изъ нихъ этической элементъ, поражаютъ своей слабостью. Этимъ же господствомъ этического элемента объясняется и односторонность, субъективизмъ ума, пренебрегающаго отвлеченными теоретическими построениями внѣ ихъ непосредственной связи съ практической дѣйствительностью и нравственными запросами. Наконецъ, общественныя и религіозныя чувства отличаются также рѣзко-выраженной этической окраской.

IV.

Переходимъ ко второй части нашей задачи, — къ изученію *эстетическихъ* характеровъ.

Несомнѣнно, однимъ изъ лучшихъ изображеній такихъ типовъ является характеръ Райскаго въ романѣ Гончарова «Обрывъ». Его мы и разберемъ сначала и посредствомъ этого разбора намѣтимъ основныя черты психической природы эстетическихъ индивидуальностей, чтобы затѣмъ, взявъ еще нѣсколько сходныхъ характеровъ, произвести повѣрку сдѣланныхъ наблюденій и придти къ окончательному заключенію.

Что Райскій—художественная натура, что эстетическія впечатлѣнія составляютъ главное содержаніе его жизни — это едва ли стоитъ доказывать сколько-нибудь обстоятельно: до такой степени это очевидно и всѣмъ извѣстно. Ограничимся поэтому лишь нѣсколькими бѣглыми замѣчаніями. «Музыку онъ любилъ до опьяненія», самъ занимался ею; еще въ дѣтствѣ онъ умѣлъ художественно изображать воображаемыя страны, зачитывался Тассомъ, Оссіаномъ, Гомеромъ, Вольтеромъ, Боккачіо, самъ писалъ романы и стихотворенія. Будучи ученикомъ, Райскій хорошо и съ увлеченіемъ рисовалъ и позднѣе не оставилъ этого искусства: писалъ портреты горничныхъ, кучера, деревенскихъ мужиковъ, Марейники, Вѣры, бабушки.

Два *эгоистическихъ* чувства—склонность къ грубымъ физическимъ ощущеніямъ и корыстолюбіе — были совершенно чужды Райскому. Комфортъ былъ ему, конечно, нуженъ и притомъ въ большей степени, чѣмъ любому человѣку съ этическимъ складомъ души, но наслажденія вкусовыми ощущеніями или грубая, ничѣмъ не прикрытая, чувственность претили ему. Точно также онъ былъ вполнѣ равнодушенъ къ своимъ хозяйству, деньгамъ, бабушкинымъ отчетамъ и вѣдомостямъ по управленію имѣніемъ, хочеть даромъ отнустить мужиковъ на волю, все подарить Вѣрѣ и Марейникѣ, даетъ Марку Волохову деньги займа безъ всякой

надежды получить ихъ обратно. Все это совершенно понятно въ эстетической, художественной натурѣ: въ грубыхъ чувственныхъ удовольствіяхъ и въ скупости и жадности нѣтъ совершенно элемента красоты, почему эстетическій характеръ мало имъ доступенъ, точнѣе — брезгливо отъ нихъ отстраняется; не безнравственность, а безобразіе этихъ свойствъ и ихъ проявленій отталкиваетъ такого человѣка отъ нихъ. Но тотъ же перевѣсъ эстетическаго чувства обуславливалъ сильное развитіе другихъ, высшихъ и болѣе сложныхъ, включающихъ въ себѣ элементъ красоты, эгоистическихъ чувствъ. Самоуваженіе (самолюбіе) и честолюбіе принадлежали къ числу отличительныхъ чертъ Райскаго: въ школѣ онъ училъ блестяще уроки, если было задѣто его самолюбіе; гордился своими легкими успѣхами въ рисованіи; шатался отъ упоенія при похвалахъ профессора его стихамъ. Еще сильнѣе выражена была у Райскаго неудержимая потребность въ разнообразіи впечатлѣній: чуть, бывало, отдастся онъ извѣстному впечатлѣнію, какъ вскорѣ оказывалось, что «лучъ померкъ, краски пропали, форма износилась, и онъ бросалъ и искалъ жадными глазами другого явленія, другого чувства, зрѣлища, и если не было,—скучалъ». Фантазія его постоянно «била лихорадкой какого-нибудь встрѣчнаго ощущенія, мгновеннаго впечатлѣнія»; ему вѣчно нужны были «чадъ, шумъ, студія художниковъ, обѣды и ужины». Такъ эгоистическія чувства, доступныя эстетической окраскѣ, отличались у Райскаго болѣею напряженностью, чѣмъ у характеровъ, подобныхъ донъ-Кихоту.

За то *этическія* чувства Райскаго поражали своей слабостью или отличались чрезвычайно-сильной примѣсью эстетическаго элемента,—настолько сильной, что эта примѣсь заслоняла и подавляла основной ихъ характеръ. Напрасно мы стали бы искать у Райскаго тоски по нравственному идеалѣ, мучительной работы надъ вопросомъ о томъ, какъ надо жить. Чувство дружбы не было сильно и имѣло эстетическій характеръ: «симпатіи его такъ часто мѣнялись, что у него не было ни постоянныхъ друзей, ни враговъ»; на дружбу и вражду «онъ какъ будто смотрѣлъ со стороны и наслаждался, видя и себя, и другого, и всю картину передъ собой». Также мало значили для него и семейныя привязанности, которыя, подобно дружбѣ, не имѣли у него активнаго характера, а отличались отгѣнкомъ диллетантизма, артистичности, красоты: Райскій любилъ бабушку, но не дѣятельной любовью: писалъ ей рѣдко и мало, почти не посѣщалъ ея и т. д., онъ жалѣлъ Наташу, оплакивалъ ея несчастную жизнь и смерть, но скучалъ съ ней и обманывалъ ее и на смѣну

острой душевной боли послѣ ея смерти вскорѣ «въ головѣ только осталась вибрація воздуха отъ свѣчь, тихое пѣніе, расплывшееся отъ слезъ лицо тетки и безмолвный, судорожный плачь подруги», однимъ словомъ,—уцѣлѣлъ лишь художественный образъ. А какъ характерно отношеніе Райскаго къ Вѣрѣ и Марейнкѣ: послѣдняя скоро перестала его интересоватъ со-всѣмъ, а къ первой, вмѣсто родственной привязанности и дружбы, онъ сразу воспылалъ любовью и опять-таки не дѣятельной любовью, а такой, къ которой вполнѣ примѣнимы его собственныя слова: «мы тамъ, въ кучѣ, стряпаемъ свою жизнь и страсти, какъ повара тонкія блюда». Въ любовныхъ увлеченіяхъ Райскаго гораздо меньше чувственныхъ элементовъ (не говоря уже объ этическихъ), чѣмъ элементовъ эстетическихъ. Бѣловодова нравилась ему соединеніемъ безупречной красоты съ холодностью. Онъ былъ неудовлетворенъ любовью Наташи, въ ней видѣлось ему «зерно скуки», потому что онъ «мечталъ о страсти, о ея безконечно-разнообразныхъ видахъ, о всѣхъ сверкающихъ молніяхъ». Ему было необходимо, чтобы въ глазахъ любимой женщины блестѣлъ «таинственный лучъ затаеннаго, сдержаннаго упоенія». Эти тонкости, отбѣнки, переливы, варіаціи, вообще эстетика чувства имѣли для Райскаго несравненно большее значеніе, чѣмъ самое чувство.

Врожденное чувство красоты, артистическія наклонности исключаютъ возможность рѣзкаго отрицанія существующаго общественнаго строя, съ одной стороны, и реакціонныхъ порывовъ и вождельній, съ другой: и то и другое не гармонично и не красиво, уродливо и грубо. Скептический консерватизмъ — вотъ какъ всего лучше слѣдуетъ опредѣлить *общественныя* чувства эстетической натуры. Райскій «открыто заявлялъ, что, вѣря въ прогрессъ, даже досадуя на его «черепаший» шагъ, самъ онъ не слѣшилъ укладывать себя всего въ какое-нибудь едва обозначившееся десятилѣтіе, дешево отрекаясь и отъ завѣщанныхъ исторіею, добытыхъ наукой и еще болѣе отъ выработанныхъ собственной жизнью убѣжденій, наблюденій и опытовъ, въ виду едва занявшейся зари quasi-новыхъ идей». «Онъ терпѣливо шелъ за вѣкомъ». По его мнѣнію, «подъ старыми, заученными правилами таился здравый смыслъ и житейская мудрость».

Чтобы выйти изъ сферы эмоцій, остается только указать, что эстетическій диллетантизмъ приводилъ Райскаго и къ *религіозному* индифферентизму.

Основное свойство натуры, подобныхъ Райскому, сказывается, конечно, въ сильной степени и въ сферѣ *ума*. Пушкинъ въ

извѣстномъ своемъ стихотвореніи сравниваетъ поэта съ эхомъ. Въ этомъ сравненіи справедливо не только то, что художественныя натуры отличаются разносторонней впечатлительностью: здѣсь отражается также главное свойство *ума* индивидуальностей эстетическаго типа, именно разносторонность, объективность ума. Красота въ своихъ проявленіяхъ бесконечно-разнообразна, почему и полное ея пониманіе требуетъ непременно умственнаго объективизма, терпимости къ чужимъ взглядамъ и пониманія ихъ. Это качество было въ достаточной мѣрѣ свойственно Райскому: оно позволяло ему терпимо относиться къ Волохову, напримѣръ, и вообще расширяло сферу его интересовъ и наблюдений, къ сожалѣнію не углубляя ихъ. Эта поверхностность, неустойчивость, недостатокъ выдержки составляетъ вторую — послѣ разносторонности — отличительную черту умственной природы Райскаго. Въ наукѣ онъ «схватывалъ тѣнь, верхушку истины», «узнавать ему было скучно, онъ отталкивалъ наскучившій предметъ прочь». Этимъ объясняется и философскій скептицизмъ Райскаго: онъ интересовался философіей, — читалъ, напримѣръ, Спинозу, — но это было опять-таки не активный интересъ, а художественный: философія не осмыслила для него никакого нравственнаго идеала, не вдохновила его ни для какой опредѣленной дѣятельности. Самый выборъ Спинозы для чтенія характеренъ: онъ указываетъ на преобладаніе метафизическаго интереса надъ этическимъ.

Параличъ *воли* у Райскаго, его полная неспособность къ дѣйствию не разъ уже была отмѣчена въ предшествующемъ изложеніи и представляетъ собою совершенно несомнѣнную для каждаго черту его характера: не даромъ всѣ его замыслы и предпріятія сводятся къ нулю: начатый романъ не удается, картины не оканчиваются; напрасно нѣсколько разъ Райскій собирается уѣхать отъ бабушки, — онъ не въ состояніи выполнить это намѣреніе; онъ готовится спасти счастье Козлова и поступаетъ какъ разъ наперекоръ своимъ цѣлямъ; онъ не въ силахъ отказать Полинѣ Карповнѣ въ ея просьбѣ написать ея портретъ и т. д. и т. д. И здѣсь эстетическое чувство и объективизмъ ума неизбежно ведутъ къ борьбѣ слишкомъ многочисленныхъ и различныхъ мотивовъ и тѣмъ уничтожаютъ возможность дѣйствія.

V.

Другими представителями эстетическаго типа мы выбираемъ героевъ извѣстнаго очень талантливаго польскаго романиста Санкевича, — Петронія (изъ романа «Quo vadis?») и Леона Пло-

шовскаго («Безъ догмата»), а также Тургеневскаго Рудина. Относительно Плошовскаго и Рудина необходимо сдѣлать однако существенную оговорку: оба эти характера не чисто эстетическіе, а съ примѣсью другихъ признаковъ, немногимъ уступающихъ по силѣ эстетическому чувству: у Плошовскаго такой важной примѣсью является значительная напряженность нравственныхъ чувствъ, у Рудина — сила анализа, сближающая его съ Гамлетомъ, типомъ вовсе не эстетическимъ, а аналитическимъ. Но не смотря на эту оговорку, мы думаемъ, что указанные въ ней примѣси имѣютъ скорѣе индивидуальное, чѣмъ типическое значеніе, и психологическая природа Плошовскаго и Рудина, не говоря уже о Петроніи, въ существенныхъ чертахъ тождественна съ характеромъ Райскаго.

Какое важное, опредѣляющее значеніе имѣло *чувство красоты* въ жизни Петроніи,—это видно прежде всего изъ его увлеченія поэзіей: онъ цитируетъ наизусть Гомера, читаетъ Вергилія, Теокрита, самъ пишетъ—припомнимъ его «Сатириконъ»,—прямо заявляетъ, наконецъ: «люблю поэзію». Пластическая красота также неудержимо привлекаетъ Петронію: его домъ украшенъ превосходными статуями и картинами, онъ любитъ вазы и геммы, особенно восхищается имѣющимися у него прекраснымъ сосудомъ; при видѣ Лигіи «въ немъ проснулся художникъ и поклонникъ красоты, онъ почувствовалъ, что подъ статуей этой дѣвушки можно было бы подписать «веена». Не менѣе сильны были эстетическіе интересы Плошовскаго: онъ съ удовольствіемъ слушаетъ игру талантливой піанистки Клары Гильстъ, уподобляя ее Рафаэлевской св. Цециліи, понимаетъ Бетховена, Моцарта и Мендельсона; читаетъ съ миссисъ Дэвисъ «Божественную Комедію» Данте и одинъ — лучшіе французскіе романы, причемъ восхищается ихъ техникой. Однимъ словомъ, Клара Гильстъ вполне права, когда говоритъ Плошовскому: «Вы тоже артистъ. Можно не играть, не рисовать и быть артистомъ въ душѣ». Такимъ же артистомъ въ душѣ былъ Рудинъ: онъ читалъ Натальѣ «Гетевскаго Фауста, Гоффмана, Новалиса», «былъ весь погруженъ въ германскую поэзію, въ германскій романтическій и философскій міръ»; Рудинъ просилъ Пандалевскаго сыграть «Erlkönig» Шуберта: «съ первымъ звукомъ лицо его приняло прекрасное выраженіе»; потомъ «онъ все заставлялъ Пандалевскаго играть изъ Бетховена».

Петронію, Плошовскому и Рудину, какъ и Райскому, въ силу ихъ эстетической природы, чужды низменные эгоистическія чувства—склонность къ грубымъ ощущеніямъ и жажда пріобрѣтенія, любовь къ деньгамъ. Петроній былъ щедръ и любилъ только

утонченныя наслажденія. Тоже самое надо повторить о Плошовскомъ. Наталья права, когда говоритъ Рудину: «вы не въ состояннн дѣйствовать изъ расчета». Но, конечно, всѣ они далеко не аскеты, что всего лучше выражено Петроніемъ въ его словахъ Виницію: «благодѣтельно то, что даетъ людямъ счастье, т. е. красоту, любовь и силу». Тотъ же Петроній «былъ человѣкомъ отважнымъ и смерти не боялся», потому что страхъ смерти совершенно не вяжется съ господствомъ эстетическихъ чувствъ: онъ—этотъ страхъ—безобразенъ, не красивъ, пошлъ. Столь же не эстетиченъ и гнѣвъ: вотъ почему Рудинъ отличался «спокойствіемъ и изящной учтивостью» и возразилъ разъ Пигасову «съ невольнымъ, но тотчасъ сдержаннымъ нетерпѣніемъ». Когда Петроній былъ раздраженъ, «на лицѣ его не было гнѣва, только въ глазахъ мелькнулъ блѣдный отблескъ отваги и энергіи». Другое дѣло—самоуваженіе и честолюбіе: эти эгоистическія чувства высоко развиты у эстетическихъ натуръ, потому что они—красивы и создаютъ человѣку красивое положеніе: Петроній любилъ вспоминать о своемъ справедливомъ управленіи Виеиніей: «оно служило доказательствомъ, чѣмъ бы онъ сумѣлъ и могъ быть, если бы ему это нравилось». Плошовскій записываетъ въ свой дневникъ: «я искренно убѣжденъ, что могъ бы быть чѣмъ-нибудь безконечно болѣе крупнымъ, чѣмъ теперь», и сознается Снятиньскому, что любить похвалы своимъ способностямъ, что онѣ «лѣзять его самолюбію». Рудинъ вдохновлялся «общимъ сочувствіемъ и вниманіемъ», говорилъ «мягко и ласково, какъ путешественникъ принцъ»; «въ немъ было много добродушія, того особеннаго добродушія, которымъ исполнены люди, привыкшіе себя чувствовать выше другихъ». Есть доля правды въ слѣдующемъ преувеличенномъ замѣчаніи желчнаго неудачника Пигасова о Рудинѣ: «скажетъ я и съ умиленіемъ остановится... я, молъ, я». И Плошовскій и Рудинъ, наконецъ, всю жизнь свою стремились къ разнообразію впечатлѣній; это еще въ большей степени примѣнимо къ Петронію: его опасная игра съ Нерономъ доставляла ему своеобразное наслажденіе; онъ самъ замѣчаетъ: «для меня неувѣренность составляетъ прелесть жизни».

«Мы здѣсь давно утратили сознаніе того, что достойно и что недостойно, и мнѣ самому кажется, что такъ и есть на самомъ дѣлѣ, что разницы никакой не существуетъ». «Правда живетъ гдѣ-то такъ высоко, что даже сами боги не могутъ ее видѣть на вершинѣ Олимпа». Эти слова Петронія какъ нельзя лучше характеризуютъ его нравственный индифферентизмъ, слабость его *этическихъ чувствъ*. Единственнымъ основаніемъ нравственности онъ признаетъ красоту: «порокъ отвратителенъ, а добродѣтель

прекрасна. Ergo, истинный эстетикъ въ силу этого и добродѣтельный человѣкъ». При такихъ условіяхъ, конечно, не можетъ имѣть первостепенное значеніе вопросъ о нравственномъ житейскомъ идеалѣ, о томъ, «какъ жить свято». Вотъ почему и Плошовскій не признаетъ «искусственныхъ этическихъ доктринъ» и считаетъ понятіе о долгѣ второстепеннымъ, хотя, впрочемъ, для него оно все же важнѣе, чѣмъ для Петронія. Исканіе житейской правды мы напрасно стали бы стараться подмѣтить и въ Рудинѣ. Эстетической окраской отличались поэтому и другія этическія чувства Петронія, Плошовскаго и Рудина, — дружба, состраданіе къ другимъ людямъ и любовь. Такъ, Петроній питалъ къ Виницію «нѣкоторую слабость, граничащую съ привязанностью, потому что Маркъ (Виницій) былъ красивый и атлетически-сложенный молодой человѣкъ и вмѣстѣ съ тѣмъ въ развратѣ умѣлъ сохранять извѣстную эстетическую мѣру». Эстетическое чувство Петронія оскорблялось казнями Нерона. Въ любви Петронія привлекаютъ тонкія ощущенія, эстетическія впечатлѣнія, красота, онъ не упивается этимъ чувствомъ, но смакуетъ его. Этимъ объясняются и его приключенія съ Хризотемидой, и увлеченіе «дѣвочкой изъ Колхиды» въ Гераклеѣ, и любовь къ Эвникѣ. «Любить еще недостаточно», пишетъ онъ Виницію, «надо умѣть любить и надо сумѣть научить любви», онъ «наслажденіе обращаетъ въ изящное искусство». И въ дружбѣ Плошовскаго съ Снятынскимъ, напримѣръ, чувствуется тотъ же эстетическій холодокъ. Плошовскій, правда, не лишенъ родственныхъ чувствъ, любитъ отца, напримѣръ, — но чувствуетъ какое-то разочарованіе, когда, готовый послѣ извѣстія о болѣзни увидѣть его мертвымъ, застаетъ живымъ и почти здоровымъ: «я такъ набилъ себѣ голову мрачными картинами», записываетъ онъ въ свой дневникъ, «— мнѣ представлялся отецъ въ гробу, среди свѣчъ, рисовался я самъ, стоящій на колѣняхъ у его гроба, — что мнѣ какъ будто стало жаль своего напраснаго сожалѣнія». А многимъ ли отличалось чувство любви у Плошовскаго отъ такого же чувства у Петронія? Плошовскаго привлекали «женщины изящныя, съ тонко настроенными нервами, алчущія новыхъ впечатлѣній и почти лишенныя всякихъ идеаловъ». Припомнимъ его чувственно-эстетическое увлеченіе миссисъ Дэвисъ. Та же жажда эстетическихъ оттѣнковъ, мелочныхъ переливовъ и эпикурейскихъ ощущеній ярко выступаетъ и въ болѣе серьезномъ чувствѣ Плошовскаго къ Анельѣ. Вотъ какъ объясняетъ онъ причины своей медлительности, причины того, что онъ не произнесъ рѣшительнаго слова: «я не хочу, чтобы у меня что нибудь пропало изъ этихъ волненій, изъ этихъ впечатлѣній, изъ этого очарованія, кото-

рымъ полны недоговоренныя слова, вопросительныя взгляды, ожиданіе»; «я слегка эпикуреецъ въ дѣлѣ чувства»; «я черезчуръ дорожилъ этими головокружительными покатосями, этимъ созерцаніемъ огромной тяжести, висящей на тонкой нити и готовой каждую минуту оборваться, этимъ сердцемъ, которое трепетало чуть не на моей ладони, — мнѣ не хотѣлось кончать сразу». Если дружба Плошовскаго съ Снятынскимъ не отличалась особенною горячностью, то отношенія Рудина къ своимъ друзьямъ, — Муффелю, князьку, даже Лежневу, — были еще холоднѣе. Къ боготворившей его матери Рудинъ относился почти совершенно равнодушно: только разъ пріѣхалъ къ ней на 10 дней, чрезвычайно рѣдко писалъ. Наконецъ, «Рудинъ не въ состояніи былъ сказать навѣрное, любитъ ли онъ Наталью, страдаетъ ли онъ, будетъ ли страдать, разставшись съ нею». Чувство любви прекрасно; только поэтому оно и захватываетъ Рудина: это не порывистая страсть, а эстетическое наслажденіе.

Итакъ этическія чувства у этическихъ характеровъ отличаются слабостью и сильной примѣсью чувства красоты. Столь же слабы и ихъ чувства *общественныя* и *религіозныя*. Петроній — совершенный индифферентистъ въ политикѣ и, какъ всѣ индифферентисты, въ сущности желаетъ сохраненія существующаго порядка и питаетъ отвращеніе къ демократіи, такъ какъ презираетъ толпу съ художественной и эстетической точки зрѣнія. «Я консерваторъ», пишетъ Плошовскій, но «это далеко отъ воззрѣнія на застои, какъ на догматы», «я настолько цивилизованный человѣкъ, чтобы не стать безусловно на сторонѣ аристократіи или демократіи»; «сознаніе общественныхъ обязанностей — очень хорошая вещь, только, къ сожалѣнію, у меня нѣтъ его». Нѣтъ его въ сущности и у Рудина: если онъ громко говоритъ объ этихъ обязанностяхъ, если онъ учительствуетъ, хлопочетъ объ обращеніи рѣки въ судоходную, наконецъ умираетъ на баррикадѣ, то не столько въ силу убѣжденія, сколько подъ вліяніемъ того, что все это прекрасно, красиво, отвѣчаетъ эстетическому вкусу. Религіозные вопросы совсѣмъ не занимали Рудина; не было вѣры и у Плошовскаго: «я не знаю» — вотъ все, что онъ могъ сказать въ этомъ отношеніи. Петроній дѣлаетъ насмѣшливыя замѣчанія о Кипридѣ, Аскленіи, жертвахъ; «боги стали только риторическими фигурами», замѣчаетъ онъ, «цезарь не вѣритъ въ боговъ, и онъ правъ».

Объективизмъ, большая склонность къ теоретическому знанію и къ философской метафизикѣ, перерождающейся перѣдко въ скептицизмъ, — вотъ отличительныя *умственные* свойства такихъ характеровъ, какъ Рудинъ, Плошовскій и Петроній. Рудинъ въ

спорѣ съ Пигасовымъ защищать системы и общіе взгляды, весь былъ погруженъ въ германскій философскій міръ и, по словамъ Лежнева, умъ имѣлъ «систематическій»: «читалъ онъ философскія книги, и голова у него такъ была устроена, что онъ тотчасъ же изъ прочитаннаго извлекалъ все общее, хватался за самый корень дѣла и уже потомъ проводилъ отъ него во всѣ стороны свѣтлыя, правильныя нити мысли, открывалъ духовныя перспективы. Умственный объективизмъ Плошовскаго дошелъ до того, что у него сложилось «почтительное отношеніе ко всякимъ мнѣніямъ»; онъ самъ говоритъ о себѣ: «я умѣю тонко понимать, я не издаю павлиньяго крика, если услышу что-нибудь противное моему мнѣнію». Онъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ свидѣтельствуетъ о своихъ теоретическихъ — научныхъ и философскихъ — интересахъ: «я иду наряду съ умственнымъ движеніемъ своего вѣка». Въ философіи Плошовскій скептикъ, скептицизмомъ онъ «пропитанъ какъ губка влагою». Наконецъ, и умъ Петронія лишень узости и односторонности, отличается объективизмомъ; не даромъ онъ говоритъ: «я всегда буду измѣнять мнѣнія, если найду это справедливымъ». Онъ интересуется философіей и наукой, любитъ книги, читаетъ Сенеку, замѣчаетъ, что «когда попадешь въ книжную лавку, всегда любопытно посмотреть и то и это». Философскій скептицизмъ Петронія ярко и опредѣленно выраженъ въ цѣломъ рядѣ его замѣчаній, изъ которыхъ отмѣтимъ слѣдующія, на примѣръ: «глупость, какъ говорить Пирронъ, ничѣмъ не хуже мудрости и ни въ чемъ отъ нея не отличается»; «свѣтъ стоитъ на обманѣ, а жизнь — заблужденіе; душа — это тоже заблужденіе»; «теперь я говорю себѣ вотъ что: наполни жизнь счастьемъ, какъ кубокъ самымъ лучшимъ виномъ, какое только породила земля, и пей, пока не омертвѣетъ твоя рука и не поблѣднѣютъ твои уста. Что будетъ дальше, — объ этомъ я не забочусь. Вотъ моя новѣйшая философія».

Остается отмѣтить теперь въ разбираемыхъ типахъ ту-же *слабоволюность*, какою отличается, какъ мы видѣли, Райскій, типичнѣйшій представитель эстетическаго характера. Относительно Петронія достаточно характерной является только что цитированная послѣдняя фраза. Можно бы намѣтить и другіе примѣры недостаточной его энергіи: его политическій индифферентизмъ, полное нежеланіе употребить сколько-нибудь энергичное усиліе для униженія и гибели такого человѣка, какъ Тигелинъ и т. д. Плошовскій въ своемъ дневникѣ признаетъ за собой полную неспособность «умѣть хотѣть», «болѣзнь воли», «l'improductivité slave». Самоанализъ и самокритика парализуютъ у него всякое

дѣйствіе: онъ «теряетъ всякую рѣшительность», въ критическія минуты его охватываетъ «страхъ передъ тою щекоткой, которая можетъ опуститься». Извѣстно, наконецъ, что Рудинъ вмѣсто того, чтобы дѣйствовать, разливался моремъ словъ и жаловался на обстоятельства и недостатокъ сочувствія: обычный способъ самооправданія, примѣняемый безвольными людьми. «Быть полезнымъ... легко сказать!» замѣчаетъ Рудинъ: «если бы даже и было во мнѣ твердое убѣжденіе,—какъ я могу быть полезнымъ? если бы я даже вѣрилъ въ свои силы,—гдѣ найти искреннія, сочувствующія души?» «я не долженъ растрачивать свои силы на одну болтовню, пустую, бесполезную болтовню, на одни слова... И слова его полились рѣкою». Придя на свиданіе съ Натальей къ пруду, Рудинъ «смущается духомъ» и совершенно теряется, когда Наталья говоритъ ему, что мать ея противъ ея брака съ нимъ. «Что намъ дѣлать?»—возразилъ Рудинъ:—«разумѣется, покориться». Наталья права, когда говоритъ Рудину: «вы теперь струсили,» и называетъ его малодушнымъ человѣкомъ. У самого Рудина вырывается потомъ правдивое признаніе: «какъ я былъ жалокъ и ничтоженъ передъ ней!» Одно только могло подвигнуть Рудина на рѣшительный въ извѣстной мѣрѣ поступокъ: эстетичность, такъ сказать, извѣстнаго образа дѣйствій, красивая внѣшность ихъ: такъ, изъ чисто-эстетическихъ побужденій Рудинъ поѣхалъ къ Волынцеву и сказалъ ему, что любитъ Наталью и пользуется ея взаимностью.

VI.

Если сдѣлать теперь общій выводъ объ отличительныхъ чертахъ эстетическихъ характеровъ, то придется формулировать его слѣдующимъ образомъ: эстетическіе характеры въ области *чувства* отличаются крайнимъ развитіемъ эстетическаго вкуса, довольно-значительной напряженностью эгоистическихъ чувствъ, особенно высшихъ, и слабостью чувствъ этическихъ, общественныхъ и религіозныхъ; въ области *ума* главная черта эстетическихъ характеровъ—объективизмъ и въ связи съ этимъ большой интересъ къ теоретическимъ научнымъ и философскимъ вопросамъ; наконецъ, *воля* индивидовъ съ эстетическимъ складомъ души поражаетъ своей слабостью.

Во многихъ отношеніяхъ такимъ образомъ эстетическіе характеры являются противоположностью этическимъ. Можно даже выразиться еще рѣзче: между тѣми и другими трудно отыскать сходство. Гдѣ тѣ и другіе характеры ближе всего между собою,—это въ области эгоистическихъ чувствъ, хотя и здѣсь сходство,

довольно отдаленное, ограничивается лишь низшими эгоистическими чувствами, чуждыми, хотя и по разным причинам, и эстетикам и лицам этического типа. Можно, пожалуй, еще прибавить, что нравственные чувства эстетиковъ, не смотря на свою относительную слабость, не представляют все-таки контраста нравственнымъ чувствамъ этическихъ характеровъ и—по крайней мѣрѣ практически, въ дѣйствительной жизни—люди обоихъ типовъ могутъ часто идти другъ съ другомъ нѣкоторое время рука объ руку. Но это и все, что можно найти—при самомъ внимательномъ сравненіи—сходнаго между этическими и эстетическими характерами, если мы будемъ оставаться въ сферѣ исключительно психологической или этологической.

Есть, однако, другая сторона вопроса, представляющая для насъ первостепенную важность. Изученіе характеровъ можетъ и должно имѣть значеніе не только и даже, можетъ быть, не столько для психологіи, сколько для социологіи. Конечно, надлежащіе социологическіе выводы возможны лишь тогда, когда мы будемъ обладать полной классификаціей и точнымъ научнымъ описаніемъ *всѣхъ* характеровъ въ ихъ типическихъ чертахъ: тогда только можно будетъ поставить въ связь и процессъ этологическаго или психологическаго развитія общества съ другими эволюціонными социальными процессами. Но и при изученіи отдѣльныхъ типовъ возможны и необходимы нѣкоторыя частныя замѣчанія социологическаго характера. Важно поставить вопросъ, какое социальное значеніе имѣютъ люди того или иного склада? Поскольку они способны сознательно и бессознательно воздѣйствовать на процессъ общественнаго развитія? На первый взглядъ въ этомъ отношеніи этическіе и эстетическіе характеры непримиримы до противоположности. Въ самомъ дѣлѣ: тогда какъ первые обыкновенно доходятъ до крайности въ отрицаніи существующихъ общественныхъ порядковъ, вторые являются охранителями наличнаго строя. Первые—фанатичны и нетерпимы, вторые въ политической сферѣ холодны, спокойны и нерѣшительны. Тѣмъ не менѣе они не такъ далеки другъ отъ друга, какъ это кажется на первый взглядъ: дѣло въ томъ, что относясь *сознательно* совершенно различно къ политическому и общественному строю, они *бессознательно* одинаково мало на него воздѣйствуютъ. Конечно, никакая сила въ обществѣ, какъ и въ природѣ, не пропадетъ даромъ, всему найдется точка приложенія, все имѣетъ свои опредѣленные результаты, но вопросъ о степени значительности этихъ результатовъ не лишенъ важности, и въ данномъ случаѣ они должны быть признаны минимальными. Дѣло въ томъ, что, перенося въ область политическихъ понятій свою абсолют-

ную нравственную мѣрку, люди этического типа такъ же отрицательно относятся къ существующимъ политическимъ партиямъ и социальнымъ интересамъ: такъ же мало занимаются практическими средствами, приемами и подробностями борьбы, какъ и эстетики съ ихъ политическимъ скептицизмомъ. Это дѣлаетъ ихъ и другихъ одиноками, изолированными и парализуетъ ихъ усилія. Самое большое, что выпадаетъ на долю этическихъ характеровъ въ сферѣ социальной жизни, это горячее, хотя и безпочвенное новаторство, рѣзкая критика существующаго. Эстетики могутъ рассчитывать въ общественной жизни лишь на роль примирителей и умѣряющихъ крайности дѣятелей. Рѣже и гораздо менѣе рѣзко, чѣмъ этическіе характеры, они выступаютъ съ новыми идеями, и то идеи эти обыкновенно слышатся общи и отвлеченны, чтобы подвинуть непосредственно на дѣйствіе и на борьбу. Слабость социального значенія эстетическихъ и этическихъ характеровъ является такимъ образомъ новой чертой, сближающей между собою оба типа.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

Этический индивидуализмъ.

(По поводу книги „Дневникъ Лассалья“).

I.

Мы выяснили методологическіе приемы изслѣдованія психологическаго характера и социологическое значеніе результатовъ работы въ этой важной, но мало разработанной сферѣ научнаго знанія. При этомъ былъ разобранъ вопросъ объ этическихъ и эстетическихъ характерахъ, во многомъ различныхъ между собою, хотя и не диаметрально-противоположныхъ. Теперь мы намѣрены въ предлагаемой статьѣ дать изображеніе характера человѣка, сыгравшаго видную роль въ исторіи Германіи XIX вѣка, Фердинанда Лассалья. Материаломъ для такого изображенія служить только-что появившійся въ русскомъ переводѣ дневникъ Лассалья ¹⁾.

¹⁾ Ф. Лассаль. Дневникъ. Изданіе Б. Н. Звонарева, переводъ съ нѣмецкаго. Цѣна 1 р. Спб. 1901.

Фердинандъ Лассаль родился въ 1825 году. Его дневникъ писанъ въ 1840—1841 годахъ, т. е. тогда, когда автору дневника было всего 15—16 лѣтъ. Тѣмъ не менѣе, познакомившись съ дневникомъ пятнадцатилѣтняго юноши, можно составить себѣ очень ясное и вѣрное понятіе о характерѣ Лассалья даже и за то время, когда онъ возмужалъ, такъ какъ, по справедливому замѣчанію предисловія къ дневнику, Лассаль столь же и въ 1864 и въ 1840 годахъ» (стр. 64). Дневникъ отличается безусловной правдивостью и достовѣрностью, лишень лии и рисовки, потому что совершенно не предназначался авторомъ для печати или вообще для другихъ лицъ.

Психологическая характеристика Лассалья, представляя громадный историческій интересъ, такъ какъ Лассаль былъ выдающимся общественнымъ дѣятелемъ, важна еще въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, въ послѣднее время въ публицистикѣ раздаются призывы къ «несгибаемому идеализму» Лассалья ¹⁾, такъ что въ высшей степени любопытно присмотрѣться къ психологической подкладкѣ этого идеализма, какъ бы мы ни относились къ теоретическимъ взглядамъ и практическимъ убѣжденіямъ самого Лассалья и его новѣйшихъ послѣдователей; во-вторыхъ, Лассаль, какъ мы постараемся показать ниже, представляетъ собою не такой простой типъ, какими были разобранные нами въ свое время этические и эстетическіе характеры, а типъ сложный, переходный отъ этического къ индивидуалистическому, съ почти равнымъ значеніемъ этического и индивидуалистическаго элементовъ. Такимъ образомъ, изображеніе характера Лассалья является удобной переходной ступенью отъ представленной нами раньше характеристики чисто-этическихъ типовъ къ характеристикѣ типа чистыхъ индивидуалистовъ, которой мы намѣрены заняться въ ближайшемъ будущемъ, и которая имѣетъ громадное историческое и общественное значеніе, такъ какъ въ процессѣ историческаго развитія индивидуалистическіе характеры—въ всякаго сомнѣнія—приобрѣтаютъ все болѣе и болѣе господствующее положеніе.

Заслуживаетъ быть отмѣченнымъ еще одно обстоятельство: въ статьѣ объ этическихъ и эстетическихъ характерахъ мы опирались исключительно на матеріалъ, почерпнутый изъ *художественной литературы*,—изъ произведеній Сервантеса, Толстого, Тургенева, Достоевскаго, Гончарова, Сенкевича; сейчасъ мы будемъ имѣть дѣло не съ художественнымъ изображеніемъ типа, а съ живымъ человѣкомъ, дѣйствовавшимъ на глазахъ цѣлаго поколѣнія.

¹⁾ См. статью П. Б. Струве „Ф. Лассаль“ въ журналѣ „Миръ Божій“ за 1900 годъ, № 12.

Игнорировать одинъ изъ этихъ двухъ источниковъ значило бы произвольно сужать поле своихъ наблюдений, и трудно сказать, который изъ этихъ источниковъ важнѣе.

Чтобы закончить предварительныя замѣчанія, остается опредѣлить основную черту тѣхъ характеровъ, которые мы называемъ *индивидуалистическими*. Индивидуалистъ — это такой человѣкъ, который ставитъ свое я, свои интересы и потребности выше всего на свѣтѣ, у котораго сильно развиты и господствуютъ надъ другими эмоціями чувства эгоистическія. Мы избѣгаемъ, однако, называть такой характеръ эгоистическимъ потому, что съ этимъ словомъ ассоціировалось представленіе о полной душевной сухости, холодности и разсудочномъ человѣконенавистничествѣ, что далеко не характерно для индивидуалиста. Съ другой стороны, считаемъ неудобнымъ и новоизобрѣтенное слово «эготистъ», такъ какъ оно черезчуръ манерно и отличается излишнимъ декадентскимъ пошибомъ.

II.

Первый и главный выводъ, какой получается при изученіи характера Лассалья, по его дневнику, состоитъ въ томъ, что индивидуалистическій элементъ въ его психической природѣ, его *эгоистическія чувства* отличаются сильнымъ развитіемъ, большой напряженностью. Многочисленные отрывки изъ дневника ставятъ это обстоятельство внѣ всякаго сомнѣнія. Начнемъ съ указанія на сильное и важное значеніе для Лассалья тѣхъ *ощущеній*, которыя служатъ элементами эгоистическихъ, отчасти также и иныхъ чувствъ: мы говоримъ о склонностяхъ къ вкусовымъ ощущеніямъ и о чувственности. Страницы «Дневника» пестрятъ примѣрами того, какъ сильно увлекался его авторъ посѣщеніемъ кондитерскихъ и кафе; въ этомъ отношеніи излишними являются даже ссылки на отдѣльныя мѣста. Отмѣтимъ только откровенное признаніе 15-лѣтняго юноши, записанное имъ 9 января 1840 года: «ѣсть устрицы не такъ ужъ грѣшно. Отецъ называетъ такую жизнь распутной, а я имѣлъ пристрастіе къ такой распутной жизни» (стр. 54). На тѣхъ страницахъ «Дневника», гдѣ рѣчь заходитъ о женщинахъ, ясно проглядываетъ въ авторѣ будущій страстный любитель послѣднихъ, человѣкъ очень склонный къ чувственнымъ ощущеніямъ: достаточно указать на рассказы объ ухаживаньи за г-жей X. (стр. 114) и объ увлеченіи m-me N (стр. 48—51); чтобы убѣдить въ этомъ всякаго; природныя инстинкты Лассалья сказываются особенно ярко въ этомъ послѣднемъ

случаѣ: онъ съ восторгомъ описываетъ m-me N въ костюмѣ невѣсты, какою онъ ее видѣлъ (стр. 50), и даетъ своему знакомому, Шиффу, продиктованный, очевидно, полусознаннымъ инстинктомъ совѣтъ «взять приступомъ эту крѣпость» (стр. 48), т. е. смѣлѣе ухаживать за г-жей N.

Мостомъ отъ элементарныхъ ощущеній къ эгоистическимъ чувствамъ въ собственномъ смыслѣ слова является *склонность къ разнообразію впечатлѣній*. Лассаль былъ зараженъ этою склонностью въ весьма высокой степени. На это указываетъ уже тотъ мотивъ, который вызвалъ самое появленіе дневника: мотивъ этотъ — «мысль о томъ удовольствіи, которое получается черезъ нѣсколько лѣтъ при чтеніи своего дневника, вызывающемъ въ воспоминаніи все, чѣмъ прежде наслаждался и что выстрадалъ» (стр. 43). То же сильное стремленіе къ разнообразію впечатлѣній видно, напримѣръ, изъ такой записи: «я не переживалъ еще такихъ счастливыхъ дней, какъ въ Берлинѣ. Я переходилъ отъ удовольствія къ удовольствію, изъ одного театра въ другой» (стр. 162). Здѣсь понятіе «счастье» прямо отождествляется со смѣной разнообразныхъ впечатлѣній.

То эгоистическое чувство, которое, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ признать центральнымъ, главнымъ, характернымъ для индивидуалистическаго типа, именно *чувство самоуваженія, соединяемое съ любовью къ одобренію (честолюбіемъ)*, отличалось у Лассалья чрезвычайно высокой степенью развитія. Онъ постоянно любитъ собою, съ особеннымъ удовольствіемъ записываетъ полученныя имъ похвалы, надѣляетъ свою личность необыкновенными талантами, считаетъ себя неизмѣримо выше окружающихъ. 2-го января 1840 г. Лассаль записываетъ: «до сихъ поръ я еще не блисталъ» (стр. 49)—и тѣмъ даетъ понять, что время блеска скоро наступитъ, по его убѣжденію. Оно и наступило въ тотъ же вечеръ: «я въ этотъ вечеръ тоже хорошо говорилъ», читаемъ въ дневникѣ ниже, а затѣмъ съ нескрываемымъ удовольствіемъ авторъ заноситъ на страницы своего дневника похвалы д-ра Шиффа его остроумію (стр. 43) и отзывъ о себѣ одного знакомаго: «вы прекрасный и остроумный малый не по лѣтамъ» (стр. 102). Лассаль въ совершенномъ восторгѣ отъ словъ Борхерта, который признавалъ его «геніальнымъ» и «необыкновеннымъ мальчикомъ» (стр. 122). Совершенно понятно, что, при такомъ взглядѣ на свою личность, Лассаль смотрѣлъ свысока, съ пренебреженіемъ, даже съ презрѣніемъ на другихъ людей, по крайней мѣрѣ на большинство ихъ. Онъ прямо заявляетъ: «мои товарищи по школѣ уступаютъ мнѣ въ способностяхъ, пониманіи, геніи, силѣ сужденія и умѣ» (стр. 106), а объ одномъ прикащикѣ своего отца отзы-

вается въ такихъ рѣзкихъ выраженіяхъ: «осель! точно онъ могъ смотрѣть на меня свысока, будь онъ хотъ въ три раза больше» (стр. 74).

Въ связи съ такимъ высоко-развитымъ чувствомъ самоуваженія стоитъ легкая и сильная возбудимость Лассала, необходимая склонность его къ крайнимъ проявленіямъ неукротимаго *чувства мѣста*. Вотъ какъ онъ описываетъ свой гнѣвъ на сестру: «кля яростью, я бросился на колѣни, заломилъ, какъ сумасшедшій, свои руки и закричалъ съ такой силой, что мой голосъ охрипъ: «Боже, сдѣлай такъ, чтобы я не забылъ никогда этого часа! Змѣя, заливающаяся крокодиловыми слезами! ты пожалѣешь объ этомъ часѣ. Клянусь Богомъ! буду ли я жить 50 лѣтъ или 100, я не забуду этого до смертнаго часа. Не забудешь и ты». Отъ этого порыва сильной ярости я совершенно обезсильнѣлъ» (стр. 59). Находя, что учитель Тширнеръ несправедливъ къ нему, Лассаль записываетъ: «меня охватила неудержимая злоба», «въ этотъ моментъ я готовъ былъ выпить всю кровь изъ Тширнера» (стр. 79). Разсердившись на отца за побой, Лассаль едва не утопился (стр. 80).

Только два эгоистическихъ чувства, — *чувство страха* во всѣхъ его разновидностяхъ и *корыстолюбіе* — были чужды Лассалу. Смѣлость, даже дерзость его ясно обрисовываются уже многими изъ вышеприведенныхъ цитатъ; каждая страница дневника подтверждаетъ, что авторъ его не былъ трусомъ или даже сколько-нибудь робкимъ человѣкомъ. Правда, денежный вопросъ, какъ видно изъ дневника, игралъ видную роль въ жизни юноши-Лассала, но во всемъ, что говорится о деньгахъ, мы тщетно стали бы искать хотя бы малѣйшихъ слѣдовъ корыстолюбія: деньги Лассалу были нужны не сами по себѣ, но ради удовольствій, ими доставляемыхъ. Отсутствіе корыстолюбія и чувства страха также характерны для личности, отличающейся — вполне или отчасти — индивидуалистическимъ складомъ: эти низменные, унижающія человѣческую личность эгоистическія чувства уместны въ эгоистѣ, но въ индивидуалистѣ, всегда гордомъ и преисполненномъ самоуваженія; они не могутъ найти мѣста.

III.

Но на ряду съ индивидуалистическимъ элементомъ, столь рѣзко выраженнымъ въ характерѣ Лассала, большимъ значеніемъ отличался въ его психической природѣ элементъ этический. Уступая, быть можетъ, до нѣкоторой степени по силѣ напряженности эго-

истиннымъ чувствамъ, *этическія чувства* Лассала въ то же время, несомнѣнно, подавляли своей силой, далеко оставляли за собой остальные эмоціи, играющія уже совершенно второстепенную роль.

Первый и несомнѣнный признакъ этической природы—это живая и неутолимая *потребность въ нравственномъ житейскомъ идеалѣ* и его осуществленіи. Въ этомъ отношеніи молодой Лассаль—достаточно типиченъ: для него очень цѣнны «святые интересы человѣчества» (стр. 261), онъ жаждетъ дѣятельности для ихъ осуществленія (стр. 262), съ одушевленіемъ замѣчаетъ: «Богъ далъ мнѣ силы, которыя—я чувствую это—дѣлаютъ меня способнымъ къ борьбѣ» (стр. 263). Характерны самыя мотивы, руководившіе Лассалемъ, когда онъ рѣшилъ вести свой дневникъ: «если я поступилъ несправедливо, то не буду ли я краснѣть, записывая это? и не буду ли я еще больше краснѣть, читая объ этомъ впоследствии?» (стр. 43). Эти слова достаточно ясно показываютъ, какое видное мѣсто занимали въ психической организаціи Лассала этическія чувства.

Переходя къ другимъ нравственнымъ эмоціямъ, необходимо отмѣтить прежде всего очень сильную, даже страстную *любовь Лассала къ родителямъ*, особенно къ отцу. 1 января 1840 г. онъ записываетъ: «я былъ тронутъ добротой отца» (стр. 46). Подъ 4 января читаемъ: «мои добрые родители меня очень любятъ» (стр. 52). «Мой отецъ такой любящій, такой нѣжный, какъ немногіе изъ отцовъ» (стр. 62), пишетъ Лассаль дальше. Еще болѣе горячія проявленія сыновней любви попадаютъ вслѣдъ затѣмъ: «я люблю моего отца до экстаза.... и съ радостью отдалъ бы за него жизнь» (стр. 63—64): «существуетъ ли на свѣтѣ еще такая мать? спрашиваю я» (стр. 96). Понятно, послѣ всего этого, какъ тяжело было Лассалу прощаться съ родными при отъѣздѣ изъ Бреслава въ Лейпцигъ (стр. 161).

Чувство *дружбы* было свойственно Лассалу не менѣе, чѣмъ любовь къ родителямъ: друга своего, Исидора, онъ любилъ «больше всѣхъ изъ своихъ знакомыхъ» (стр. 52); онъ въ другомъ мѣстѣ замѣчаетъ: «отрадное чувство имѣть друга, который можетъ понять тебя» (стр. 169). Гдѣ бы ни жилъ юноша-Лассаль, вездѣ онъ быстро сближается съ другими и сильно привязывается къ своимъ друзьямъ: припомнимъ, на примѣръ, его дружбу съ Цандеромъ и Беккеромъ въ Лейпцигѣ. Такая общительность, привязчивость, такое живое стремленіе къ духовному сближенію съ другими,—несомнѣнно, одна изъ отличительныхъ чертъ природы, въ психическомъ содержаніи которой этическіе элементы играютъ видную роль.

Этический человекъ всегда сострадательнъ, чувствуетъ *жалость* къ людямъ совершенно ему чужимъ и даже неизвѣстнымъ. Чтобы убѣдиться, что это чувство состраданія къ чужому горю было нечуждо Лассалю, стоитъ только прочитатъ описаніе его впечатлѣній при видѣ горя вдовы умершаго Баршала, во время погребенія послѣдняго (стр. 84—85).

Лассаль въ 1840—41 годахъ былъ, конечно, еще слишкомъ молодъ, чтобы понимать настоящее чувство любви. Тѣмъ не менѣе, и въ этомъ отношеніи его дневникъ даетъ хотя не обильный, но очень любопытный матеріалъ. Мы видѣли выше, что страстность Лассалья въ достаточной степени выразилась въ его дневникѣ: эта черта—тишина не только для индивидуалистическихъ, но и для этическихъ характеровъ, какъ то было въ свое время нами показано ¹⁾. Но при всей страстности Лассалья въ любви его ясно выступаетъ нравственный элементъ: «мнѣ кажется», читаемъ въ дневникѣ, «я ни за что не пошелъ бы къ продажной женщинѣ, я долженъ восхищаться красотой женщины, долженъ любить ее или, по крайней мѣрѣ, вообразить, что люблю. Я могу желать обладать только опредѣленной женщиной, а не слѣдовать грубому животному инстинкту» (стр. 204).

Сказаннаго, полагаемъ, достаточно для доказательства того положенія, что этический элементъ въ психической природѣ Лассалья лишь немногимъ уступалъ по своей силѣ элементу индивидуалистическому.

IV.

Анализъ *эстетическихъ* чувствъ у этическихъ натуръ, произведенный нами въ статьѣ «Этические и эстетическіе характеры», показалъ, какъ слабо чувство красоты у людей этического склада, насколько красота затемняется передъ ихъ духовнымъ взоромъ добромъ. Индивидуалисту эстетическія эмоціи свойственны, несомнѣнно, въ большей степени, и чувство красоты доступно въ большей чистотѣ, чѣмъ этическому характеру. Но и индивидуалистъ къ своимъ эстетическимъ восторгамъ примѣшиваетъ чуждые эстетикѣ элементы: онъ ищетъ въ произведеніяхъ искусства преимущественно того, что родственно *его* натурѣ, собственное я для него всегда на первомъ планѣ, и потому больше всего его восхищаетъ выраженіе въ искусствѣ чувства разнообразія, смѣлости, силы, энергіи. Изучая эстетическія чувства Лассалья по его дневнику, легко убѣдиться, что двойственность его природы нало-

¹⁾ См. выше „Этические и эстетическіе характеры“.

жила на нихъ очень яркій отпечатокъ: Лассаль—болѣе эстетикъ, чѣмъ чловѣкъ этическаго типа, но характеръ его чувства красоты — близокъ къ индивидуалистическому. Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что живопись, скульптура, архитектура и музыка имѣли въ глазахъ Лассалья меньше значенія, чѣмъ поэзія и драматическое искусство: сила этическаго элемента и индивидуалистическихъ чувствъ — вотъ тотъ двигатель, который располагалъ различныя искусства въ такой перспективѣ. Во всемъ дневникѣ мы тщетно стали бы искать восторговъ передъ картинами, статуями, или зданіями. О музыкѣ встрѣчаемъ только одно замѣчаніе, правда восторженное, но въ то же время не свидѣтельствующее объ особенномъ развитіи музыкальнаго вкуса у автора. За то драматическій театръ Лассаль посѣщала весьма часто и съ большимъ увлеченіемъ: въ Берлинѣ онъ «переходилъ изъ одного театра въ другой» (стр. 162); въ Лейпцигѣ 27 іюня 1840 года ему «очень хотѣлось пойти въ театръ» (стр. 176), а 28 это желаніе уже осуществилось (стр. 177); 12 іюля Лассаль смотрѣлъ въ театрѣ «Гамлета» (стр. 183), а 19 — «Фіеско» (стр. 184); 9 августа онъ присутствовалъ на представленіи Шиллеровской мелодрамы «Коварство и любовь» (стр. 190). 10 ноября видѣлъ на сценѣ «Разбойниковъ» (стр. 205). Вкусы и наклонности автора ярко выступаютъ уже при одномъ только перечнѣ пьесъ, которыми онъ увлекался. Еще болѣе привлекала вниманіе Лассалья изящная литература поэзія: онъ читаетъ романъ Гёте «Wahlverwandtschaften» (стр. 163), его драму «Clavigo» (стр. 164), увлекается Байрономъ (стр. 213), но особенно замѣчательно его отношеніе къ Лессингову «Натану Мудрому», къ «Вильгельму Мейстеру» Гёте и къ произведеніямъ Гейне: «Натана» молодой Лассаль прочелъ «100 разъ» и—что особенно любопытно—потому, что Лессингъ «мастерски защищаетъ мой народъ» (т. е. евреевъ); читая Вильгельма Мейстера, Лассаль интересуется тѣми чертами характера героя, которыя дѣлаютъ послѣдняго психически родственнымъ читателю (стр. 188); наконецъ, стихи Гейне его «глубоко волнуютъ» (стр. 172) и вызываютъ у него слѣдующій восторженный диѳирамбъ, въ которомъ много вѣрнаго, но много и индивидуалистическихъ элементовъ, чуждыхъ чистой эстетикѣ: «я люблю этого Гейне, онъ — мое второе я. Какія смѣлыя идеи и какая сокрушающая сила языка! Онъ умѣетъ нашептывать вамъ такъ же нѣжно, какъ зефиръ, дѣлюющій розу; онъ умѣетъ пламенно и горячо изображать любовь; онъ вызываетъ въ васъ и сильную страсть, и нѣжную грусть, и необузданный гнѣвъ. Къ его услугамъ всѣ чувства и настроенія. Его иронія такъ убійственна и мѣтка!» (стр. 198—199). Если, наконецъ, къ сказан-

ному прибавить, что Лессингъ читалъ еще Виланда (стр. 125); Ауэрбаха (стр. 128), Мольера (стр. 131) и восхищался Илиадою и поэтами Эллады (стр. 127), то будетъ ясно, что любовь къ изящной литературѣ господствовала у Лассала надъ другими эстетическими чувствами, хотя, какъ сказано было выше, чистой эстетики и здѣсь было мало.

Чтобы закончить анализъ эмоциональной стороны духовной природы Лассала, намъ остается характеризовать его *чувства религиозныя и общественныя*. Религія имѣла въ глазахъ молодого Лассала большую важность: 1 января 1840 г. онъ не могъ итти играть на билліардѣ, «потому что во время богослуженія это запрещается» (стр. 44); благоговѣйная молитва Богу доставляла Лассалу большое утѣшеніе и успокоеніе (стр. 132); онъ восхищается проповѣдью Гейгера и испытываетъ отъ нея глубокое впечатлѣніе (стр. 98—99); но что особенно характерно, — это общее отношеніе Лассала къ двумъ сторонамъ религіи, метафизической и этической: будучи противникомъ атеизма и выражая свою преданность іудейской религіи, Лассаль въ то же время рѣзко высказывается противъ обрядной стороны (стр. 86). Здѣсь, какъ и вообще въ религиозныхъ чувствахъ Лассала, виденъ человѣкъ, психикѣ котораго были нечужды этическіе элементы. Но замѣтна также и индивидуалистическая примѣсь: отвращеніе къ вѣйшему принужденію и склонность къ свободѣ мысли, проявлявшаяся съ особенной силой въ восхищеніи идеями такого новатора въ іудействѣ, какимъ былъ въ извѣстномъ смыслѣ Гейгеръ.

Наконѣцъ, въ *общественныхъ чувствахъ* Лассала въ его молодые годы, такъ же, какъ и въ зрѣлѣе, — отвлеченный этический идеализмъ, выспиреннія мечтанія соединялись съ страстнымъ индивидуализмомъ, съ сознаниемъ правъ человѣческой личности, каждой ея господства въ общественныхъ отношеніяхъ и вѣрой въ личный успѣхъ и свою блестящую будущность въ сферѣ политической. Все это ясно изъ слѣдующихъ цитатъ. Ничто такъ не оскорбляетъ Лассала, какъ пренебрежительное отношеніе къ евреямъ; чтобы добиться уваженія къ нимъ, онъ готовъ «пожертвовать знанью», итти на эшафотъ (стр. 86); онъ ужасается положеніемъ евреевъ въ Дамаскѣ, приходитъ отъ этого въ ярость, считаетъ необходимымъ возстаніе (стр. 164). Читая книгу Эльснера «Знаменитые дни въ жизни Наполеона», Лассаль восхищается негодованіемъ автора противъ «деспотіи тирановъ» и его «любовью къ свободѣ» (стр. 179). Очень характерны такія замѣтки въ дневникѣ: «родись я принцемъ или княземъ, я былъ бы и душой и тѣломъ аристократъ, но такъ какъ я сынъ простого

бюргера, то буду въ свое время демократомъ» (стр. 184); «я читалъ письма Берне; они мнѣ очень понравились. Если посмотрѣть на эту тюрьму—Германію, какъ въ ней попираются ногами человѣческія права, сердце сжимается при видѣ глухости этихъ людей» (стр. 185); «я хочу провозгласить свободу народамъ, хотя бы мнѣ пришлось погибнуть въ этой попыткѣ» (стр. 193); «я хочу выступить передъ германскимъ народомъ и передъ всѣми другими и пламенными рѣчами призвать ихъ на борьбу за свободу» (стр. 195).

V.

Есть умы, которые отзываются только на явленія, родственныя натурѣ мыслящаго субъекта, и слабо реагируютъ на такія впечатлѣнія, которыя не укладываются въ рамки психической индивидуальности этого субъекта. Люди, обладающіе такими умами, понимаютъ, по преимуществу, лишь тѣ душевныя движенія, къ которымъ склонны сами, и доступны лишь для тѣхъ интересовъ, которые имъ самимъ свойственны. Въ статьѣ «Этическіе и эстетическіе характеры» мы видѣли, что такой умственный субъективизмъ составляетъ отличительную черту людей чисто-этического типа: какъ бы ни былъ глубокъ и какой бы широтой ни отличался ихъ умъ, они не въ состояніи обнять объективнымъ умственнымъ взоромъ окружающее именно въ силу того, что волей или неволей смотрятъ на все сквозь призму господствующихъ въ ихъ природѣ нравственныхъ чувствъ. Отсюда получаютъ и недостаточное пониманіе другихъ людей и чужихъ душевныхъ движеній, и недостатокъ наблюдательности. Лассаль, какъ показала намъ предшествующій анализъ, не принадлежалъ къ числу чисто-этическихъ натуръ; напротивъ: этический элементъ у него въ значительной мѣрѣ заслонялся индивидуалистическимъ. Уже это обстоятельство должно а priori внушить мысль, что умъ Лассалья былъ болѣе объективенъ и отличался большей наблюдательностью, чѣмъ умъ людей этического склада. Знакомство съ дневникомъ только подтверждаетъ это апіорное предположеніе: такъ Лассаль очень тонко и объективно анализируетъ мотивы запрещенія ему отцомъ игры на билліардѣ (стр. 46), вѣрно и прекрасно характеризуетъ прикащика Л. (стр. 74), тонко и мѣтко указываетъ: «у Фредерики (сестры Лассалья) такой характеръ, что открытое сопротивленіе только укрѣпляетъ ее въ ея мнѣніи» (стр. 83). Нельзя однакоже отрицать, что въ умственномъ складѣ Лассалья были нѣкоторые этическіе элементы: это обнаруживается, между прочимъ, въ его отношеніи къ теоретическому знанію и къ знанію прикладному.

Онъ не признавалъ чистой науки какъ таковой и ждалъ отъ теоріи отвѣтовъ на практическіе запросы, но подъ практической стороною дѣла онъ разумѣлъ не ремесло и не разныя узкоприкладныя свѣдѣнія, а общіе выводы, необходимые для примѣненія научныхъ построений къ общественной жизни. Это лучше всего удостоверяется его заявленіемъ отцу, послѣ жизни въ Лейпцигѣ, что онъ хочетъ изучать исторію, а не медицину и юриспруденцію, такъ какъ «врачъ и адвокатъ — купцы, торгующіе своими знаніями», а исторія «связана съ самыми святыми интересами человѣчества» (стр. 261). Рѣшительность *воли*, непреклонность цѣлей и энергія въ ихъ достиженіи — вотъ черта, всего болѣе роднящая индивидуалистовъ съ людьми этического типа: она — естественное слѣдствіе того, что у тѣхъ и другихъ энергія направлена въ одну опредѣленную сторону, и потому не можетъ быть сомнѣній и колебаній. Лассаль этической индивидуалистъ, въ его духовной природѣ нравственный элементъ по своей силѣ слѣдуетъ сейчасъ же послѣ индивидуалистическаго, лишь нѣсколько ему уступая; вотъ почему колебанія и сомнѣнія могли обуревать Лассалья лишь при столкновеніи этихъ двухъ господствующихъ въ немъ мотивовъ, въ остальныхъ же случаяхъ непреклонность рѣшенія и энергія въ его осуществленіи была сильнѣйшимъ образомъ обезпечена. Не даромъ Лассаль самъ говорилъ про себя: «я не отличаюсь нерѣшительностью» (стр. 94), и каждая страница его превосходнаго дневника убѣдительно свидѣтельствуетъ въ пользу этого горделиваго заявленія.

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

Индивидуалистическіе и эгоистическіе характеры.

I.

Велики и безконечно-разнообразны различія въ психическомъ складѣ отдѣльныхъ людей, въ ихъ характерѣ. Даже тогда, когда мы пытаемся свести индивидуальное многообразіе къ нѣсколькимъ болѣе крупнымъ категоріямъ, соединить отдѣльныя личности, сходныя между собою по психическимъ свойствамъ, въ группы, типы или общіе характеры, — даже и въ этомъ случаѣ обнаруживаются не только однѣ рѣзкія противоположности, но и переходные характеры, сближающіе одну крайность съ другою, сложные типы.

Извѣстно, что есть люди, основною чертой душевнаго склада которыхъ является неутомимая потребность выработки себѣ нравственнаго идеала и практическаго осуществленія этого идеала въ дѣйствительности, такъ что всѣ другія ихъ психическія свойства служатъ производными отъ этой основной черты. Такихъ людей нужно назвать *этическими* характерами, потому что этическія или нравственныя чувства господствуютъ въ ихъ внутреннемъ мірѣ надъ всѣми другими проявленіями ихъ эмоциональной, умственной и волевой жизни. Можно также встрѣтить людей, всецѣло преданныхъ непосредственному чувству красоты, эстетическимъ эмоціямъ, опять-таки безраздѣльно подчиняющимъ себѣ всю ихъ духовную природу. Это—*эстетическіе* характеры. Существуютъ далѣе такіе люди, которые ставятъ свое я, свои интересы и потребности выше всего на свѣтѣ, у которыхъ сильно развиты и господствуютъ надъ другими эмоціями чувства эгоистическія. Надо однако замѣтить, что, въ противоположность простотѣ и цѣльности этическихъ и эстетическихъ характеровъ, людей съ преобладаніемъ эгоистическихъ чувствъ нельзя подводить всѣхъ подъ одну категорію, нельзя всѣхъ сводить въ одинъ типъ: существуетъ два очень важныхъ отгѣнка. Можно стоять за свои интересы во что бы то ни стало, ставить ихъ выше всего, выдвигать свое я на первый планъ, съ безпощадною смѣлостью устранять всѣ встрѣчающіяся на пути препятствія — и вмѣстѣ съ тѣмъ относиться къ людямъ доброжелательно: можно, однимъ словомъ, руководиться правиломъ—«живи и жить давай другимъ»; это будетъ одинъ отгѣнокъ. Но есть личности, которыя, будучи насквозь проникнуты эгоистическими чувствами, вмѣстѣ съ тѣмъ относятся недоброжелательно къ другимъ, хотя бы несчастіе послѣднихъ и не принесло имъ никакой выгоды. Такое человѣконенавистничество есть психическое свойство, кладущее рѣзкую разграничительную грань между людьми, которымъ оно свойственно, и людьми, лишенными его, хотя и ставящими всего выше свою собственную личность. Такимъ образомъ является другой отгѣнокъ. Характеры перваго отгѣнка, такъ сказать доброжелательныхъ эгоистовъ, мы будемъ называть индивидуалистическими, людямъ втораго отгѣнка удобнѣе всего усвоить названіе эгоистическихъ характеровъ. Въ послѣдующемъ изложеніи мы постараемся изслѣдовать психическій складъ лицъ индивидуалистическаго и эгоистическаго характера, руководясь тѣми же принципами, которые были положены нами въ основу другихъ нашихъ статей, посвященныхъ психологіи характера: принципы эти сводятся къ опредѣленію основной черты характера и объясненію изъ нея всѣхъ другихъ психическихъ

свойствъ. Матеріалъ намъ доставить, какъ и при характеристивѣ этическихкихъ и эстетическихкихъ типовъ, гениальныя и талантливныя беллетристы своими произведеніями, при всей конкретности изображенія всегда заключающими въ себѣ типическія, общіе образы, характеризующіе въ сущности не отдѣльное лицо, а цѣлую группу лицъ одинаковаго психическаго склада.

II.

Однимъ изъ самыхъ великихъ созданій литературно-художественнаго гения графа Л. Н. Толстого является, несомнѣнно, характеръ Вронскаго въ вѣчно-юномъ, не старѣющемъ, преисполненномъ истинно-общечеловѣческихъ и вмѣстѣ несомнѣнно-русскихъ мотивовъ и типовъ романѣ «Анна Каренина». Вронскій—блестящій образецъ индивидуалистическаго характера.

Каждому извѣстно, какою колоссальною силой отличались *эгоистическія чувства* Вронскаго. Здѣсь прежде всего обращаетъ на себя вниманіе своею крайнею напряженностью необыкновенно-развитое чувство самоуваженія, довѣрія къ своимъ способностямъ и свойствамъ, спокойной, твердой, совершенно-непоколебимой самоувѣренности. Говоря, напр., о неудачѣ въ любви, Вронскій цѣнитъ прежде всего личное достоинство человѣка, его униженіе считаетъ большимъ несчастіемъ, чѣмъ самую неудачу: «да, это тяжелое положеніе!» замѣчаетъ онъ: «отъ этого-то большинство и предпочитаетъ знаться съ Кларами. Тамъ неудача доказываетъ только, что у тебя недостало денегъ, а здѣсь—твое достоинство на вѣсахъ». Во время переѣзда изъ Москвы въ Петербургъ въ одномъ поѣздѣ съ Анной Вронскій «казался гордъ и самодовлѣющъ. Онъ смотрѣлъ на людей, какъ на вещи»; «Вронскій чувствовалъ себя царемъ не потому, чтобы онъ вѣрилъ, что произвелъ впечатлѣніе на Анну,—онъ еще не вѣрилъ этому,—но потому, что впечатлѣніе, которое она произвела на него, давало ему счастье и гордость». Эта удивительно-тонко подмѣченная черта особенно характерна для человѣка индивидуалистическаго типа: ни въ чемъ, можетъ быть, такъ сильно не проявляется самоуваженіе, какъ въ гордости собственными чувствами, которыя для индивидуалиста — высоки и прекрасны именно потому, что они принадлежать ему. Понятно, что при такомъ душевномъ состояніи на другихъ, особенно на людей, стоящихъ у него на дорогѣ, Вронскій смотрѣлъ сверху внизъ, съ пренебреженіемъ и даже съ чувствомъ гадливости: увидѣвъ на вокзалѣ Каренина, встрѣчавшаго Анну, онъ испыталъ непріятное чувство, подобное тому, какое испыталъ бы че-

ловѣкъ, мучимый жаждою, добравшійся до источника и находящій въ этомъ источникѣ собаку, овцу или свинью, которая и выпила и возмутила воду». Въ каждый свой поступокъ Вронскій вносилъ это чувство самоуваженія, всегда подчинялся ему въ своемъ образѣ дѣйствій: «Вронскій былъ человекъ, ненавидѣвшій безпорядокъ. Еще смолоду, бывши въ корпусѣ, онъ испыталъ униженіе отказа, когда онъ, запутавшись, попросилъ займы денегъ, и съ тѣхъ поръ онъ ни разу не ставилъ себя въ такое положеніе»; онъ «не безъ внутренней гордости и не безъ основанія думалъ, что всякій другой давно бы запутался и принужденъ былъ бы поступать нехорошо, если бы находился въ такихъ же трудныхъ условіяхъ». Изъ стыда передъ униженіемъ Вронскій рѣшается на самоубійство. Даже физическую свою природу онъ любилъ и гордился ею: «онъ и прежде часто испытывалъ радостное сознаніе своего тѣла, но никогда онъ такъ не любилъ себя, своего тѣла, какъ теперь».

Это всепоглощающее чувство самоуваженія — характернѣйшая, главная черта Вронскаго. Всѣ остальные особенности его психической организаціи объясняются ею и изъ нея выводятся. Отсюда происходило, напр., честолюбіе Вронскаго: «честолюбіе была старинная мечта его юности, которая была такъ сильна, что и теперь эта страсть боролась съ его любовью». Этимъ объясняется и сильное стремленіе его къ разнообразію впечатлѣній и ихъ новизнѣ. Такъ, Вронскій просилъ графиню Нордстонъ свезти его на спиритическій сеансъ и сказалъ при этомъ: «я никогда ничего не видалъ необыкновеннаго, хотя вездѣ отыскиваю». Яркимъ выраженіемъ этой неуверенной склонности Вронскаго къ разнообразію впечатлѣній служатъ также слѣдующія его слова: «Ницца сама по себѣ скучна, вы знаете. Да и Неаполь, Сорренто хороши только на короткое время. И именно тамъ особенно живо вспоминается Россія, и именно деревня». Уѣхавъ вмѣстѣ съ Карениной за границу, Вронскій «скоро почувствовалъ, что въ душѣ его поднялось желаніе желаній — тоска. Онъ сталъ хвататься за каждый мимолетный капризъ, принимая его за желаніе и цѣль». Въ деревнѣ онъ предавался самымъ разнообразнымъ занятіямъ, — агрономіи, архитектурѣ, спорту, заботамъ и трудамъ по устройству конскаго завода.

Но при всей силѣ, при крайней напряженности высшихъ эгоистическихъ чувствъ, не унижающихъ человѣческой личности, не роняющихъ ея достоинства, Вронскій былъ чуждъ тѣхъ эгоистическихъ эмоцій, которыя унижительны и позорны: мы тщетно стали бы искать въ немъ хотя бы малѣйшаго проявленія чув-

ства страха въ какой бы то ни было формѣ, — въ формѣ ли простой трусливости, или въ формѣ суевѣрнаго страха, или страха смерти. Это чувство прямо несовмѣстно съ основною чертой характера Вронскаго, потому что его наличность способна поколебать до основанія и даже вполне уничтожить главный признакъ типа—чувство самоуваженія. Точно также и по той же причинѣ Вронскій не зналъ и не чувствовалъ корыстолюбія, не былъ скупъ. Когда при первой встрѣчѣ съ нимъ Карениной былъ убитъ поѣздомъ желѣзнодорожный сторожъ, и Каренина спросила, нельзя ли что-либо сдѣлать для его вдовы, то онъ, ни минуты не колеблясь, передалъ вдовѣ сторожа значительную денежную сумму. Вронскій даже отказался отъ тысячнаго дохода въ пользу брата, а себѣ оставилъ только доходъ въ 25 тысячъ.

Эстетическія чувства Вронскаго находились въ полной гармоніи съ основною чертой его характера. То, что требуетъ идеальныхъ порывовъ, неопредѣленныхъ, неясныхъ ощущеній, какъ поэзія, музыка, даже театръ, — мало привлекало Вронскаго, но онъ съ интересомъ занимался архитектурой. «У него была способность понимать искусство и вѣрно, со вкусомъ подражать искусству», но не было вдохновенія. Онъ, напр., хорошо понималъ и цѣнилъ картины талантливаго художника Михайлова и «имѣлъ настолько вкуса къ живописи, что не могъ докончить своей картины».

Переходя къ изображенію *этическихъ чувствъ* Вронскаго, мы должны замѣтить, что тѣ изъ нихъ, которыя стоятъ въ неприимимомъ противорѣчій съ сильно развитыми высшими эгоистическими чувствами, не были сильны у Вронскаго. Такъ онъ совершенно не зналъ потребности въ нравственномъ житейскомъ идеалѣ, не мучился поисками его, не искалъ разрѣшенія сложныхъ и высокихъ моральныхъ проблемъ. Семейныя чувства не играли въ его жизни никакой роли: онъ не помнилъ отца, а мать увлекалась свѣтскою жизнью и романами; «онъ не только не любилъ семейной жизни, но въ семьѣ онъ представлялъ себѣ нѣчто чуждое, враждебное, и всего болѣе—смѣшное»; «онъ въ душѣ не уважалъ мать и, не отдавая себѣ въ томъ отчета, не любилъ ея». Чувство дружбы не было чуждо Вронскому; онъ былъ друженъ съ Петрицкимъ, Яшвинимъ и другими; «Серпуховскій былъ добрый пріятель, и онъ былъ радъ ему». Но въ сущности все это были довольно далекія отношенія, немногимъ лишь отличавшіяся отъ того «простого, равнаго отношенія ко всѣмъ», которымъ Вронскій сразу пріобрѣлъ вліяніе на дворянъ губерніи, гдѣ было его имѣніе. Еще менѣе доступенъ былъ Врон-

скій состраданію: увидѣвъ смерть желѣзнодорожнаго сторожа подъ повѣдомъ, онъ «молчалъ, и красивое лицо его было серьезно, но совершенно спокойно»; денежную помощь онъ оказалъ вдовѣ сторожа не изъ чувства состраданія, а въ виду желанія Анны, которою онъ былъ сразу увлеченъ. За то могучее, страстное чувство любви къ женщинѣ властно захватило сильную натуру Вронскаго: онъ былъ сразу пораженъ Карениной. Вотъ какимъ онъ былъ съ Анной на балѣ, по наблюденіямъ Кити Щербацкой: «куда дѣлась его всегда спокойная, твердая манера, и безпечноспокойное выраженіе лица? Нѣтъ, онъ теперь, каждый разъ, какъ обращался къ ней, немного сгибалъ голову, какъ бы желая пасть предъ ней, и во взглядѣ его было одно выраженіе покорности и страха. Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и онъ становился серьезенъ». Позднѣе онъ говорилъ о любви къ нему Анны: «ничего, ничего мнѣ не нужно, кромѣ этого счастья». Сила чувства Вронскаго къ Карениной была весьма велика, но нельзя не замѣтить, что это чувство носило замѣтную эгоистическую окраску: Вронскій не хотѣлъ подчиниться, не могъ играть вторую роль, онъ «тяготился тѣми любовными сѣтами, которыми она старалась опутать его».

Ту же рѣзко-выраженную эгоистическую окраску имѣли и *общественныя чувства* Вронскаго. Онъ, повидимому, интересуется и общественными дѣлами и общепольными предпріятіями, но въ томъ и другомъ для него въ сущности важны не интересы общаго блага, а собственные его вкусы и потребности, жажда дѣятельности, новизны ощущеній. Въ своей деревнѣ, напр., онъ построилъ роскошную больницу и самъ же объяснялъ мотивы этой постройки: «такъ, я увлекся». О дворянскихъ выборахъ Вронскій говоритъ: «да, это забираетъ за живое; и разъ взявшись за дѣло, хочется его сдѣлать. Борьба!» Чрезвычайно заманательно, что Вронскій сразу, благодаря своему характеру, сталъ очень вліятельнымъ человѣкомъ среди дворянъ губерніи: когда люди индивидуалистическаго типа занимаются общественною дѣятельностью, то всегда безъ труда приобрѣтаютъ крупное значеніе.

Чтобы закончить разсмотрѣніе эмоціональной стороны духовной природы Вронскаго, остается только замѣтить, что *религіозное чувство* было совершенно для него недоступно, потому что психическіе элементы этого чувства—нѣжная эмоція, страхъ и чувство высокаго—не имѣлись на лицо въ психической организаціи разбираемой нами личности. Вронскому одинаково чужды были и метафизическая (догматическая) и нравственная сторона

религии. Болѣе чистый типъ религіознаго индифферентиста трудно себѣ и представить, но религіознымъ отрицателемъ-атеистомъ Вронскій, конечно, не былъ.

Это и естественно: отрицаніе, какъ и преданность религіозной догматикѣ, требуетъ широкаго и серьезнаго метафизическаго міровоззрѣнія, склонности къ глубокому метафизическому мышленію, къ отвлеченной работѣ ума, къ чистому знанію. Ничего подобнаго у Вронскаго въ его *умственной организаціи* не было: ко всякаго рода теоріи онъ былъ совершенно равнодушенъ. Въ умѣ Вронскаго были, несомнѣнно, двѣ сильныя стороны—наблюдательность и трезвая практичность. «Тамъ, гдѣ дѣло шло до доходовъ, продажи лѣсовъ, хлѣба, шерсти, отдачи земель, Вронскій былъ крѣпокъ, какъ камень, и умѣлъ выдерживать цѣну». Онъ также отлично понималъ характеръ принца, къ которому онъ, какъ гвардейскій офицеръ высшаго круга, былъ приставленъ для сопровожденія и показыванія ему петербургскихъ достопримѣчательностей: по словамъ Вронскаго, принцъ былъ «очень глупый, и очень самоувѣренный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человекъ», «глупая говядина». Но Вронскій могъ понимать только тѣ душевныя движенія и тѣ поступки, на которые онъ самъ былъ способенъ, умъ его былъ узокъ, чрезвычайно субъективенъ, лишень былъ широкаго объективизма, способности проникаться чужими идеями и стремленіями и понимать совершенно иныя душевныя организаціи. Когда Алексѣй Александровичъ Каренинъ во время болѣзни Анны сказалъ ему, что онъ простилъ Анну, не сердится и на него, Вронскаго, и при этомъ зарыдалъ, то Вронскій «не понималъ чувствъ Алексѣя Александровича» и только «чувствовалъ, что это было что-то высшее и даже недоступное ему въ его міровоззрѣніи».

Весь Вронскій былъ какъ бы высѣченъ изъ одного камня, характеръ его отличался, какъ показываетъ предшествующее изложеніе, необыкновенною цѣльностью и крѣпостью. Понятно, что отсюда съ необходимостью слѣдовала чрезвычайная *сила воли*, рѣшительность намѣреній и дѣйствій, отсутствіе всякихъ колебаній, сомнѣній, внутренняго разлада. Увлечшись Анной Карениной, Вронскій, ни минуты не колеблясь, послѣдовалъ за нею въ Петербургъ въ одномъ поѣздѣ и прямо сказалъ ей въ дорогѣ: «вы знаете, я ѣду для того, чтобы быть тамъ, гдѣ вы; я не могу иначе». «Онъ говорилъ учтиво, почтительно, но такъ твердо и упорно, что она долго не могла ничего отвѣтить». «Онъ чувствовалъ, что всѣ его доселѣ распущенныя, разбросанныя силы были собраны въ одно и съ страшною энергіей были

направлены къ одной блаженной цѣли». У Вронскаго «быть сводъ правилъ, несомнѣнно опредѣляющихъ, что должно и не должно дѣлать», и онъ «никогда, ни на минуту не колебался въ исполненіи того, что должно». «Онъ со свойственною ему рѣшительностью характера, ничего не объясняя и не оправдываясь, пересталъ заниматься живописью». Естественно, что эту желѣзную энергію и непреклонность вѣнчалъ обыкновенно успѣхъ.

III.

Замѣчательные писатели-художники создаютъ свои типы и образы по крайней мѣрѣ настолько же инстинктивно, повинаясь какому-то внутреннему смутному велѣнію, насколько и сознательно. Конечно, они обдумываютъ, перерабатываютъ въ своемъ умѣ, комбинируютъ извѣстнымъ образомъ собранный матеріалъ, конкретныя впечатлѣнія, которыя ложатся на ихъ душу, но нельзя представить себѣ дѣло такъ, что всякая отдѣльная частность, всякая черта характера и особенность типа придуманы и съ тонкимъ расчетомъ поставлены на своемъ мѣстѣ: истинный художникъ вноситъ ту или другую конкретную подробность въ свое произведеніе, повинаясь стихійной силѣ, своего рода «категорическому императиву», ему присущему и называющемуся художественнымъ талантомъ или гениемъ. И одаренный эстетическимъ вкусомъ читатель, знакомясь съ замѣчательнымъ произведеніемъ изящной литературы, далеко не всегда руководится умственнымъ анализомъ изображаемыхъ характеровъ, можно даже сказать, что онъ почти никогда этимъ анализомъ не руководится, а чувствуетъ непосредственно красоту и правду художественно-созданныхъ образовъ и положеній. И хорошо развитой эстетическій вкусъ никогда не бываетъ обманчивымъ: умственный, научный анализъ всегда подтверждаетъ справедливость и вѣрность сильныхъ эстетическихъ восторговъ. А если сила эстетическаго впечатлѣнія и результаты умственнаго анализа совпадаютъ, то мы уже, совершенно не рискуя ошибиться, можемъ сказать, что выдержавшій это двойное психологическое испытаніе романъ или рассказъ есть истинно-художественное произведеніе, а его авторъ—дѣйствительно талантливъ, а иногда и гениаленъ.

Къ числу такихъ талантливыхъ авторовъ принадлежитъ, несомнѣнно, и г. Максимъ Горькій, произведенія котораго въ большинствѣ случаевъ съ успѣхомъ выдерживаютъ указанное двойное испытаніе, даютъ яркое и свѣжее эстетическое наслажденіе и при научномъ анализѣ характеровъ обнаруживаютъ большое

психологическое богатство содержания. Нижеслѣдующія етроки, надѣмся, подтвердятъ послѣднее заключеніе. Замѣтимъ также, что кромѣ несомнѣнной и выдающейся талантливости произведеній г. Горькаго, насъ побудило обратиться въ данномъ вопросѣ именно къ нимъ еще одно важное обстоятельство: они особенно изобилуютъ индивидуалистическими характерами. Челкашъ, Коноваловъ, рыжій Сережка въ «Мальвѣ» и многіе другіе — въ сущности являются разновидностями именно этого одного типа. Къ числу самыхъ замѣчательныхъ образцовъ индивидуалистическаго характера принадлежитъ у г. Горькаго Варенька Олесова въ повѣсти того же заглавія. Анализомъ этого типа мы и займемся теперь, чтобы провѣрить выводы, полученные изъ изученія характера Вронскаго, чтобы не принять индивидуальныхъ особенностей Вронскаго, какъ конкретнаго образа, какъ личности, за черты, характеризующія типъ, извѣстную психологическую группу людей.

Основной черты характера Вареньки Олесовой, какъ и характера Вронскаго, надо искать въ сферѣ *эгоистическихъ чувствъ*: самое сильное изъ этихъ чувствъ — чувство самоуваженія, склонность всегда и во всемъ ставить на первый планъ *свою* личность, свои вкусы, желанія и стремленія. Это самоуваженіе, спокойная самоувѣренность проявляется уже во внѣшнихъ особенностяхъ личности Вареньки: она говорила «звучнымъ голосомъ, полнымъ *властными* нотъ». Съ непоколебимою твердостью, съ спокойною увѣренностью она была всегда вѣрна себѣ, своимъ склонностямъ и привычкамъ: «по лицу ея было видно, что съ нею бесполезно спорить». Самоопредѣленіе, возможность всегда поступать по-своему, не стѣсняясь чужими взглядами, полная самостоятельность были для Вареньки Олесовой необходимостью, настоятельной потребностью. «О другихъ не беспокойтесь! всякій умѣетъ самъ о себѣ заботиться», говоритъ она увлеченному ею Ипполиту Сергѣевичу: «чего вы всегда о всѣхъ людяхъ беспокоитесь? По моему, хочется всѣхъ стѣснить — стѣсните, хочется быть несправедливымъ, — будьте!» Какъ и Вронскому, Варенькѣ было поэтому въ высшей степени свойственно чувство физическаго довольства собой: «ея глубокія глаза сверкали ясной радостью. Здоровьемъ, свѣжестью, бессознательнымъ счастьемъ вѣяло отъ нея»; «какъ я живу? хорошо! и она даже закрыла глаза отъ удовольствія»; «онъ видѣлъ передъ собой существо, упоенное прелестью растительной жизни». «Цѣльность ея природы вызывала» у Ипполита Сергѣевича «удивленіе». Не даромъ она говоритъ: «повѣрять себя, критиковать себя... какъ это! я вѣдь одна... и что же... какъ же? на-двое расколется мнѣ что ли?»

Вот не понимаю!» Она была «непокорна, не поддавалась его усилиям поработить ее». Понятно, что изъ всего этого естественно вытекало пренебреженіе Вареньки къ другимъ, особенно къ тѣмъ, кто не обладалъ тѣми свойствами, которыя составляли ея отличительную черту. Когда она говорила о своихъ несчастныхъ вздыхателяхъ-женихахъ: «у! они всѣ подлые!»—то «злоба и безсердечіе сверкали въ ея глазахъ». Насколько пренебрежительно относилась Варенька Олесова къ окружающимъ, вообще къ другимъ людямъ,—это видно изъ ея общихъ отзывовъ: «нѣтъ! знаете, ужасно мало на свѣтѣ интересныхъ людей... Всѣ такіе пришибленные, неодушевленные, противные»; «я думаю, что люди были бы всѣ интересны, если бы они были... живѣе... да, живѣе! Больше бы смѣялись, пѣли, играли... были бы болѣе смѣлыми, сильными... даже дерзкими... даже грубыми». Болѣе ярко выраженный индивидуализмъ трудно себѣ и представить.

Другое эгоистическое чувство—честолюбіе—проявляется у Вареньки, какъ у женщины, въ болѣе слабой степени, чѣмъ у Вронскаго, но оно у нея существуетъ все-таки въ видѣ любви къ одобренію: она, видимо, гордится тѣмъ, что всѣ ее любятъ: и отецъ, и тетка, и всѣ слуги. Жажда новыхъ впечатлѣній, сильное стремленіе къ ихъ разнообразію ярко выражены въ характерѣ Вареньки Олесовой. Это замѣтно уже по первымъ словамъ, съ которыми она обратилась къ только что пріѣхавшему Ипполиту Сергѣевичу: «я уже знала, что вы пріѣдете сегодня, и явилась посмотреть, какой вы». Та же жажда сильныхъ ощущеній сквозить и въ заявленіи Вареньки: «вообще противъ теченія интереснѣе ѣхать, потому что гребешь, двигаешься, чувствуешь себя». Съ восторгомъ отзывается она о войнѣ: «мнѣ нравится война». Но особенно любопытенъ переходъ отъ одного ощущенія къ другому, сопровождающійся неподдѣльнымъ удовольствіемъ, въ слѣдующихъ ея словахъ: «мнѣ кажется иногда, что лучше всего жить вотъ такъ, въ тишинѣ. Но хорошо и въ грозу... ахъ, какъ хорошо! Небо черное, молніи злыя, темнота, вѣтеръ воетъ... въ это время выйти въ поле и стоять тамъ и пѣть,—громко пѣть, или бѣжать подъ дождемъ противъ вѣтра».

Подобно тому, какъ натурѣ Вронскаго были чужды низшія, унижающія челоуѣческое достоинство эгоистическія чувства,—корыстолюбіе и страхъ,—они не свойственны были и Варенькѣ Олесовой. Не корыстолюбіе, не жадность или скупость, а здравая и трезвая практичность видна въ ея отвѣтѣ Ипполиту Сергѣевичу, указывавшему на несправедливость того, что она владѣетъ 500 десятинами земли, а крестьяне ничтожными клоч-

ками: «ну, так что же? неужели... ну, слушайте! неужели имъ отдать? Она смотрѣла на него взоромъ взрослого на ребенка и тихо смѣялась». А можетъ ли быть что-либо болѣе противоположно всему психическому складу Вариньки, чѣмъ чувство страха во всѣхъ его проявленіяхъ? Застѣнчивость? этого у ней совершенно не было: она «нимало не смущалась подѣ пристальнымъ взглядомъ» Ипполита Сергѣевича при первой же ихъ встрѣчѣ. Унизительный страхъ потерять жизнь былъ не менѣе чуждъ ей: «я нисколько не боюсь смерти... хотя и люблю жить», замѣчаетъ она. Когда Варенька въ день своего рожденія сбѣжала изъ дому отъ пріѣхавшихъ ее поздравить жениховъ, и Ипполитъ Сергѣевичъ спросилъ ее, не боится ли она мнѣнія жениховъ о ея поступкѣ и вообще ея поведеніи, то отвѣтъ ея былъ замѣчательнъ столько же по своей лаконичности, сколько и по выразительности: «я? ихъ? тихо, но гнѣвно спросила она». Наконецъ, она осталась очень недовольна, когда Ипполитъ Сергѣевичъ, въ отвѣтъ на ея вопросъ, права она или нѣтъ въ одномъ взглядѣ, замѣтилъ, что она «не совѣмъ права»: «это просто изъ трусости такъ говорятъ... бояться правды потому что», пренебрежительно промолвила она; очевидно, трусость въ ея глазахъ — очень позорное чувство.

Ни въ какомъ случаѣ нельзя сказать, чтобы *эстетическія чувства* были совершенно несвойственны Варенькѣ Олесовой, но не трудно подмѣтить, что ей доступно было лишь чувство пластической, внѣшней красоты, а тонкихъ и сложныхъ эстетическихъ эмоцій она совершенно не знала. Напримѣръ, она чутко относилась къ красотамъ природы, умѣла ихъ воспринимать и, гуляя съ Ипполитомъ Сергѣевичемъ, «разсказывала ему о красотѣ окрестностей деревни». Варенька восхищалась краснорѣчіемъ Ипполита Сергѣевича, когда онъ говорилъ въ защиту мужиковъ и указывалъ на ихъ тяжелое положеніе. При благоприятныхъ обстоятельствахъ у нея навѣрное проявился бы вкусъ къ живописи, архитектурѣ, скульптурѣ, какъ и у Вронскаго, но, какъ и послѣдній, она всегда оставалась чужда творческаго вдохновенія въ области искусства. Изящной литературы, поэзіи, какъ, таковой, Варенька совѣмъ не цѣнила: она искала въ ней отвѣта на свои личные запросы, отклика на собственныя настроенія. Вотъ почему она съ увлеченіемъ читаетъ романъ, «гдѣ есть герой, арабскій офицеръ, графъ Луи Граммонъ и у него денщикъ Сади-Кокко». Русскіе беллетристы ея не интересуютъ, потому что «они не умѣютъ выдумывать ничего интереснаго, и у нихъ почти все правда». Ея любимцы — Фортюна-дю-Буагобэй, Понсонъ-де-Террайль, Арсенъ Гуссэ, Пьеръ Законнэ, Дюма, Габо-

ріо. И почему? Потому что «читаешь сочиненіе француза—дрожишь за героевъ, жалѣешь ихъ, ненавидишь, хочешь драться, когда они дерутся, плачешь, когда погибаютъ».

Послѣ всего сказаннаго всякому будетъ ясно, что отъ Вареньки Олесовой совсѣмъ нельзя ждать какихъ-либо сильныхъ проявленій *этическихъ чувствъ*. О какихъ-либо поискахъ идеала о разрѣшеніи столь мучительнаго и вѣчнаго для другихъ вопроса о томъ, «какъ жить свято», у нея не можетъ быть и рѣчи. Она въ сущности была лишена родственныхъ чувствъ и привязанностей. Ея ученый собесѣдникъ, Ипполитъ Сергѣевичъ, былъ удивленъ «ея откровеннымъ эгоизмомъ», какъ нельзя болѣе, ярко выразившимся въ слѣдующихъ словахъ: «я ужасно рада, что сегодня такой ясный день и что я не дома. А то у папы опять разыгралась подагра и мнѣ пришлось бы возиться съ нимъ. А папа капризный, когда боленъ». Но было бы большою ошибкой думать, что Варенька дурно, зло относилась къ людямъ. Напротивъ, та же доброжелательность, ровность и простота, которая составляла отличительную особенность Бронскаго, была свойственна и ей. При первой же встрѣчѣ съ Ипполитомъ Сергѣевичемъ, глаза Вареньки «простодушно и ласково улыбаются». Она любила преданнаго ей отцовскаго денщика. «Вы нравитесь мнѣ. Да, очень!» говоритъ она Ипполиту Сергѣевичу: «я, видите ли, рада вамъ. Мнѣ до васъ не съ кѣмъ было поговорить». Но само собою разумѣется, горячія чувства привязанности и любви Варенька могла испытывать лишь къ тѣмъ людямъ, которые подходили къ ея вкусу. Она не разъ заявляетъ объ этомъ съ неподдѣльною искренностью. «Мнѣ въ романахъ», замѣчаетъ она, «больше всего нравятся злодѣи, тѣ, которые такъ ловко плетутъ разныя ехидныя сѣти, убиваютъ, отравляютъ... умные они, сильные... и когда, наконецъ, ихъ ловятъ—меня зло беретъ, даже до слезъ дохожу. Всѣ ненавидятъ злодѣя, всѣ идутъ противъ него,—онъ одинъ противъ всѣхъ! Вотъ герой! А тѣ, другіе, добродѣтельные, становятся гадки, когда побѣждаютъ... И вообще, знаете, мнѣ люди до той поры нравятся, пока они сильно хотятъ чего-нибудь, куда-нибудь идти, ищутъ чего-то, мучаются... но если они дошли до цѣли своей и остановились, тутъ они уже не интересны... и даже пошлы!» Любовь къ существу другого пола составляетъ несомнѣнную потребность сильной природы Вареньки Олесовой, но это чувство отличается у нея чисто индивидуалистическою окраской. По ея словамъ, «мужчина долженъ быть высокъ, силенъ; онъ говоритъ громко, глаза у него большіе, огненные, и чувства смѣлыя, не знающія никакихъ препятствій. Пожелалъ и сдѣлалъ—вотъ мужчина!» «Сила — вотъ и привлека-

тельное». Не даромъ, будучи 17-ти лѣтъ, Варенька влюбилась въ конокрада: «я чувствовала, что онъ—хотя и избитый и связанный — считаетъ себя лучше всѣхъ», «мнѣ было жалко его и страшно передъ нимъ»; она дала ему водки, велѣла, чтобъ ему обмыли лицо, и искренно желала, чтобъ ему удалось убѣжать, даже молилась объ этомъ Богу.

По условіямъ той среды, въ которой жила Варенька Олесова, невозможны были случаи, когда въ ней проявилось бы то или другое отношеніе къ общественнымъ вопросамъ, когда ясно опредѣлились бы ея *общественныя чувства*. Но существуетъ достаточно признаковъ, по которымъ безошибочно можно судить объ этой сторонѣ ея психической природы. Личный интересъ—вотъ что она стала бы только цѣнить въ общественной дѣятельности, но зато нѣтъ сомнѣнія, что въ эту дѣятельность она внесла бы много энергіи и отвергла бы все утопическое, неосуществимое, носящее печать безплоднаго мечтанія. Последнее замѣтно уже по ея насмѣшливому отношенію къ утопическимъ мечтамъ о достаточномъ обезпеченіи всѣхъ крестьянъ землей. Исключительная важность въ ея глазахъ личнаго элемента общественной дѣятельности видна изъ словъ: «общая польза—это я совсѣмъ не понимаю». Что же касается ея практичности, то это свойство проявилось лучше всего въ образцовомъ веденіи ею отцовскаго хозяйства въ имѣніи.

Наконецъ, элементарны и *религіозныя чувства* Олесовой. Ей чужды и догматика и нравственная сторона религіи, въ Бога она вѣрила какъ въ первопричину, какъ въ начало всего существующаго и не задавалась болѣе глубокими и серьезными вопросами религіозной метафизики и этики.

Когда Варенька спросила: «а ботаника и цвѣтоводство — не одно и то же?» — то Ипполитъ Сергѣевичъ подумалъ, что она глупа, но «поясняя ей разницу между ботаникой и цвѣтоводствомъ, онъ смягчилъ свой приговоръ, что она только невѣжда». И, дѣйствительно, предъ нимъ былъ умъ неотплифованный, но совершенно несомнѣнный. Этотъ умъ сквозить уже въ замѣчательной наблюдательности Вареньки, въ умѣнны ея, понятъ людей и человѣческія отношенія. Вотъ что, напр., она говоритъ: «у папы гостилъ товарищъ, тоже полковникъ, какъ и папа, и тоже ученый, какъ вы... и онъ былъ ужасно надутый... по моему, онъ даже и ничего не зналъ, а просто хвастался». Она остроумно подчеркиваетъ непримиримую разницу между своею натурой и натурой Ипполита Сергѣевича, говоря, что они подходятъ другъ къ другу, «какъ страусъ и пчела». Прекрасно понимаетъ Варенька и взаимныя отношенія Елизаветы Сергѣевны

и Бенковскаго. Но характеризуя послѣдняго, она, во многомъ вѣрно и зло отмѣчая его свойства, вмѣстѣ съ тѣмъ впадаетъ въ крайнюю односторонность, обнаруживаетъ тотъ же субъективизмъ ума, который составляетъ такую отличительную черту характера Бронскаго: Бенковскій, по ея словамъ, «черненькій, сладенькій и тихенькій. У него есть глазки, усики, губки, ручки и скрипочка. Онъ любитъ нѣжныя пѣсенки и вареньице. Мнѣ всегда хочется потрепать его по мордочкѣ». Тутъ забыта порывистость Бенковскаго и его идеализмъ, мечтательность и способность увлекаться до конца. Субъективизмъ ума Вареньки Олесовой, ея неспособность понять чуждое ея индивидуалистической натурѣ сказывается и въ отрицательной характеристикѣ, которую она даетъ героямъ русскихъ романовъ: «русскій герой какой-то глупый и мѣшковатый, всегда ему тошно, всегда онъ думаетъ о чемъ то непонятномъ, и всѣхъ жалѣетъ, а самъ то жалкій-прежалкій».

Очевидно, наконецъ, что, какъ и Бронскій, Варенька Олесова обладала крайнею рѣшительностью дѣйствій; ея *воли* была такъ же сильна; колебания и раздумье были для нея невозможны. Каждый ея поступокъ подчеркиваетъ эту волевую энергію. Напомнимъ хотя бы о томъ, какъ она побилла нагайкой денщика Никона за то, что онъ напился пьянъ во время молотбы, или какъ она уѣхала изъ дому отъ жениховъ въ день своего рожденія. Въ этомъ отношеніи чрезвычайно характерна также и заключительная сцена повѣсти, за которую, по нашему мнѣнію, совершенно напрасно упрекали такъ много автора критики.

Сопоставляя двѣ приведенныя выше характеристики, мы можемъ уже теперь съ достаточною увѣренностью намѣтить типическія черты индивидуалистическихъ характеровъ. Въ области эмоциональной онѣ сводятся къ господству высшихъ эгоистическихъ чувствъ, къ значительному развитію чувства внѣшней красоты, лишеннаго, однако, творческаго вдохновенія, къ слабости и эгоистическому характеру этическихъ, общественныхъ и религиозныхъ чувствъ. Умъ у человѣка индивидуалистическаго духовнаго склада отличается субъективизмомъ, а воля крайнею напряженностью и непреклонною рѣшительностью.

IV.

Переходимъ къ *эгоистическимъ* характерамъ. Нѣтъ сомнѣнія, что при желаніи легко можно найти и въ жизни и въ литературѣ множество олицетвореній этого типа, быть можетъ наибо-

лѣе распространеннаго изъ всѣхъ *цѣльных* характеровъ, объясняющихся изъ *одной* основной черты. Мы едва ли ошибемся, однако, если скажемъ, что, если не лучшимъ, то во всякомъ случаѣ однимъ изъ самыхъ лучшихъ изображеній человѣка эгоистическаго духовнаго склада слѣдуетъ признать знакомаго, конечно, всякому русскому безсмертнаго главнаго героя Гоголевскихъ «Мертвыхъ душъ» Павла Ивановича Чичикова. Да послушать предлагаемый сейчасъ анализъ этого характера нашимъ скромнымъ и запоздалымъ вѣникомъ на могилу гениальнаго писателя, пятидесятилѣтнюю память котораго недавно вспоминала вся образованная и—хочется вѣрить этому—большая часть просто грамотной Россіи.

Мы только что наблюдали высокое развитіе у индивидуалистическихъ характеровъ *высшихъ* эгоистическихъ чувствъ: самоуваженія, честолюбія и склонности къ полнотѣ и разнообразію впечатлѣній. Едва ли о чемъ-либо подобномъ можно говорить въ примѣненіи къ Чичикову. Его честолюбіе было невысокаго ранга: чинъ, достатокъ, самое обыкновенное общее расположеніе безъ всякой сердечности и искренности, довольное, сытое, животное состояніе—вотъ вѣнецъ всѣхъ его стремленій: «ему мерещилась впереди жизнь во всѣхъ удовольствіяхъ, со всякими недостатками: экипажи, домъ, отлично устроенный, вкусные обѣды—вотъ что непрерывно носилось въ головѣ его». Конечно, не изъ жажды новыхъ впечатлѣній, а именно ради этихъ практическихъ цѣлей Чичиковъ развѣзжалъ по Россіи, мѣнялъ не разъ службу и т. д. Но если таковы были его честолюбіе и склонность къ разнообразію впечатлѣній, то не менѣе ничтожно было и его самоуваженіе. Здѣсь нѣтъ и слѣда твердой и спокойной увѣренности Вронскаго, того высшаго самоудовлетворенія, которое является истиннымъ источникомъ настоящаго, подлиннаго самоуваженія: у Чичикова въ сущности есть только мелкое и жалкое самолюбіе и даже себялюбіе. Его, напримѣръ, обижаютъ грубыя замѣчанія такого человѣка, какъ Ноздревъ, отъ котораго человѣкъ индивидуалистическаго склада просто отвернулся бы съ нескрываемымъ пренебреженіемъ и презрѣніемъ. А когда Чичиковъ жалуется на гоненія и преслѣдованія за свою воображаемую доброту и при этомъ даже «отираетъ платкомъ выкатившуюся слезу», то его жалкое и пошлое себялюбіе вырисовывается передъ нами какъ нельзя болѣе рельефно сравнительно съ самоувѣренностью и самоуваженіемъ такого человѣка, какъ Вронскій. Такимъ образомъ высшія эгоистическія чувства, столь развитія у индивидуалистическихъ характеровъ, совершенно ничтожны у характеровъ эгоистическихъ, мельчаютъ у послѣднихъ и перерождаются въ чувства низменныя и пошлыя.

Понятно, что въ соответствии съ этимъ чистые эгоисты должны отличаться высокимъ развитіемъ низшихъ эгоистическихъ чувствъ, особенно такихъ, какъ корыстолюбіе и страхъ. И въ самомъ дѣлѣ: вѣдь вся жизнь Чичикова была посвящена приобрѣтательству. Для этого онъ предпринялъ свою поѣздку за мертвыми душами, для этого онъ кривилъ душой на службѣ. Во всѣхъ его поступкахъ, начиная съ ранняго дѣтства, сквозила чрезвычайная разчетливость и элементарная, грубая практичность въ денежномъ отношеніи: и въ школѣ онъ припрятывалъ получаемыя отъ товарищей угощенія и перепродавалъ затѣмъ имъ же втридорога; совершая купчую на мертвыя души въ казенной палатѣ, онъ мало далъ денегъ Ивану Антоновичу— «кувшинное рыло»; крестьянская дѣвочка, показывавшая ему дорогу изъ имѣнія Коробочки, получила всего одинъ мѣдный грошъ. Еще болѣе выдающимся свойствомъ Чичикова была его трусость: уличенный въ покупкѣ мертвыхъ душъ, онъ униженно ползаетъ на колѣняхъ, чтобы избѣжать наказанія; передъ Ноздревымъ онъ почувствовалъ «такой страхъ, что душа его спряталась въ самыя пятки», «трухнулъ порядкомъ». Въ гармоніи со всѣмъ этимъ находилась и сильно развитая у Чичикова любовь хорошо и плотно покушать, проявлявшаяся за обѣдами и у Собакевича, и у Коробочки, и у Пѣтуха, и даже въ дорожныхъ трактирахъ.

Итакъ, отличительною, основною чертой духовной природы Чичикова является сильное развитіе, полное преобладаніе низшихъ эгоистическихъ чувствъ. Это неизбѣжно отражалось и на другихъ сторонахъ его эмоціоальной жизни.

Этическія чувства стоять въ несомнѣнномъ, непримиримомъ противорѣчій съ низшими эгоистическими; первыя діаметрально противоположны послѣднимъ. Поэтому совершенно невозможны для эгоиста какія бы то ни было нравственныя эмоціи; въ лучшемъ случаѣ онѣ отличаются чрезвычайною слабостью, и основная природа ихъ затемняется ясно выраженными эгоистическими побужденіями и интересами. Если люди индивидуалистическаго склада совершенно не задавались высшими нравственными запросами, не мучились надъ задачей, какъ жить лучше, и не пытались осуществить никакого нравственнаго идеала, то по отношенію къ такимъ характерамъ, какъ Чичиковъ, кажется странною самая мысль о возможности моральныхъ проблемъ и дѣятельнаго стремленія къ ихъ разрѣшенію. Естественно, что Чичикову чужды въ сущности были всякаго рода этическія чувства: у него не было «ни друга, ни товарища въ дѣтствѣ»; отецъ дурно съ нимъ обращался, и потому сынъ не любилъ его; Чи-

чиковъ не зналъ даже обыкновеннаго состраданія къ чужимъ несчастіямъ, даже къ несчастіямъ извѣстныхъ ему людей, которымъ онъ былъ многимъ обязанъ: такъ, когда любившій его за тихое поведеніе и покровительствовавшій ему нѣкогда учитель былъ выгнанъ со службы, Чичиковъ далъ въ общую товарищескую складчину для помощи ему всего какой то жалкій «пятакъ серебра», съ презрѣніемъ возвращенный ему тотчасъ же возмущенными его безсердечіемъ товарищами. Онъ, правда, «очень заботился о своихъ потомкахъ», подумывалъ нерѣдко о «дѣтской» и «о Чиченкахъ»; но тутъ проглядываетъ не настоящая сердечная любовь къ дѣтямъ, а эгоистическій инстинктъ само-сохраненія, превращающійся только въ стремленіе къ продолженію своего рода. Такою же низменно-эгоистическою окраской отличалось, наконецъ, у Чичикова и величайшее изъ этическихъ чувствъ, любовь. Въ сущности о «бабенкѣ» онъ мечталъ какъ о необходимомъ житейскомъ удобствѣ. Встрѣтившись въ первый разъ въ дорогѣ съ только-что окончившею институтъ губернской дочкой, Чичиковъ отдался чрезвычайно прозаическимъ мыслямъ: «славная бабешка! вѣдь, если, положимъ, этакой дѣвущкѣ да придать тысяченокъ двѣсти приданого, изъ нея бы могъ выйти очень, очень лакомый кусочекъ. Это бы могло составить, такъ сказать, счастье порядочнаго человѣка». Потомъ, на балу у губернатора, увидѣвъ ее, онъ, правда, «на нѣсколько минутъ въ жизни обратился въ поэта», но все-таки «нельзя сказать навѣрно, точно ли пробудилось въ нашемъ героѣ чувство любви; даже сомнительно, чтобы господа такого рода способны были къ любви».

Преобладаніе низшихъ эгоистическихъ чувствъ не создаетъ благопріятной почвы для развитія эстетическаго вкуса, чувства красоты въ различныхъ ея проявленіяхъ: вѣдь низшія эгоистическія чувства въ высокой степени не эстетичны, безобразны и уродливы. Понятно поэтому, что чистый эгоистъ — менѣе всего эстетикъ. Настоящія искусства, музыка, поэзія, живопись, скульптура, архитектура, театр—его не увлекаютъ и не захватываютъ. И дѣйствительно, мы тщетно бы стали искать у Чичикова серьезныхъ эстетическихъ интересовъ. Только во время болѣзни онъ читалъ, именно «прочиталъ какой то томъ герцогини Лавальеръ», но и самый выборъ чтенія и условія, при которыхъ оно происходило, превосходно подчеркиваютъ отсутствіе всякаго художественнаго чувства или стремленія. Единственно, что еще указывало на слабый отблескъ какого то стремленія къ красотѣ у Чичикова, это его забота о своемъ костюмѣ: напр., на вечеринкѣ у губернатора «въ пріѣзжемъ (т.-е. Чичиковѣ) оказалась

такая внимательность къ туалету, какой даже не вездѣ выдвигано». Но какъ далеко отстоятъ это стремленіе къ внѣшнему благообразію, эта аккуратность въ костюмѣ отъ настоящихъ художественныхъ интересовъ и эстетическихъ восторговъ и увлеченій.

Мы видѣли въ свое время, что неутолимая жажда дѣятельности, неудержимое стремленіе къ новизнѣ и разнообразію впечатлѣній служили основными стимулами *общественныхъ чувствъ* у людей индивидуалистическаго типа. Этого стимула нѣтъ и быть не можетъ у людей, подобныхъ Чичикову. А такъ какъ у такого рода людей нѣтъ и понятія о долгѣ, о нравственной обязанности личности передъ обществомъ, то въ результатѣ получается полное отсутствіе общественныхъ чувствъ, и вся общественная дѣятельность эгоистовъ сводится къ достиженію ими тѣхъ низменныхъ эгоистическихъ цѣлей, которыя составляютъ весь смыслъ ихъ существованія. Вся служебная дѣятельность Чичикова, извѣстная всякому, служитъ яркой иллюстраціей этого положенія. Но не менѣе характерно притомъ, что Чичикову ничего не стоитъ прикрыться громкою фразой, выказать себя на словахъ носителемъ высокихъ общественныхъ идеаловъ, прикрыть маской законности совершенно неблаговидный, общественно вредный образъ дѣйствій. Говоря, напр., о купчей на мертвыя души какъ на живыя, потому что онѣ живыя по ревизской сказкѣ, Чичиковъ съ пафосомъ замѣчаетъ: «я привыкъ ни въ чемъ не отступать отъ гражданскихъ законовъ; обязанность для меня—дѣло священное; законъ—я нѣмѣю передъ закономъ».

Изъ трехъ необходимыхъ элементовъ *религіознаго чувства*—нѣжной эмоціи, чувства высокаго и страха—Чичикову свойственъ былъ лишь послѣдній. Естественно, что и религія въ его глазахъ имѣла значеніе развѣ только устрашающее, какъ угроза карою за прегрѣшенія. Можетъ ли быть при такихъ условіяхъ рѣчь о настоящей религіозности? На этотъ вопросъ, конечно, не можетъ быть двухъ отвѣтовъ.

Представляя себѣ теперь въ цѣломъ всю эмоціональную жизнь Чичикова, невольно поражаешься необыкновенною бѣдностью ея содержанія. Цѣлые ряды самыхъ сложныхъ, самыхъ прекрасныхъ человѣческихъ чувствъ оказываются чуждыми чистому эгоисту. Для него пропадаетъ множество жгучихъ ощущеній, расширяющихъ умственные горизонты, углубляющихъ мысль. Такая скудость содержанія эмоціональной жизни неизбѣжно отражается, конечно, и въ сферѣ *ума*. Умъ Чичикова не былъ и не могъ быть разностороннимъ, не отличался объективизмомъ, пониманіемъ всего безконечнаго разнообразія человѣческихъ

свойствъ и отношеній, многосложностью мыслительныхъ интересовъ. Еще въ школѣ, позднѣе и въ жизни, у него «особенныхъ способностей къ какой-нибудь наукѣ не оказалось». Онъ жилъ безъ всякихъ теоретическихъ, научныхъ и—тѣмъ болѣе—философскихъ интересовъ. Зато въ тѣхъ случаяхъ, когда уму Чичикова приходилось разбираться въ привычныхъ, психологически—родственныхъ натурѣ его интересахъ и побужденіяхъ, результаты получались очень хорошіе. Дурныя стороны человѣческой природы, низменные инстинкты, элементарно-эгоистическія вождѣнія хорошо понимались и превосходно эксплуатировались Чичиковымъ въ свою пользу. Въ этомъ отношеніи онъ проявлялъ замѣчательную наблюдательность и большую ловкость. Онъ внимательно расспрашивалъ обо всемъ у трактирнаго слуги, «оказавъ необыкновенную дѣятельность насчетъ визитовъ», «въ разговорахъ очень искусно умѣлъ польстить каждому», во время игры въ карты «спорилъ, но какъ то чрезвычайно искусно, такъ что всѣ видѣли, что онъ спорилъ, а между тѣмъ пріятно спорилъ»; съ Коробочкой «Чичиковъ, несмотря на ласковый видъ, говорилъ, однако-же, съ большею свободой, нежели съ Маниловымъ», и вовсе не церемонился»; онъ сразу понялъ Собакевича, характеризуя его по внѣшности—«медвѣдь, совершенный медвѣдь»—и по его внутреннимъ свойствамъ—«экой кулакъ!»—отлично обдѣлалъ дѣло съ мертвыми душами у Плюшкина, пользуясь его скупостью, ловко обманулъ повытчика, обѣщавъ ему жениться на его перезрѣлой и некрасивой дочери и не сдержавъ обѣщанія потомъ, когда благодаря нареченному тестю выдвинулся впередъ по службѣ, и т. д., и т. д.

Стремясь къ одной узкой цѣли, не разбрасываясь и не растериваясь, Чичиковъ не зналъ внутренней борьбы мотивовъ, душевнаго разлада и нерѣшительности. Его воля была всегда сильна и прямолинейна. Колебанія были для него немислимы.

У.

По принятому нами методу, мы не считаемъ себя въ правѣ при анализѣ главныхъ характеровъ ограничиваться разборомъ *одного* примѣра, такъ какъ при этомъ легко можно принять индивидуальныя особенности за типическія черты. Поэтому мы должны остановить вниманіе читателя еще на одномъ изображеніи эгоистическаго характера. Чтобы недалеко ходить, мы анализируемъ характеръ сестры приватъ-доцента изъ повѣсти «Варенька Олсова» г. Горькаго, Елизаветы Сергѣевны. Это тѣмъ болѣе удоб-

но, что мы опять будем имѣть дѣло, какъ и при изображеніи индивидуалистическихъ типовъ, съ лицомъ другого пола, чѣмъ только-что разобраннымъ.

Красивая и изящная героиня г. Горькаго—родная сестра по духу Павла Ивановича Чичикова. «Жесты у нея были мягкіе, осторожные, и отъ всей ея стройной фигуры вѣяло внутреннимъ холодомъ». Уже это одно напоминаетъ Чичикова съ его «ловкостью почти военнаго человѣка». Низшіе фізіологическіе инстинкты—склонность къ вкусовымъ ощущеніямъ и чувственность—не менѣе сильны у Елизаветы Сергѣевны, чѣмъ у Чичикова. Она, напр., «кушала, тщательно обглаживая косточки дичи», и пока ѣла, молчала, а заговорила лишь насытившись. Она любовалась влюбленнымъ въ нее красавцемъ-юношей Бенковскимъ, и при этомъ «въ глазахъ ея сверкала искорка сладострастнаго вождельнія». Это сильно напоминаетъ прозаическія мечты Чичикова о «бабенкѣ». Въ соотвѣтствіи съ этимъ находимъ въ характерѣ Елизаветы Сергѣевны чрезвычайное себялюбіе и пренебрежительное, дурное отношеніе къ другимъ людямъ. Она, напр., «не стѣсняясь, смѣется» надъ наивностью Вареньки, при словахъ которой у нея появляется на губахъ «ехидная улыбка». Чужія достоинства, напр., красота и молодость Олесовой, ее раздражаютъ. Елизавета Сергѣевна не перестаетъ жаловаться брату на своего покойнаго мужа, подчеркивая *свое* несчастье и терпѣніе: «я уже съ третьяго года жизни съ нимъ почувствовала себя внутренно одинокою», «если бы ты зналъ, что я переживала!» повторяетъ она. «Она долго и скучно говорила ему о своей печальной жизни». Невольно припоминается при этомъ слеза, пролитая Чичиковъ при воспоминаніи о своихъ служебныхъ неудачахъ. Ревнивая, заботливая внимательность къ собственнымъ матеріальнымъ интересамъ составляла также отличительную черту характера Елизаветы Сергѣевны, свидѣтельствующую о большомъ развитіи у нея низшихъ эгоистическихъ чувствъ. Имѣя въ виду выйти замужъ за Бенковскаго, она говоритъ брату: «я хотѣла бы устроить дѣло съ нимъ такъ, чтобы мои имущественныя права не подвергались никакому риску». Елизавета Сергѣевна даже прямо заявляетъ: «практичность, моему, очень похвальное свойство», и доходитъ въ этой практичности до того, что предназначаетъ Бенковскому не только весь гардеробъ, но даже и туфли своего покойнаго мужа. Ко всему этому надо присоединить еще большую трусость ея: она жалуется брату на дерзость и грубости мужиковъ, но не подаетъ жалобъ земскому начальнику, «понимая, что на этой почвѣ могутъ расцвѣсти такіе огненные цвѣты... пожалуй, въ одно

прекрасное утро проснешься только на пеплѣ своей усадьбы». Тою же трусостью, боязнью чужого осужденія объясняется и отличавшая Елизавету Сергѣевну «прискорбная привычка философствовать», «стремленіе обо всемъ разсуждать не изъ естественной склонности уяснить себѣ свое отношеніе къ жизни, а лишь изъ предусмотрительнаго желанія разрушать и опрокидывать все то, что такъ или иначе могло бы смутить холодный покой ея души».

Едва пріѣхавъ, «Ипполитъ Сергѣевичъ уже успѣлъ убѣдиться, что сестра не особенно поражена фактомъ смерти мужа», что, слѣдовательно, по крайней мѣрѣ, одно изъ ея *этическихъ чувствъ* отличалось слабостью. Въ этомъ отношеніи особенно знаменательны разсужденія Елизаветы Сергѣевны о любви и о бракѣ. По ея словамъ, «любовь — это побѣда того, кто любить меньше, надъ тѣмъ, кто любить больше... я побѣдила и воспользуюсь плодами побѣды»; «бракъ долженъ быть разумною сдѣлкой, исключяющею всякій рискъ». Ипполитъ Сергѣевичъ правъ, когда замѣчаетъ, что она «играетъ въ любовь». При такихъ условіяхъ, конечно, не приходится искать у Елизаветы Сергѣевны какихъ-либо сильныхъ родственныхъ привязанностей, чувства дружбы, дѣятельнаго или даже пассивнаго состраданія къ чужому горю, не говоря уже о жизненномъ моральномъ идеалѣ и его осуществленіи въ дѣйствительности.

Холоднымъ, эгоистическимъ характеромъ отличаются и *эстетическія чувства* Елизаветы Сергѣевны. Она, правда, играетъ на рояли, но больше съ Бенковскимъ, чѣмъ одна, слушаетъ съ удовольствіемъ стихи Бенковского, но почему? потому что въ этихъ стихахъ онъ воспѣваетъ ее.

Когда далѣе мы наблюдаемъ, какъ Елизавета Сергѣевна нагромождаетъ одну на другую либеральныя фразы, лишеныя реального содержанія, то невольно вспоминаются при этомъ слова Чичикова о его безграничномъ уваженіи къ закону, и становится совершенно несомнѣннымъ полное отсутствіе *общественныхъ чувствъ* у даннаго лица.

Едва ли, наконецъ, можетъ быть рѣчь о какой-либо *религиозности* разбираемаго характера.

Переходя къ эмоціональной жизни въ сферу *ума*, мы легко замѣчаемъ, что Елизавета Сергѣевна отличается большою наблюдательностью и умѣніемъ понимать тѣ душевныя явленія, какія не чужды ей самой: она, напр., понимаетъ всѣ отдѣльныя перипетіи, какія пережило чувство ея брата къ Варенькѣ Олесовой, съ лукавою улыбкой наблюдаетъ за нимъ и его пріемами. Но разъ явленіе выходитъ изъ ея обычнаго кругозора, она его

не понимаетъ и пренебрежительно отъ него отворачивается: склонна къ здоровому скептицизму, презираетъ одинаково и идеалистовъ, и декадентовъ, и материалистовъ. Наукою, мышлениемъ, но ея мнѣнію, надо заниматься только въ томъ случаѣ, «если они дадутъ нѣчто положительное... пріятное вамъ». «Она выработала себѣ схему практики, а теоріи лишь по столько интересовали ее, по сколько могли сгладить ея сухое, скептическое и даже проническое отношеніе къ жизни и людямъ».

Простота, единство и элементарность мотивовъ приводили, наконецъ, къ твердости *воли*, къ рѣшительности и прямолинейности въ той узкой сферѣ дѣятельности, которая опредѣлялась бѣдностью жизни чувства.

Остается подвести итоги изслѣдованію эгоистическихъ характеровъ. Въ области *чувства* они отличаются большою напряженностью низшихъ эгоистическихъ чувствъ, въ которыя перерождаются даже и болѣе сложныя эгоистическія эмоціи, при крайней притомъ слабости или даже полномъ отсутствіи чувствъ этическихъ, эстетическихъ, общественныхъ и религіозныхъ. Субъективизмъ и практическая наблюдательность *ума* и рѣшительность *воли*, направленной на достиженіе узкихъ эгоистическихъ цѣлей низшаго порядка, дополняютъ эту печальную психологическую картину.

VI.

Въ своихъ предшествующихъ очеркахъ по психологіи характера намъ неоднократно приходилось встрѣчаться съ характерами переходными, не цѣльными и не единичными, сложными. Мы отмѣтили, напр. ¹⁾, что Леонъ Плоховскій, герой романа Сенкевича «Безъ догмата», несмотря на всю силу его эстетическихъ эмоцій, не чистый эстетикъ, такъ какъ этический, нравственный элементъ въ его духовной природѣ въ значительной мѣрѣ самостоятеленъ и достаточно силенъ; что Рудинъ ²⁾—типъ переходный отъ чисто-эгоистическаго къ аналитическому, т.-е. съ преобладаніемъ ума, разсудочной дѣятельности; что, наконецъ, существуетъ сложный типъ, который надо обозначить терминомъ «этические индивидуалисты» и яркимъ представителемъ котораго является извѣстный Фердинадъ Лассаль, дневникомъ котораго мы и воспользовались при составленіи соответствующей характеристики ³⁾. Быть можетъ, даже такіе сложные

¹⁾ Этические и эстетические характеры.

²⁾ Тамъ же.

³⁾ Этический индивидуалистъ.

и переходные характеры встрѣчаются въ жизни несравненно чаще и во всякомъ случаѣ не рѣже, чѣмъ характеры цѣльные, какъ бы выкованные изъ одного металла или вытесанные изъ одного камня. Въ дополненіе къ приведенному очерку эгоистическихъ характеровъ мы позволимъ себѣ теперь остановить вниманіе читателя на типѣ, представляющемъ собою переходъ отъ эгоистическихъ характеровъ къ эстетическимъ, точнѣе — смѣшеніе этихъ двухъ типовъ душевной организаціи. Мы имѣемъ въ виду характеръ Гедды Габлеръ въ драмѣ того же названія, принадлежащей перу одного изъ властителей думъ нашего времени, знаменитаго норвежскаго писателя Генриха Ибсена. Гедда Габлеръ, какъ покажетъ дальнѣйшій анализъ, есть типичная *эстетическая эгоистка*.

Чтобы доказать эгоизмъ Гедды, стоитъ только обратить вниманіе на чрезвычайное развитіе ея *эгоистическихъ чувствъ*, и притомъ по преимуществу низшихъ, болѣе элементарныхъ и грубыхъ. Гедда Габлеръ крайне избалована, имѣетъ большую привычку къ роскоши, нуждается въ шумѣ и блескѣ, въ томъ, чтобы на нее обращали вниманіе, за нею ухаживали. Юліана Тесманъ, тетка ея мужа, замѣчаетъ о ней: «Дочь генерала Габлера! Къ чему она только ни привыкла, когда живъ былъ генераль!» По словамъ мужа, «для Гедды путешествіе было необходимо». Сама Гедда заявляетъ, что она «разсчитывала бывать часто въ обществѣ, дѣлать приемы», хотѣла имѣть ливрейнаго лакея, верховую лошадь. Она не скрываетъ своего пренебреженія къ общественному положенію и бѣдности мужа: «во всемъ виноваты», говоритъ она, «тѣ низменные условія, въ которыя я попала. Они-то и дѣлаютъ самую жизнь такую жалкою, просто-на-просто смѣшною». Подчиненія другому человѣку она не выносить и застрѣливается, когда видитъ себя въ рукахъ ассесора Брака. При всемъ томъ чувство страха въ высокой степени свойственно Геддѣ Габлеръ: она прямо говоритъ Левборгу: «я боялась скандала, я страшно труслива». Правда, она не испытываетъ жажды приобрѣтенія, не корыстолюбива, но это объясняется именно наличностью въ ея природѣ эстетическаго элемента: корыстолюбіе—безобразно, некрасиво. Этимъ же эстетическимъ чувствомъ объясняется и проявляющееся у Гедды нѣкоторое, довольно, впрочемъ, слабое честолюбіе: она выражаетъ, напр., желаніе сдѣлать своего мужа политикомъ, даже министромъ.

Не менѣе или развѣ не многимъ менѣе сильно выражены въ характерѣ Гедды Габлеръ эстетическія чувства. Прежде всего она любитъ изящную обстановку, «не выносить чуждого

на мебели»; Тесманъ прямо говорить: «я никакъ не могъ предложить ей мѣщанскую обстановку». Затѣмъ, по ремаркѣ автора, Гедда «одѣта съ большимъ вкусомъ». Она любитъ музыку и особенно стремится къ красивымъ поступкамъ, именно красивымъ, а не нравственно-прекраснымъ. Поощряя Эйлера Левборга въ его намѣреніи застрѣлиться послѣ потери драгоценной для него рукописи, она даетъ ему пистолетъ со словами: «но только, чтобы было красиво!» Когда Гедда узнаетъ о самоубійствѣ Левборга, то говоритъ: «наконецъ, хоть одинъ подвигъ! Я говорю, что во всемъ этомъ есть красота»; но, услышавъ, что Левборгъ выстрѣлилъ себѣ въ животъ, она въ отчаяніи восклицаетъ: «ахъ, это смѣшное и пошлое, которое, точно проклятіе, ложится на все, къ чему я ни прикасаюсь!»

Уже это стремленіе къ внѣшней красотѣ поведенія, безъ всякаго его согласованія съ моральными требованіями, служить очевиднымъ доказательствомъ того, что *этическія чувства* не играли почти никакой роли въ духовной природѣ Гедды Габлеръ. Ближайшее изслѣдованіе совершенно подтверждаетъ этотъ выводъ. У Гедды нѣтъ не только никакихъ родственныхъ привязанностей, но даже простой деликатности по отношенію къ чужимъ чувствамъ этого рода: она, напр., очень холодно встрѣчаетъ тетку своего мужа, Юліану Тесманъ, и сразу переходитъ съ ней на *ты*; когда Юліана обнимаетъ ее, она освобождается изъ ея объятій и говоритъ съ досадою: «ахъ, оставьте меня!» «Ахъ, эти вѣчныя тетуски», говоритъ Гедда, когда Тесманъ хвалитъ Юліану, и прямо заявляетъ мужу: «я попробую называть ее теткою. Но ничего больше сдѣлать не могу». Гедда съ гнѣвомъ отрицаетъ возможность имѣть дѣтей и замѣчаетъ при этомъ: «у меня нѣтъ къ этому рѣшительно никакихъ наклонностей; ни къ чему, налагающему на меня обязанности». Достаточно характерно въ эгоистическомъ смыслѣ и ея отношеніе къ мужу: она говоритъ съ нимъ «рѣзко», «съ нетерпѣніемъ», «съ насмѣшкой»; по ея собственнымъ словамъ, она приняла предложеніе Тесмана по той причинѣ, что онъ «началъ всѣми силами добиваться позволенія заботиться обо мнѣ»; когда Левборгъ спросилъ ее о любви къ Тесману, она съ пренебрежительною улыбкой отвѣтила: «любовь? ну, это ужъ слишкомъ». Чувство дружбы—совершенно притворно и поддѣльно у Гедды: она притворно дружится съ Теей Эльвстедъ съ исключительно-эгоистическою цѣлью повредить ей и Левборгу; своей дружбой съ Левборгомъ она пользовалась для удовлетворенія своего нездороваго любопытства и возбужденія дурныхъ инстинктовъ; она допытывалась отъ него всѣхъ подробностей о его кутежахъ:

«развѣ вы находите совершенно необъяснимымъ, если молодая дѣвушка, по мѣрѣ возможности, тайкомъ, охотно приподнимаетъ завѣсу міра, который, по общепризнанному мнѣнію, долженъ остаться для нея закрытымъ?» Если ко всему этому прибавить, что Гедда зло смѣется надъ Левборгомъ, говоря, что онъ на пиру у ассесора Брака «одухотворился», т.-е. напился, и что она безъ сожалѣнія и со злобой сжигаетъ рукопись Левборга, приговаривая: «теперь я сжигаю твое дитя, Тея, твое и Эйлера Левборга», то будетъ совершенно ясно, что Геддѣ не свойственна была не только общепринятая, но и какая бы то ни было мораль; что въ ней можно наблюдать совершенную атрофію нравственнаго чувства. Можетъ ли быть послѣ этого рѣчь о какихъ-либо общественныхъ и религіозныхъ чувствахъ Гедды?

Геддѣ Габлеръ нельзя, конечно, отказать въ *умѣ*, но умъ этотъ — субъективенъ въ значительной мѣрѣ, хотя несомнѣнно разностороннѣе, чѣмъ умъ чистыхъ эгоистовъ. Лучше всего она умѣетъ подмѣчать дурныя стороны человѣческой природы и съ необыкновеннымъ искусствомъ пользуется ими для достиженія своихъ личныхъ цѣлей. Такъ, напр., ей ничего не стоитъ, дѣйстви на дурныя инстинкты Левборга, заставить его напиться пьянымъ. Но Гедда понимаетъ и чувства такого въ сущности нравственнаго ея антипода, какъ Тея Эльвстедъ: она сразу догадывается о ея любви къ Левборгу и притворною дружбой заставляетъ ее высказаться до конца и выпытываетъ у нея все, что ей нужно знать о взаимныхъ отношеніяхъ Теи и Эйлера.

Наконецъ, всякій согласится съ нами, что Гедда обладала рѣшительною *волей*, что доказывается хотя бы фактомъ ея самоубійства, а также всѣмъ ея поведеніемъ по отношенію къ окружающимъ. Только чувство страха парализуетъ иногда волю Гедды Габлеръ.

Въ результатъ мы имѣемъ сложный характеръ, главными особенностями котораго являются преобладаніе эгоистическихъ чувствъ и сильное развитіе эстетическаго вкуса, атрофія этическихъ эмоцій, общественныхъ и религіозныхъ чувствъ, вполне естественная и въ эгоистахъ и въ эстетикахъ, нѣсколько большая, чѣмъ у чистыхъ эгоистовъ, разносторонность ума и достаточная рѣшительность воли.

СТАТЬЯ ПЯТАЯ.

Аналитическіе характеры.

I.

Въ предшествующихъ нашихъ очеркахъ по психологіи характера мы имѣли дѣло съ типами, основныхъ чертъ которыхъ приходилось искать въ сферѣ чувства. Мы не думаемъ утверждать, что эта сфера нами исчерпана, что всѣ возможныя и дѣйствительно-существующія комбинаціи психическихъ силъ на основѣ одного или немногихъ главныхъ чувствъ, опредѣляющихъ душевную природу той или другой личности, изучены въ отмѣченныхъ статьяхъ. Напротивъ: здѣсь остается еще обширное поле для изслѣдованія, и мы предполагаемъ еще въ будущемъ вернуться къ характерамъ съ эмоціоанальной окраской. Нѣтъ однако сомнѣній, что многое *основное* въ этой сферѣ уже подвергнуто нами анализу, такъ что вполне уместно и своевременно сосредоточить теперь вниманіе на характерахъ, основная черта которыхъ заключается въ преобладаніи во всемъ психическомъ строѣ чловѣка ума, анализа, иными словами на характерахъ *аналитическихъ* или интеллектуальныхъ по преимуществу.

И здѣсь, конечно, не можетъ быть полнаго единства. Не говоря уже о рядѣ переходныхъ формъ, можно намѣтить, по нашему мнѣнію, двѣ основныхъ разновидности аналитическихъ характеровъ: одна изъ нихъ отличается преобладаніемъ умственной сферы надъ сферой чувства по той причинѣ, что всѣ чувства, хотя и отличаются значительной напряженностью, но ни одно изъ нихъ не подавляетъ другихъ, такъ что они другъ друга нейтрализуютъ, находятся въ постоянной борьбѣ безъ перевѣса въ ту или иную сторону; но существуетъ и другая разновидность, характеризующаяся преобладаніемъ ума или анализа надъ эмоціоанальной жизнью не вслѣдствіе равномерности и равносильности значительно развитыхъ и достаточно-напряженныхъ чувствъ, а по причинѣ именно крайней слабости всѣхъ эмоцій, ихъ ничтожества и безсилія. Различіе между указанными двумя разновидностями, очевидно, весьма существенно, и игнорировать его никакъ нельзя. Мы и попытаемся въ предлагаемомъ очеркѣ намѣтить основныя особенности организаціи душевной жизни обоихъ видовъ аналитическихъ характеровъ, пользуясь

методомъ и матеріаломъ такъ, какъ мы ими уже пользовались раньше.

Примѣромъ первой разновидности намъ послужить Шекспировскій Гамлетъ, образцомъ второй — Алексѣй Александровичъ Каренинъ изъ гениальнаго романа гр. Л. Н. Толстого, не разъ уже дававшего намъ матеріалъ для изученія.

II.

Въ галлерей типовъ, созданныхъ гениемъ великаго англійскаго поэта, едва ли найдется болѣе популярный характеръ, чѣмъ характеръ несчастнаго датскаго принца. Шекспировская литература, вообще богатая, избилуетъ анализами Гамлета. Этотъ рядъ выдающихся литературныхъ комментаторовъ великой трагедіи пополняется многочисленными сценическими ея истолкователями въ лицѣ артистовъ всѣхъ націй и самыхъ разнообразныхъ темпераментовъ и дарованій. Наконецъ, среди образованнаго общества едва ли найдется кто-либо, кто не составилъ бы себѣ понятія о характерѣ Гамлета самостоятельно или на основаніи сценическихъ его воплощеній и литературныхъ разборовъ. Но несмотря на это или, можетъ быть, именно вслѣдствіе этого существуетъ цѣлый рядъ чрезвычайно противорѣчивыхъ сужденій о величайшемъ созданіи Шекспира. И это служитъ первымъ основаніемъ необходимости вновь анализировать типъ Гамлета, пользуясь принятымъ нами методомъ и исходя изъ тѣхъ соображеній, которыя положены въ основаніе предыдущихъ нашихъ статей по психологіи характера или, что то же, этиологіи. Къ этому основанію можно прибавить еще второе, отличающееся скорѣе эстетическимъ, чѣмъ теоретическимъ, значеніемъ: изучая типъ Гамлета, испытываешь такое высокое художественное наслажденіе, что бываетъ жаль не подѣлиться имъ съ другими, которымъ знакомые образы и черты должны напомнить о пережитомъ когда-то свѣжемъ впечатлѣніи отъ перваго знакомства съ Шекспировскимъ *chef d'oeuvre*-омъ.

Если не всё, то по крайней мѣрѣ громадное большинство комментаторовъ, артистовъ и зрителей выдвигаютъ на первый планъ въ психической природѣ Гамлета необыкновенную силу анализа, необыкновенную глубину, объективную широту и поражающую силу ума. И едва ли можно сомнѣваться въ справедливости такого взгляда. Неутомимый умъ Гамлета постоянно работаетъ, искрится разнообразнѣйшими цвѣтами остроумія, обнаруживаетъ чрезвычайно развитую наблюдательность и проницательное пониманіе другихъ людей и окружающей среды. Все

это сразу бросится въ глаза съ первыхъ же сценъ трагедіи. Когда король обращается къ Гамлету, называя его другомъ и сыномъ, Гамлетъ сразу замѣчаетъ неискренность и отмѣчаетъ про себя: «поближе сына, но подальше друга». Необыкновенно тонкая иронія и вмѣстѣ глубина мысли замѣтны и въ слѣдующихъ затѣмъ отвѣтахъ принца на вопросъ короля—«какъ, надъ тобой еще летаютъ тучи?» — и на замѣчаніе королевы, что не нужно горевать объ отцѣ, такъ какъ все умретъ: первому онъ остроумно и язвительно замѣчаетъ: «о нѣтъ! мнѣ солнце слишкомъ ярко свѣтитъ», а второй меланхолически вторитъ: «да, все умретъ», разумѣя подъ этими словами, очевидно, и смерть чувства своей матери къ своему покойному отцу. Пониманіе людей и среды Гамлетъ проявляетъ постоянно: онъ хорошо знаетъ Гораціо и увѣренъ, что не лѣньность вызвала его изъ Виттенберга, Полоній—сразу ему понятенъ, какъ и типическіе придворные Розенкранцъ и Гильденштернъ; онъ составилъ прекрасный планъ представленія для актеровъ и разгадалъ вѣрно чувство короля, увидѣвшаго на сценѣ себя самого. Наконецъ, высшіе научные и философскіе вопросы привлекаютъ сильно вниманіе Гамлета; онъ обнаруживаетъ большую широту теоретическаго мышленія, когда замѣчаетъ нѣсколько-педантическому Гораціо: «есть многое на небѣ и землѣ, чтó и во снѣ, Гораціо, не снилось твоей учености». А кому неизвѣстенъ удивительный по глубинѣ мысли монологъ «быть или не быть?»

Но при великой силѣ мысли, при развитомъ умѣ и способности анализа, Гамлетъ вовсе не былъ холоднымъ человѣкомъ, лишеннымъ способности чувствовать. Только бóльшая часть его чувствъ находитъ себѣ противовѣсъ въ другихъ чувствахъ, такъ что происходитъ постоянная взаимная борьба ихъ, дающая возможность уму возвышаться надъ эмоціоальной сферой и господствовать надъ послѣдней. Изъ всѣхъ эмоцій самыми слабыми нужно признать у Гамлета низшія эгоистическія чувства, чтó, конечно, вполне понятно, потому что эти чувства — неумны, противорѣчатъ здравому мышленію. У Гамлета нѣтъ, напр., наклонности къ грубымъ физическимъ наслажденіямъ: онъ не любитъ пировъ, находитъ, что обычай пировать «забыть гораздо благороднѣй», что «похмелье и пирушки мараютъ насъ въ понятіи народовъ», что «всю славу дѣлъ великихъ и прекрасныхъ смываетъ съ насъ вино». А можетъ ли быть что-нибудь неразумнѣе страха во всѣхъ его видахъ? И Гамлетъ совершенно лишенъ этого унизительнаго чувства: онъ смѣло идетъ за тѣнью отца и нисколько не боится смерти. Онъ не знаетъ и пустого самолюбія: «я обиду перенесъ бы», говоритъ онъ, «во мнѣ нѣтъ

жолчи, и мнѣ обида не горька». Но жажда мщенья свойственна Гамлету: недаромъ онъ замѣчаетъ тѣни отца: «на крыльяхъ, какъ мысль любви, какъ вдохновенье, быстрыхъ я къ мести полечу!»

Этические чувства Гамлета достигали очень значительной напряженности и играли видную роль въ его эмоциональной природѣ. Передъ нимъ ясно стояло понятіе о нравственномъ идеалѣ чистоты и совершенства, и онъ глубоко страдалъ отъ несоответствія дѣйствительности этому идеалу, что и выразилось особенно ярко во время его полубезумнаго на первый взглядъ, но вполне понятнаго при его душевномъ состояніи разговора съ Офеліей въ третьемъ дѣйствіи. Едва ли не еще болѣе рельефнымъ выраженіемъ высокаго понятія Гамлета о нравственности и любви служитъ первый его монологъ въ первомъ дѣйствіи, когда онъ не можетъ опомниться отъ негодованія по поводу второго брака матери, послѣдовавшаго такъ скоро за смертью его отца. Сознаніе необходимости мщенья и неизбѣжности торжества пошлости и безнравственности на землѣ преисполняютъ Гамлета скептицизмомъ по отношенію къ величайшему изъ этическихъ чувствъ,—любви. Любовь парализуется у него такимъ образомъ другими эмоціями, но она все-таки, несомнѣнно, свойственна Гамлету и даже, напр., постоянно сквозитъ въ его жестокой бесѣдѣ съ Офеліей, такъ что вполне справедливы его слова: «я любилъ Офелію, и сорокъ тысячъ братьевъ со всею полнотою любви не могутъ ее любить такъ горячо». Цѣлый рядъ сложныхъ чувствъ парализуетъ въ Гамлетѣ и всякую возможность непосредственнаго, немедленнаго и энергичнаго проявленія его,—несомнѣнно, очень сильной — любви къ отцу. Сила этой любви видна всего лучше изъ неподдѣльной скорби Гамлета по поводу смерти отца, скорби, которой едва ли можно подыскать лучшее выраженіе, чѣмъ слѣдующія слова: «ни траурный мой плащъ, ни черный цвѣтъ печальнаго наряда, ни грустный видъ унылаго лица, ни бурный вздохъ стѣсненнаго дыханья, ни слезъ текущій изъ очей потокъ — ничто, ничто изъ этихъ знаковъ скорби не скажетъ истины; ихъ можно и сыграть, и это все казаться точно можетъ. Въ моей душѣ ношу я то, что есть, что выше всѣхъ печали украшеній». Еще болѣе парализованной является искренняя любовь Гамлета къ матери, омраченная сознаніемъ ея «гнусной поспѣшности», быстраго паденія «въ кровосмѣшенья ложе». Вообще можно сказать, что ни одно этическое чувство не чуждо датскому принцу: онъ, напр., знаетъ и цѣнить дружбу съ Гораціо и Марцелло; онъ преисполненъ добрежелательства ко всѣмъ, хорошо обращается съ актерами,

искренно жалѣть случайно погибшаго отъ его руки Полонія; хорошо относится къ Лаэрту и т. д.

Человѣкъ, въ духовной природѣ котораго видную роль играютъ эмоціи нравственнаго порядка, всегда нуждается въ вѣрѣ, имѣеть серьезное *религіозное чувство*. Оно свойственно и Гамлету: онъ удерживается отъ самоубійства, потому что считаетъ его грѣхомъ; изъ религіозныхъ побужденій онъ не рѣшается убить короля въ то время, когда послѣдній молится. «И воробей не погибнетъ безъ воли Провидѣнія», замѣчаетъ онъ въ разговорѣ съ Гораціо въ послѣднемъ дѣйствіи.

Эстетическое чувство, чувство красоты, любовь къ искусству живетъ въ душѣ Гамлета, доступно ему въ высокой степени: онъ, напр., заставляетъ актера декламировать; его критическія замѣчанія и режиссерскія поученія отличаются большой тонкостью и глубиной. «Особенно обращай вниманіе на то, чтобы не преступать за границу естественнаго. Все, что изысканно, противорѣчитъ намѣренію театра, цѣль котораго была, есть и будетъ—отражать въ себѣ природу: добро, зло, время и люди должны видѣть себя въ немъ, какъ въ зеркалѣ». Это—дѣйствительно «сужденіе знатока», которое «должно перевѣшивать мнѣніе всѣхъ остальныхъ». Но въ то же время Гамлетъ — не чистый эстетикъ, который никогда не позволилъ бы примѣшать къ искусству постороннія цѣли: театромъ Гамлетъ пользуется, чтобы изобличить короля въ преступленіи и придать себѣ рѣшимости въ мщеніи. Опять такимъ образомъ мы встрѣчаемъ конфликтъ чувствъ разныхъ порядковъ, при чемъ трудно рѣшить, которое изъ нихъ сильнѣе, тѣмъ болѣе, что каждое изъ нихъ далеко не ничтожно, а достигаетъ напротивъ высокаго уровня развитія.

Результатъ извѣстенъ, понятенъ и давно сдѣлался ходячимъ общимъ мнѣніемъ: этотъ результатъ сводится къ слабости *воли*, къ крайней нерѣшительности, къ внутреннему разладу. Это и составляетъ главный источникъ страданій Гамлета, внутреннюю его трагедію. Коллизія чувствъ даетъ перевѣсъ анализу, уму, который разлагаетъ на составные элементы всякое хотѣніе, всякое волевое движеніе и тѣмъ уничтожаетъ послѣднее. Гамлетъ все время поступаетъ не такъ, какъ хочетъ, а какъ велятъ ему всесильныя обстоятельства. Онъ въ сущности плыветъ по теченію. Ему тяжело оставаться въ Даніи, и все-таки онъ остается, сдаваясь на просьбы короля и королевы. Онъ съ болью въ сердцѣ сознаетъ свою слабость, говоря: «я—презрѣнный, малодушный рабъ, я дѣла чуждъ», «я расточаю сердце въ пустыхъ словахъ», «я слабъ и преданъ грусти», «мнѣ нужно основаніе

потверже». Гамлетъ никакъ не можетъ сдѣлать безповоротный шагъ въ ту или другую сторону: тысячи чувствъ и соображеній, взаимно перепутываясь, связываютъ его по рукамъ и по ногамъ. Только исключительное стеченіе обстоятельствъ: состязаніе съ Лаэртомъ, коварный замыселъ короля погубить Гамлета, сознаніе Лаэрта, смерть матери повели къ мщенію королю со стороны Гамлета. Этотъ заключительный поступокъ является такимъ образомъ не столько результатомъ внутренней психической работы и волевой энергіи, сколько слѣдствіемъ вѣшнихъ вліяній, повелительно направившихъ Гамлета на путь рѣшительныхъ дѣйствій.

III.

Въ одной изъ своихъ превосходныхъ статей о творчествѣ гр. Л. Н. Толстого г. Овсяннико-Куликовскій высказалъ мнѣніе, что типъ Алексѣя Александровича Каренина не совсѣмъ удался автору, что ему не удалось въ немъ найти человѣка въ высокомъ смыслѣ этого слова. Причину этой неудачи г. Овсяннико-Куликовскій указываетъ въ той вѣрно отмѣченной имъ въ общемъ особенности дарованія нашего великаго писателя, которую слѣдуетъ обозначить терминомъ «субъективизмъ»: Л. Н. Толстой наибольшей художественной высоты и совершенства достигаетъ въ изображеніи тѣхъ характеровъ, которые психически-родственны ему. Но какъ ни вѣрно это общее воззрѣніе, нельзя однако не признать, что геній Толстого оказывается достаточно сильнымъ, чтобы проникнуть въ духовную глубь личностей и совершенно иного, чѣмъ самъ писатель, склада. Мы видѣли въ одной изъ предыдущихъ статей, какъ превосходно изображенъ имъ индивидуалистическій характеръ Вронскаго. Послѣдующее изложеніе покажетъ, что и Каренинъ созданъ Толстымъ съ неменьшимъ совершенствомъ и что истинно-человѣческое въ этой личности имъ найдено постольку, поскольку оно ей дѣйствительно свойственно.

Ужъ самая вѣшность Алексѣя Александровича, какъ она изображена у Толстого, указываетъ на человѣка необыкновенно-уравновѣшаннаго, разсудочнаго, холоднаго. У него была «холодная и представительная фигура», «упорный и усталый взглядъ»; говорилъ онъ «холодно и спокойно», «медлительнымъ и тонкимъ голосомъ». Эти нѣсколько штриховъ, мастерски брошенныхъ мимоходомъ, живо рисуютъ передъ нами вѣшность Каренина съ его «петербургски-свѣжимъ лицомъ и строго-самоувѣренной фигурой». Недаромъ это свойство дарованія Толстого — въ нѣсколькихъ словахъ характеризовать вѣшность дѣйствующихъ

лицъ его романовъ внушило г. Мережковскому мысль назвать писателя «тайновидцемъ плоти». Онъ дѣйствительно тайновидецъ плоти, но, вопреки мнѣнію г. Мережковского, не менѣе и тайновидецъ духа и въ этомъ отношеніи не уступаетъ Достоевскому.

Какую видную роль играли въ жизни Каренина потребности и интересы ума,—это лучше всего видно изъ его необыкновенной аккуратности и точности: «каждая минута жизни Алексѣя Александровича была занята и распределена. И для того, чтобы успѣвать сдѣлать то, что ему предстояло каждый день, онъ держался строжайшей аккуратности. Безъ поспѣшности и безъ отдыха—было его девизомъ». «Несмотря на поглощавшія почти все его время служебныя обязанности, онъ считалъ своимъ долгомъ слѣдить за всѣмъ замѣчательнымъ, появившимся въ умственной сферѣ». «Его интересовали книги политическія, философскія, богословскія». Каренинъ не былъ лишенъ и наблюдательности: онъ замѣтилъ, напр., что всѣ нашли неприличнымъ оживленный разговоръ Анны съ Вронскимъ во время прихода его въ гостиную графини Бетси Тверскоѣ; онъ также «зналъ несомнѣнно, что онъ былъ обманутый мужъ». Но наряду со всѣмъ этимъ бросается въ глаза одна чрезвычайно-замѣчательная особенность въ умственной организаціи Алексѣя Александровича: несмотря на обширность, силу и проникаемость ума, онъ многого однако не понималъ, особенно въ сферѣ чувства. Такъ, когда онъ сталъ замѣчать, что отношеніе Анны къ Вронскому далеко не безразличное и совсѣмъ особенное, то онъ «чувствовалъ, что стоитъ лицомъ къ лицу передъ чѣмъ-то нелогичнымъ и безтолковымъ, и не зналъ, что надо дѣлать»; онъ не понималъ Анны: «переносится мыслью и чувствомъ въ другое существо было душевное дѣйствіе, чуждое Алексѣю Александровичу. Онъ считалъ это душевное дѣйствіе вреднымъ и опаснымъ фантазерствомъ». Характеренъ и выходъ изъ такого положенія, найденный Каренинымъ: «Вопросы о ея чувствахъ—это не мое дѣло, это дѣло ея совѣсти и подлежить религіи», сказалъ онъ себѣ, чувствуя облегченіе при сознаніи, что найденъ тотъ отдѣлъ узаконеній, которому подлежало возникшее обстоятельство,—«моя же обязанность ясно опредѣляется: какъ глава семьи, я—лицо, обязанное руководить ею, и потому отчасти лицо отвѣтственное; я долженъ указать опасность, которую я вижу, предостеречь и даже употребить власть». Во всемъ этомъ, какъ нельзя лучше, проявилась крайняя узость и односторонность ума Каренина. Мы сейчас увидимъ, какъ дальнѣйшія наблюденія укажутъ и на причину этой односторонности и

поверхностности: эта причина — бѣдность эмоциональной жизни, слабость чувства въ различныхъ его проявленіяхъ.

Едва ли не единственнымъ сколько-нибудь развитымъ *эгоистическимъ чувствомъ* Алексѣя Александровича было самолюбіе, соединенное съ служебнымъ или чиновнымъ честолюбіемъ. Это самолюбіе заставляло его скрывать даже тѣ небольшіе проблески нѣжности и привязанности, на какіе онъ былъ способенъ: такъ съ женой онъ говорилъ обыкновенно «тономъ насмѣшки надъ тѣмъ, кто бы на самомъ дѣлѣ такъ говорилъ». Онъ «исключительно отдался служебному честолюбію». Ему свойственно было до нѣкоторой степени и чувство страха: онъ «былъ «физически-робкій человекъ», боялся оружія и не могъ рѣшиться на дуэль. Все это вполнѣ понятно въ разсудочной натурѣ. Понятно, также и то, что чувство гнѣва въ его крайнихъ или даже просто сильныхъ проявленіяхъ было несвойственно Алексѣю Александровичу: такъ, когда Анна прямо объявила ему, что она любовница Вронскаго, то «Алексѣй Александровичъ не пошевелился и не измѣнилъ прямого направленія взгляда, но все лицо его вдругъ приняло торжественную неподвижность мертваго». Гнѣвъ вырождался у него въ злобное желаніе мщенія: «въ душѣ Алексѣя Александровича оставалось нежеланіе того, чтобы Анна безпрепятственно могла соединиться съ Вронскимъ, чтобы преступленіе ея было для нея выгодно», у него было «желаніе, чтобы она не только не торжествовала, но получила возмездіе за свое преступленіе». Эта, имѣющая корнемъ своимъ ту же разсудочность, тѣсная связь мстительности съ гнѣвомъ проявляется и въ томъ, что когда Анна, вопреки его требованію, приняла Вронскаго, то онъ, явившись въ ея комнату, грубо отнялъ у нея письма послѣдняго, рѣшилъ требовать развода и взять себѣ сына. Но извѣстно, что всѣ эти эгоистическія чувства не оказались настолько сильными, чтобы привести къ опредѣленнымъ результатамъ.

Не менѣе бѣдна содержаніемъ и сфера *этическихъ чувствъ* Каренина. Начать съ того, что потребность въ нравственномъ идеалѣ замѣнялась у него узкимъ кодексомъ правилъ общепринятой морали и понятіемъ о приличіи. Зная о связи жены съ Вронскимъ, онъ рѣшилъ бывать у нея на дачѣ разъ въ недѣлю «для приличія». Жена для него не болѣе, какъ человекъ «безъ чести и безъ сердца, безъ религіи, испорченная женщина». «Я не полагаю, чтобы можно было извинять такого человека, хотя онъ и твой братъ», сказалъ онъ строго о Степанѣ Аркадьевичѣ по поводу его семейной исторіи, и замѣчательно, что «онъ сказалъ это именно затѣмъ, чтобы показать, что соображенія род-

ства не могут остановить его въ высказываніи своего искреннаго мнѣнія». Придавать важность подчеркиванію такой нравственной банальности — значить быть лишеннымъ серьезнаго этическаго идеала, живого и дѣятельнаго. Этому соотвѣтствовала и слабость другихъ чувствъ нравственнаго порядка. У Каренина не было привязанности къ родителямъ: отца онъ не помнилъ, мать, умершая, когда ему было 10 лѣтъ, повидимому, тоже не привязывала его къ себѣ. «Ни въ гимназій, ни въ университетѣ, ни послѣ на службѣ Алексѣй Александровичъ не завязывалъ ни съ кѣмъ дружескихъ отношеній». Любовь къ женщинѣ въ сущности мало значила для него: передъ женитьбой онъ «долго колебался» и потомъ только «отдалъ невѣстѣ и женѣ все то чувство, на которое былъ способенъ». А онъ способенъ былъ въ этомъ отношеніи на очень немногое: въ сущности все содержаніе его чувства очень хорошо выразилось въ слѣдующихъ словахъ, сказанныхъ имъ Аннѣ при ея возвращеніи изъ Москвы: «опять буду обѣдать не одинъ. Ты не повѣришь, какъ я привыкъ». Нечего и говорить объ отношеніи къ другимъ людямъ, къ чужимъ, къ постороннимъ: холодность, расчетъ и отчужденіе—вотъ къ чему оно сводилось. Алексѣй Александровичъ, напр., «очень дорожилъ» кружкомъ графини Лидіи Ивановны, состоявшимъ изъ «старыхъ, некрасивыхъ, добродѣтельныхъ и набожныхъ женщинъ и умныхъ, ученыхъ, честолюбивыхъ мужчинъ», но дорожилъ онъ имъ по той причинѣ, что черезъ него «сдѣлалъ свою карьеру». Характерно также отношеніе къ Вронскому при первой съ нимъ встрѣчѣ на вокзалѣ: Каренинъ смотрѣлъ на него «съ неудовольствіемъ, разсѣянно вспоминая, кто это», «холодно» пригласилъ его бывать у себя. Только гдѣ-то далеко, въ глубинѣ души, тлѣла у Алексѣя Александровича искра истинно-человѣческаго состраданія и жалости, приводившая къ тому, что онъ «не могъ равнодушно видѣть слезы ребенка или женщины. Видъ слезъ приводилъ его въ растерянное состояніе, и онъ терялъ совершенно способность соображенія». Только разъ въ жизни эта искра разгорѣлась въ пламя: при опасной болѣзни Анны «радостное чувство любви и прощенія къ врагамъ наполнило его душу». «Я увидѣлъ ее и простилъ», говоритъ онъ Вронскому, «и счастье прощенія открыло мнѣ мою обязанность». «Онъ у постели больной жены въ первый разъ въ жизни отдался тому чувству умиленнаго состраданія, которое въ немъ вызывали страданія другихъ людей, и котораго онъ прежде стыдился, какъ вредной слабости». Но это было и единственный разъ въ жизни.

Если этическія чувства Каренина были слабы, то *чувствоз*

эстетически у него, можно сказать, совсѣмъ не было: «искусство было по его натурѣ совершенно чуждо ему, но, несмотря на это, или лучше вслѣдствіе этого, Алексѣй Александровичъ не пропускалъ ничего изъ того, что дѣлало шумъ въ этой области, и считалъ своимъ долгомъ все читать. Въ области политики, философіи, богословія Алексѣй Александровичъ сомнѣвался или отыскивалъ, но въ вопросахъ искусства и поэзіи, въ особенности музыки, пониманія которой онъ былъ совершенно лишенъ, у него были самыя опредѣленныя, твердыя мнѣнія. Онъ любилъ говорить о Шекспирѣ, Рафаэлѣ, Бетховенѣ, о значеніи новыхъ школъ поэзіи и музыки, которые всѣ были у него распределены съ очень ясною послѣдовательностью».

Наиболѣе сложными чувствами, слагающимися и развивающимися подъ вліяніемъ другихъ элементовъ эмоциональной жизни, являются *чувства общественныя и религіозныя*. Послѣ всего сказаннаго можно быть увѣреннымъ, что натура, подобная Каренину, должна быть лишена и этихъ чувствъ. И наблюденія вполне соотвѣтствуютъ этому апріорному выводу. Были ли серьезны общественныя чувства Каренина? Нисколько: онъ въ сущности не имѣлъ ихъ, и мотивами для его убѣжденій ему служили или его чиновничье честолюбіе и самолюбіе или взгляды тѣхъ, кто стоялъ выше его на ступеняхъ чиновной лѣстницы. «Алексѣй Александровичъ сочувствовалъ гласному суду въ принципѣ, но нѣкоторымъ подробностямъ его примѣненія у насъ онъ не вполне сочувствовалъ, *по известнымъ ему высшимъ служебнымъ отношеніямъ*, въ осуждалъ, насколько онъ могъ осудить, что-либо Высочайше утвержденное». «Съ самодовольной улыбкой» рассказывалъ онъ о шумѣ, который произвело новое Положеніе, проведенное имъ въ совѣтѣ, объ оваціяхъ, которыя были ему по этому случаю сдѣланы». «Въ головѣ его нарождалась капитальная мысль, долженствующая распутать все это (служебное) дѣло, возвысить его въ служебной карьерѣ, уронить его враговъ и потому принести величайшую пользу государству». Тѣ же мотивы лежали въ основѣ и религіознаго чувства Каренина: «переживая тяжелыя минуты, онъ и не подумалъ ни разу о томъ, чтобы искать руководства въ религіи». «Онъ былъ вѣрующій человѣкъ, интересовавшійся религіей преимущественно въ политическомъ смыслѣ». Неудивительно поэтому, что въ концѣ концовъ Алексѣй Александровичъ вдался въ ханжество и мистицизмъ: «онъ каждую минуту думалъ, что въ душѣ его живетъ Христосъ, и что, подписывая бумаги, онъ исполняетъ Его волю». И въ то же время его поведение уже совершенно не соотвѣтствовало нравственнымъ принципамъ хри-

стіанства: онъ наотрѣзъ отказаль Аннѣ въ столь необходимомъ для нея разводѣ.

Понятно, что тогда, когда можно было положить въ основу своихъ дѣйствій холодныя соображенія ума, Каренинъ не колебался и былъ рѣшителенъ. Но его *воля* совершенно парализовалась, и онъ былъ беспомощенъ, когда дѣло касалось болѣе деликатныхъ отношеній, когда замѣшивались интимныя чувства и связи.

IV.

Таковы двѣ основныхъ разновидности аналитическихъ характеровъ, въ очень многомъ несходныя между собою. Мы должны въ заключеніе поставить вопросъ, каково ихъ общественное значеніе, какое вліяніе имѣютъ люди того и другого склада на социальную жизнь и политическія отношенія?

Не случайность—тотъ фактъ, что Каренинъ занималъ высокое положеніе въ административной іерархіи. Этотъ человекъ прямо созданъ для того, чтобы служить въ качествѣ одного изъ крупныхъ колесъ въ огромной бюрократической машинѣ: онъ уменъ, но не настолько, чтобы доходить до дерзости мысли, сдержанъ и уравновѣшенъ, какъ никто, ловокъ въ интригахъ, умѣренъ до крайности, преклоняется передъ всѣмъ, что носитъ клеймо официального предписанія и общепринятой морали, не знаетъ страстей и весь сотканъ изъ приличій и обычаевъ. Такие люди обыкновенно безъ труда становятся въ рядъ официально-признанныхъ слугъ государства и легко достигаютъ «степеней извѣстныхъ», какъ было и съ Каренинымъ. Они такимъ образомъ по самому своему социальному положенію имѣютъ возможность оказывать непосредственное воздѣйствіе на политическую жизнь своего времени и своей страны. Но не надо принимать внѣшность за существо дѣла: точно ли велико это воздѣйствіе? Достаточно ли широки и проникнуты пониманіемъ очередныхъ государственныхъ задачъ и общественныхъ потребностей взгляды людей, подобныхъ Каренину? Есть ли въ этихъ взглядахъ хотя бы малѣйшіе признаки политическаго творчества? Достаточно поставить эти вопросы, чтобы понять, что отвѣтъ на нихъ долженъ быть данъ только отрицательный: холоднаго ума, не согрѣтаго чувствомъ, не проникнутаго живымъ стремленіемъ къ общественной правдѣ, слишкомъ мало, чтобы дѣйствовать плодотворно на политической аренѣ. Все общественное значеніе людей, принадлежащихъ ко второй разновидности аналитическихъ характеровъ, сводится такимъ образомъ къ дѣятельности простыхъ исполнителей чужихъ предначертаній и—самое большее—

охранителей существующих порядковъ и отношеній. Такіе люди или таятся за другими, или переминаются на одномъ мѣстѣ, или поворачиваютъ назадъ, но итти впередъ — не ихъ дѣло. Слѣдовательно, ихъ общественное значеніе невелико. Они берутъ количествомъ, а не качествомъ.

Не то надо сказать о первой разновидности аналитическихъ характеровъ, о людяхъ, подобныхъ Гамлету. На первый взглядъ они совсѣмъ не годятся для общества и его задачъ. И это кажется особенно убѣдительнымъ благодаря ихъ крайнему безволю, неспособности дѣйствовать рѣшительно и энергично. Конечно, *непосредственное* воздѣйствіе такихъ слабовольныхъ индивидовъ на общественную среду и государственный строй совершенно ничтожно. Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что, если бы Гамлетъ сдѣлался королемъ, то онъ оказался бы плохимъ, хотя и проникнутымъ лучшими намѣреніями, правителемъ своего государства. Но не практическая общественная и политическая дѣятельность составляетъ призваніе такихъ людей; ихъ дѣло — теорія, разработка науки, философіи, вообще всякаго рода знаний. Черезъ посредство этой умственной работы они могутъ и должны оказывать великое общественное вліяніе, потому что горизонты ихъ мышленія необыкновенно широки вслѣдствіе одинаковой доступности имъ всякаго рода чувствъ, и такъ какъ ни одно изъ этихъ чувствъ не преобладаетъ надъ другими, то широкой и всеобъемлющей умъ лишень односторонности и пристрастія. Гамлетъ — это типъ мыслителя, а кто будетъ оспаривать великое значеніе теоретической мысли для процесса общественной эволюціи? Конечно, и ученые и мыслители бываютъ разные: въ разрядъ цеховыхъ ученыхъ немало найдется и людей ограниченныхъ и сухихъ педантовъ, во многомъ подобныхъ Каренину, но истинный ученый, которому доступно и для котораго составляетъ потребность творчество въ области научной и философской теоріи, не долженъ и не можетъ быть лишень чувства, потому что чувство во всѣхъ его проявленіяхъ играетъ такую же первенствующую роль въ духовной организаціи человека, какая принадлежитъ зрѣнію среди другихъ средствъ высшаго воспріятія.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Мы намѣтили въ предшествующемъ изложеніи пять основныхъ психическихъ типовъ—эгоистовъ, индивидуалистовъ, эстетиковъ, людей этического склада и аналитиковъ. Къ этому мы прибавили еще главный сложный типъ—этического индивидуалиста. Этимъ въ сущности исчерпывается все главное въ психологіи характера: всѣ психологическія разновидности могутъ быть подведены подъ одну изъ указанныхъ категорій. Такое заключеніе на первый взглядъ не совпадаетъ съ классификаціей эмоцій—этого основного психического элемента; въ самомъ дѣлѣ: мы вѣдь различали не только эгоистическія (въ томъ числѣ и индивидуалистическія), эстетическія и этические эмоціи, но еще и эмоціи религіозныя и общественныя. Не слѣдуетъ ли отсюда, что соответственно этому существуютъ и особыя религіозныя и общественныя характеры? Я думаю, что не слѣдуетъ: дѣло въ томъ, что религіозная натура—не болѣе, какъ эмбрионъ, зародышъ, первая стадія развитія натуры этической, а общественный характеръ при ближайшемъ анализѣ совпадаетъ по своей духовной природѣ съ этическимъ индивидуалистомъ.

Въ подтвержденіе перваго приведу краткую характеристику такой религіозной натуры, какъ Ниль Сорскій. Глубокая вѣра соединилась въ немъ съ религіозной терпимостью и одушевляла для него идеаль простой и скромной, трудовой монашеской жизни, проникнутой стремленіемъ къ религіозному созерцанію и нравственному самосовершенствованію. Исходя изъ этого идеала, Ниль сурово порицалъ и отрицалъ современную ему монастырскую жизнь, построенную на крупномъ землевладѣніи, и стоялъ противъ тѣхъ жестокихъ преслѣдованій, какимъ тогда подвергались еретики. Не ясно ли, что здѣсь на религіозной основѣ слагался этический характеръ?

Совпаденіе психического склада этическихъ индивидуалистовъ и общественныхъ характеровъ обнаруживается прежде всего изъ того примѣра, какимъ мы пользовались выше: Фердинандъ Лас-

саль — этотъ типичный этическій индивидуалистъ — былъ вѣдь вмѣстѣ съ тѣмъ пылкимъ и стойкимъ общественнымъ борцомъ. Такой же общественной натурой съ типическими чертами этического индивидуалиста является, напр., Петръ Великій. Онъ былъ чуждъ низшихъ, элементарныхъ, простѣйшихъ эгоистическихъ чувствъ — страха и корыстолюбія. При Лѣсномъ, при Полтавѣ, въ морской экспедиціи противъ шведскаго корабля онъ бросался смѣло впередъ и не задумываясь подвергалъ себя несомнѣнной опасности. Петръ былъ очень щедръ къ другимъ и скупъ только по отношенію къ себѣ, но не изъ жадности, а изъ чувства долга передъ родиной. Это послѣднее обстоятельство какъ нельзя лучше подчеркиваетъ необыкновенную силу этическихъ чувствъ, нравственныхъ запросовъ въ личности Петра. Общее благо, величіе Россіи, общественная польза, народное благосостояніе — вотъ постоянные мотивы Петровскихъ указовъ. Всего лучше и ярче эта черта сказала въ знаменитыхъ словахъ, сказанныхъ Петромъ передъ Полтавской битвой: «а о Петрѣ вѣдайте, что жизнь ему не дорога, жила бы только Россія во славу и величію». Это господство этическихъ эмоцій обнаруживается и въ горячей любви Петра къ правдѣ и въ искренномъ отвращеніи ко лжи. Извѣстенъ разсказъ Неплюева о томъ, что онъ, слѣдуя данному ему совѣту говорить Петру всегда правду, однажды, опоздавъ на службу по случаю бывшихъ наканунѣ именинъ одного знакомаго, откровенно признался царю въ истинной причинѣ своего опозданія, при чемъ Петръ похвалилъ его за правдивость, и никакихъ дальнѣйшихъ послѣдствій вина Неплюева не имѣла. Въ другой разъ какой-то нѣмецкій офицеръ расхвастался о своихъ познаніяхъ въ артиллерійскомъ дѣлѣ и вралъ немилосердно. Петръ долго сдерживался, слушая всю эту ложь, но, наконецъ, потерялъ терпѣніе и плюнулъ хвосту прямо въ лицо.

Было бы большою ошибкой думать, что Петръ былъ лишенъ способности испытывать болѣе интимныя нравственныя чувствованія. Прочитайте его письма къ Екатеринѣ, — и вы удивитесь, какъ могъ быть нѣженъ этотъ, на первый взглядъ, грубоватый и рѣзкій человекъ. Правда, онъ подписалъ смертный приговоръ своему сыну, но онъ сдѣлалъ это не по душевной жесткости — напротивъ онъ очень любилъ Алексѣя, — а изъ сознанія своего общественнаго долга.

Но нравственныя чувствованія разныхъ порядковъ не составляли *единственнаго* главнаго свойства духовной личности Петра Великаго. Равносильное съ ними значеніе принадлежало также его индивидуалистическимъ чувствамъ, — развитому и повышенному самосознанію, увѣренности въ себѣ, честолюбію, жаднѣ

дѣятельности, новизны, перемѣны впечатлѣній. По запискамъ Корба, слава — цѣль Петра; не даромъ Петръ любилъ такія выраженія, какъ — «Александръ построилъ Дербентъ, а Петръ его взялъ», или: «Людовику (т. е. XIV-му) помогали, а Петръ все сдѣлалъ одинъ». По словамъ Корба, Юля и Фоккеродта, Петра нельзя было убѣдить, что чужое мнѣніе можетъ опредѣлять его поступки; по запискамъ Остермана, Петръ говорилъ, что Европа нужна намъ на нѣсколько десятковъ лѣтъ, а потомъ мы должны повернуться къ ней спиной. Если къ этому прибавить непреклонную волю и широкій, вмѣстѣ и практическій, и склонный къ грандіознымъ замысламъ умъ, то духовное родство Петра съ Лассалемъ станетъ вполне очевиднымъ, какъ очевидно и психическое тожество общественныхъ натуръ съ этическими индивидуалистами.

Итакъ, мы имѣемъ болѣе или менѣе полную классификацію характеровъ и изображеніе отдѣльныхъ основныхъ типовъ. Какое примѣненіе можно сдѣлать изъ этого въ социологіи? Конечно, то, что представленная классификація можетъ и должна послужить мѣриломъ для пониманія и истолкованія психической эволюціи обществъ. При свѣтѣ ея будетъ понятна классовая психологія каждой эпохи, внесены будутъ принципы развитія въ самое понятіе о классовой психологіи, столь гениально установленное Марксомъ. Въ этомъ нѣтъ никакого противорѣчія съ марксизмомъ: всякій, кто знакомъ съ трудами Маркса, знаетъ, что ему самому была свойственна идея эволюціи въ психологіи отдѣльныхъ классовъ. Не разрушить завѣты основателя школы имѣемъ мы въ виду, а напротивъ исполнить ихъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТРАНИЦА.
Предисловіе.....	1
Исторія, мораль и политика.....	1— 19
Научное міросозерцаніе и исторія.....	20— 28
Значеніе и судьбы новѣйшаго идеализма въ Россіи	29— 46
Сельское хозяйство Московской Руси въ XVI вѣкѣ и его вліяніе на соціально-политическій строй того времени.	47— 80
Развитіе экономическихъ и соціальныхъ отношеній въ Россіи XIX вѣка.....	81—101
Натуральное хозяйство и формы землевладѣнія въ древ- ней Россіи.....	102—132
Денежное хозяйство и формы землевладѣнія въ новой Россіи.....	133—164
Психологія характера и соціологія	165—259

ТОГО-ЖЕ АВТОРА:

1) **Обзоръ Русской исторіи съ соціологической точки зрѣнія. Ч. I** — Киевская Русь. (Съ VI до конца XII вѣка).

Изд. 2-ое. М. 1905. Ц. 1 руб.

2) То же. Ч. II — Удѣльная Русь. Вып. 2-й М. 1905.

Ц. 1 руб.

Цѣна 1 р. 50 к.